

ISSN 0132-0637

Октябрь

2 1998

1998

2

Октябрь

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

2

1998

ФЕВРАЛЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
А. ВАРЛАМОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛ-
ГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Д. КУГУЛЬТИ-
НОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, А. НАЙМАН, О. ПАВЛОВ,
Л. САРАСКИНА, Л. ФИЛАТОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Анатолий КИМ.
Мое прошлое. Повесть 3
- Владимир САЛИМОН.
Вокруг расхожего сюжета. Стихи 83
- Олег ПАВЛОВ.
Записки из-под сапога. Рассказы из «Степной
книги» 88
- Владимир ФРОЛОВ.
Заблудший флейтист. Стихи 121

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- Андрей СОБОЛЬ.
Паноптикум. Повесть. Вступление, публикация
и примечания Веры Калмыковой 123

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

- Михаил ПРИШВИН.
Дневник 1939 года. Вступление, подготовка текста,
комментарии и публикация Л. А. Рязановой 144
- Г. ПОМЕРАНЦ.
Развертывание альтернатив 159

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

«Это светлое имя – Пушкин»

По страницам Онегинской энциклопедии. Вступление Н. И. Михайловой 164

Кирилл КОБРИН.
Наше всё 177

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
Недостойный сам себя Моцарт 183

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Гагарина он не увидел. О Федоре Панферове 186

В стиле реплики

Феликс ИКШИН.
Правнуки Сытина 189

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ 191

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать

по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,
по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,
по телефону: (095) 238-49-67,
по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 29.12.97. Подписано к печати 26.01.98. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 9185 экз. Заказ № 3085. Цена 16 руб.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 1943 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64,
ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии —
214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-mail oktybr@orc.u

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Мое прошлое

ПОВЕСТЬ

Часть первая

Желтые холмы Казахстана

Мой дед Ким Ги-Ен происходил из рода крупного военного чина, начальника королевской стражи, который в XV веке после дворцового переворота вынужден был бежать и скрылся в глухой провинции на севере Кореи. Там и проросла наша тоненькая фамильная ветвь, которая впоследствии проникла в Россию, где я и увидел свет. Корни же моего старинного рода находятся в провинции Каннинг и уходят на большую историческую глубину, зачинаясь со времен образования государства Силла.

Появлению моего деда в России предшествовала миграция корейцев, начавшаяся в шестидесятых годах прошлого века. Уходили с севера Кореи безземельные крестьяне, переселяясь на малолюдную тогда окраину Российской империи в поисках свободного жизненного пространства.

Дед перебрался в Россию примерно в 1908 году, когда уже тысячи корейских семей поселились на землях российского Дальнего Востока и Приамурья.

Российские власти, заинтересованные в быстрейшей колонизации Дальнего Востока, вначале охотно давали русское гражданство корейским эмигрантам и наделяли их земельными участками. Но впоследствии, когда поток корейских переселенцев значительно увеличился, а из самой России на Дальний Восток было переселено достаточно русских крестьян, благоволение властей к корейским эмигрантам прекратилось.

Мой дед отправился в Россию один, оставив в Корее семью. Он был крестьянином, хотел иметь свою землю. Но на родине земли у него не было, а на чужбине ее не досталось — к тому времени, когда мой дед пришел в Россию, землю новоприбывшим корейцам выделять перестали. Дед нанялся работником к какому-то зажиточному земляку по фамилии Ко.

Вышло так, что этот Ко вскоре умер, оставив после себя жену и сына, а мой дед, живший в их доме, постепенно стал за хозяина и вскоре женился на вдове. От второго брака у него родилось трое сыновей, одному из них и суждено было впоследствии стать моим отцом.

Сочетаясь новым браком, дед полагал, видимо, что станет владельцем той земли, которая принадлежала умершему хозяину. Но фамильный клан Ко решил по-своему: усадьба и вся земля были переданы подростку сыну покойного. Деду же достались не очень-то покладистая жена, прежняя бедность да горькое чувство вины.

Так начиналась, с глубинной боли вины, русская жизнь нашей корейской ветви. Мечта деда, его всеильная крестьянская страсть — своя земля — лишь в какую-то неверную минуту причудилась ему. Он умер от тоски и безысходности в 1918 году.

Тогда пришел из Кореи его младший брат, пробравшись через запертую японцами границу. Он отыскал старшего брата и потребовал от него, чтобы тот вернулся в Корею, где много лет ждет, пребывая в большой нужде, его первая семья. Но этого дед не мог сделать: с маленькими детьми совершить опас-

ный путь через границу было невозможно. Бросить троих сыновей и вторую жену он тоже не мог. У деда никакого выхода не было, как только умереть. И он однажды, вернувшись с поля, лег в своем углу, отвернувшись к стене, и больше не встал. Похоронен он был на чужбине, где-то на берегу реки Амур, у села Благословенное.

Мой отец, Андрей Ким, был крещен там же в русскую православную веру и наречен христианским именем. Но, несмотря на это, отец никогда не был по вере и по характеру русским человеком. Он всегда оставался корейцем — во всей полноте своей натуры.

До пятнадцати лет, когда отец был направлен учиться на рабфак, он прожил с дядей. Тот после смерти своего старшего брата остался в России, считая своим долгом вырастить и воспитать трех племянников. У самого же дядьки в Корее остались его семья и дети, с которыми он больше никогда не встретился в этой жизни. Когда племянники выросли и разлетелись кто куда, дядька решил пробираться на родину через Маньчжурию. На маньчжурской границе он и сгинул, никто больше о нем ничего не слышал.

В 1937 году, когда настал самый кровавый год сталинских репрессий, корейцев принудительно выселили с Дальнего Востока. Крестьян, служащих, студентов, рыбаков, детей и взрослых, актеров театра, охотников за пантами и искателей горного женьшеня — всех корейцев погрузили в товарные вагоны и под конвоем отправили в западном направлении...

Моя бабушка с материнской стороны, при крещении нареченная Анной, не раз вспоминала впоследствии, грустными глазами уставясь куда-то в пространство и деловито загибая пальцы на руке: «Нам пришлось все бросить: новый дом, двух лошадей и дойную корову, весь урожай риса, соленые кимчи, закопанные в глиняных бочарах в землю... Полный сундук, набитый кусками полотна. И всю посуду: медные тазы, глубокие и мелкие чаши, блюда, много ложек и палочек для еды — и все это из жаркой меди, вычищенной до блеска... Вся посуда осталась целехонькой лежать на полках».

Итак, корейцев непонятно за что переселили с Дальнего Востока в пески Казахстана, Узбекистана, в другие районы Средней Азии. Их лишили дома, имущества, привычных родных мест — и глубокой осенью тридцать седьмого года ссадили с товарных вагонов в камышовые болота у озера Балхаш, на угрюмые пески Кызылкумов, в малярийные долины Узбекистана.

Это насильственное переселение прямо обвиняло: виноват! Но в чем? Так до сих пор и не выяснено, в чем обвинялось корейское население Дальнего Востока. И около трехсот тысяч человек отправилось отбывать бессрочную ссылку, затаив в себе чувство неясной вины.

Вот так я и родился с комплексом вины в своей крови 15 июня 1939 года в Казахстане, в южной его части, у гор с названием Тюлькубас, в поселке русских переселенцев Сергиевке. Я помню голубой свет небес, мелькнувший за окном. Помню маму, срезающую на огороде большим ножом зеленые перья лука... Дует ветер, темные деревья сильно раскачиваются, стекло на окне, плохо примазанное к раме, стучит: тыр-та! тыр-та! тыр-та!.. Это Сергиевка. Мой отец получил там работу после окончания педагогического института. Мне, значит, два года от роду.

Будет преувеличением говорить, что человек способен в самом раннем возрасте постичь тягость и печаль существования. Нет, ничего подобного я тогда еще не мог осознавать, а тягостное ощущение жизни рождалось потому, что началу моей жизни — с двух лет и до шести — сопутствовало военное лихолетье. И чувство голода, может быть, являлось тогда моим главным ощущением бытия...

В том случае, если ты просыпаешься и, еще лежа в постели, хочешь есть, а потом весь день также хочешь есть, а еды почему-то не дают, — разве не похоже это на некую фатальную виноватость? Ты вроде бы виноват уже только тем, что появился на этом свете и хочешь есть.

К этому времени наша семья переселилась в другой край просторного Казахстана, к горам Талды-Курган. Перед моими глазами засветились под неистовым солнцем блекло-желтые холмы с округлыми вершинами, совершенно безлесыми, лысыми.

Вот на эти холмы я как бы и сошел с облаков и зашагал по брэнной земле — и до сих пор иду, не представляя себе ясно, куда должен прийти под конец.

Итак, степь и желтые холмы Казахстана стали первой картиной моей души. Будучи в этом мире художником, я мыслю цветом, линией и художественными образами. Мир нашей души — это музей Божественного искусства. Каждый из нас носит в себе целую картинную галерею. Большие и важные части своей жизни я представляю в виде законченных картин.

Почему холмы Казахстана видятся мне блекло-желтыми, как цвет старого меда? Ведь ранней весной эти круглые горы вдруг наливаются ярким сиянием зелени — нет ничего на свете зеленее. Огромные алые облака диких тюльпанов вдруг в одночасье словно опускаются с небес на землю. И тогда безлесые склоны холмов становятся нарядными, как расписные шелка.

Над пыльно-желтой степью парят в размытом небе наторпливые орлы. И то огромное пространство, которое вмещает в себя и круговые полеты орлов, и предгорную равнину, и желтые холмы Казахстана, навсегда вошло в мою душу.

Каждый народ живет там, где Бог определил ему жить. Но отдельные человеко-частички отрываются, словно искры от пламени костра, и могут улететь очень далеко... Я родился в Казахстане, стране бескрайних степей, выгоревших под солнцем, и неспешных орлиных спиралей над горами. Душу человека формируют ландшафты той страны, которую впервые увидел он в самом раннем детстве.

В дальнейшем она не может измениться. Душа может только расшириться и дополниться другими картинами мира. Я навсегда останусь огнепоклонником солнца, яростно пылающего над раскаленной бескрайней степью. Мне всегда будет душно и тесно в каменных городах, какими бы просторными и громадными они ни были. И жаркий пот на лице окажется для меня милее, чем прохладная сухость кожи в искусственном воздухе комнат, оборудованных кондиционерами.

И еще одно: никогда не перестанет шуметь и мельтешить в моей душе многоязыкий пестрый базар народов. Я стану человеком множественного, полиментального склада характера. Мой естественный космополитизм во всех случаях идет от моих самых ранних впечатлений...

Казахстан времен моего детства был местом ссылки, беженства и военной эвакуации многих народностей империи. Огромные просторы Казахии советская имперская власть предопределила как тюрьму для разных народов. В этой тюрьме находились ссыльные нации: немцы, чеченцы, крымские татары, корейцы и другие. По воле Сталина эти народы были сорваны со своих родных мест и брошены на малообжитые, бедные земли, словно за тюремные стены, откуда нет свободного выхода.

Корейцы стали первыми, кого заключили в казахский «лагерь народов». И я родился уже несвободным — мои родители считались ссыльными, и в паспортах у них проставили особые пометки. За пределы Казахстана выезжать им запрещалось. Это положение сохранялось больше десяти лет.

Во время войны с Германией Казахстан оказался убежищем для бесчисленных беженцев, ухидивших от нашествия немцев, и местом ссылки двух миллионов «русских немцев» с Поволжья, где они жили на протяжении нескольких веков. Когда мне исполнилось лет пять-шесть, моими друзьями были Роман и Эльза, рыжеволосые немецкие дети. Их мать Клара, миловидная полная женщина, работала уборщицей в школе, где устроился мой отец после переезда из Сергиевки.

Чеченцы представлялись страшноватыми людьми. Особенно страшными в них казались их огромные бараньи шапки с длинным мехом, свисавшим прядя-

ми на глаза, крючковатые носы и всегда почему-то рваная одежда, туго пережатая на поясе узким ремнем.

У корейцев с чеченцами сложились довольно напряженные отношения. Я помню, была корейская свадьба — и вдруг народ зашумел и повалил на улицу. А там уже кипело настоящее сражение между чеченцами и корейцами. Причем дрались не только мужчины: чеченцы при подобных схватках вступали в бой всем скопом, от мала и до велика, молодые женщины и старухи, детвора и подростки. Вооружались они чем только могли: дубинами, железными кочережками, мотыгами. Бабы чеченские поднимали пронзительный вой и были не менее страшны, чем их мужья в лохматых шапках.

В другой раз, я помню, в полях толпа корейцев гналась за одиноким чеченцем. Он был в большой бараньей шапке, хотя стояла жара. Оказалось, что этот человек вор: он угнал у корейского хозяина корову и зарезал ее... Его догнали посреди поля — и на моих глазах толпа стала побивать его кольями... Время было жестокое и беспощадное — настал послевоенный голод.

Чеченцев привезли с Кавказа где-то к осени, и они дружно принялись строить дома из глиняных кирпичей-саманов. Но к зиме дома у них не были готовы: стояли без окон, без дверей. У переселенцев начался, видимо, голод. Чеченские женщины с протянутой рукой сидели на снегу вдоль дороги, низко надвинув на лицо платки.

Но через год-два чеченцы прижились на новом месте, как и корейцы, и немцы, и другие ссыльные народности. Они стали нашими соседями в городке Уш-Тобе, где мы оказались после нового переселения, и у меня были даже друзья среди них: Ибрагим, Шамиль... На городском рынке появились наспех сколоченные чеченские лавочки и ларьки. Их хозяева в лохматых шапках уже не были одеты в рвань, на поясах у некоторых появились богато украшенные кинжалы в ножах.

Казахстан моего детства, солнечный и жаркий, с шумными многоязычными базарами, взрастил в моей душе то человеческое начало, которое развивалось потом в течение всей жизни и стало причиной и оправданием моей судьбы.

Я очень рано начал осознавать, что корейцы, к которым принадлежу и я, не являлись хозяевами жизни там, где мы жили. Мое детское сердце постоянно тревожилось за родителей, в особенности за отца, у которого бывал неуверенный и виноватый вид, когда у него случались какие-то неурядицы или осложнения по службе.

Я побаивался чеченцев, дружил с бедными немецкими детьми и завидовал своему единственному другу-казаху, малышу Масабаю, у которого была своя верховая лошадь. У меня ее не было и никогда не могло быть.

В этом моем детском чувстве невозможности сказывалась горечь моего деда-крестьянина, у которого так и не было своей земли. Пожалуй, и моя душа предчувствовала, совсем недавно появившись на свете, что у меня «своей земли» тоже никогда не будет. Надо было устремиться к чему-то, что должно быть свободным от эмигрантского комплекса национальной ущемленности. Надо было освободиться и от чувства вины, с которым ушел из жизни мой дед Ким Ги-Ен, и обратиться к такой жизни, которая дала бы мне чувство уверенности и правоты.

Как-то отец привез мне из города новые тапочки из мягкой, желтой чудно пахнущей кожи. Это было время послевоенной разрухи, когда дети все лето и до холодов бегали босиком и не знали никакой обуви. В первый же день, когда я пошел гулять в обновке, случилась беда. Мне захотелось пить, и я, подойдя к реке, снял с ног тапочки, аккуратно поставил их на берегу, а сам вошел в воду, где было поглубже, почище, и стал пить. Затем вышел из реки и, забыв о тапочках, ушел восвояси. Спихватился я лишь к вечеру и с плачем побежал к реке.

На том месте теперь расположилось на водопой стадо коров и стоял пастух, покуривая табачок. На мой вопрос, не видел ли он здесь тапочки, пастух ответил не сразу. Он вначале задумался, потом сказал, что здесь днем был Бо-

быль-Горшечник, который набирал в бочку воды, и Горшечник, должно быть, эти тапочки и подобрал.

Уже в сумерки я подошел к жилищу Бобыля-Горшечника — оно было на самом дальнем краю деревни, у изрытого глиняного оврага. Я очень боялся, потому что этого человека считали не совсем нормальным: он жил один, без семьи, ни с кем не общался и был всегда угрюмым и злым на вид.

Но при встрече он оказался вовсе не таким. На мой громкий плач он вышел из своей хибарки, участливо расспросил меня, в чем дело, и живо вернул мне утерянное, сбегав за тапочками в дом. Он проводил меня и на прощание погладил по голове.

Это был пожилой кореец с седой головою, с глубокими морщинами на лице. Я полагаю, что с этой встречи во мне и возникло доверие к человеческой доброте.

На Дальний Восток

Прошлое не существует — пустота прошедшего времени поглощает все предметы, события, смех и рыдания. Остаются только неясные отражения в памяти да те земные пространства, на которых когда-то все это совершалось: смеялось, рыдало, возникало и исчезало.

Итак, прошлого нет, но его можно добывать из памяти и строить из этого призрачного материала некое сооружение. Чем я и занимаюсь сейчас: что из этого получится? Может быть, вскрикнет оно, это еще неведомое произведение, и запоем птичьим голосом, а потом взмахнет крыльями и, поднявшись в воздух, вдруг бесследно растает в воздухе? Не знаю, не знаю.

Но я думаю, что всякий человек интересен. Для людей всегда интересны другие люди: какая бы жизнь ни предстала перед слушателями, почему-то им любопытно послушать рассказ о чьей-то неведомой судьбе. Вот и мне захотелось посмотреть на свое прошлое как бы со стороны...

После того как распахнулись степные орлиные просторы в моей детской душе и она пропиталась насквозь раскаленной жарой казахской пустыни, наша семья вдруг переехала на другой край света — на самый восток страны. Мы попали на Камчатку, затем в Уссурийский край, где в тайге до сих пор еще живут тигры. А оттуда уже переехали на остров Сахалин...

Кончилось время ссылки для советских корейцев, они с 1948 года могли ехать куда угодно, и мои родители в числе многих других сразу же решили вернуться на Дальний Восток.

Добираться от Казахстана до Владивостока пришлось целый месяц в товарных вагонах. Из них составилась длинный эшелон. Все было почти так же, как и в 37-м году, только на этот раз не было сопровождающего конвоя и корейцы ехали не в какую-то безвестность под принуждением властей предрержащих, а добровольно возвращались в родные края.

Дальний Восток стал для меня местом, с которого открылась моей душе беспредельность мира. Просторы Тихого океана, по которому мы плыли на пароходе много дней, добираясь до Камчатки, оказались первыми голубыми страницами книги бытия, рассказывающей о бесконечности. Эти страницы были перелистаны по-детски бездумно, но в глубинах памяти навсегда остался шест перелистываемых страниц — ночной шум волн.

Когда корабль, на котором ты плывешь, на много суток оказывается в открытом море и вокруг только вода темно-синего цвета словно единая плита гладкого камня-лазурита, ты оказываешься как бы стоящим в одиночестве на пороге космического пространства. Мы должны знать, где мы живем. Мы живем в беспредельных просторах космоса.

Но для того чтобы жить без страха и отчаяния, тебе нужно что-то совсем небольшое, теплое и любимое. Из Казахстана мы довели до Камчатки полмешка самых ранних яблок. Это были еще зеленые, мелкие яблоки, но они так чудесно пахли и были такими вкусными! И когда мы приплыли на место и наш огромный пароход стал на рейде в виду камчатских берегов, нас охватил ужас.

Был июль, а на вершинах и склонах гор, синюющих вдаль, еще лежал снег! Небо было темного, непроницаемо-каменного цвета...

Некоторые женщины из нашей переселенческой группы в голос заплакали. Моя мать тоже запричитала, глядя на суровый, диковатый камчатский берег. А я, стоя рядом с мешочком яблок, вдыхал их нежный аромат и впервые испытал печальное чувство утраты.

Когда ты уходишь из родного дома в широкий мир, то утрачиваешь первое ради того, чтобы обрести второе. Мне было девять лет, когда я неосознанно — одним лишь детским наитием — ощутил неизбежность печали тех, кто не хочет оставаться в отчем доме, как бы там ни было хорошо и уютно. О Казахстан, я навсегда покинул тебя!..

Я взволнованно, с любопытством вглядывался в незнакомый ландшафт, и мне скорее хотелось *попасть туда*, побродить по этим синим горам и потрогать рукою белые языки прошлогоднего снега. С Камчатки началось мое неодолимое желание бродить по миру, созерцать его новые и новые ландшафты, восхищаться разнообразием творений Бога-художника.

На Камчатке и впоследствии на Сахалине мой отец работал в школах, где учились дети корейцев, которые приехали туда непосредственно из Кореи. На камчатские рыбные промыслы были вывезены сезонные рабочие из Северной Кореи — сразу же после освобождения от японской оккупации. А на Сахалине оставались корейцы, вывезенные еще раньше из Южной Кореи для работ в угольных шахтах и на лесоразработках.

Встречаясь с «натуральными» корейцами, я, сын эмигранта во втором поколении, не находил большой внутренней близости с ними. К тому же с самого начала мне пришлось учиться в русских школах и я почти не знал корейского языка. Но главным разделяющим барьером было то, что моя жизнь с самого рождения проходила совсем в иных условиях, чем жизнь моих маленьких корейских приятелей.

На Камчатку привезли корейцев из страны, в которой долгое время хозяйничали завоеватели, пытавшиеся подавить всякое национальное достоинство местных жителей и даже задавленные целью полностью их *ояпонить*. Детей в школах, как известно, заставляли обучаться на японском языке, муштровали по-военному и ежедневно обязывали кланяться в ту сторону, где предполагалось находиться микадо, великому императору. А у нас хотя и имелся свой собственный микадо, товарищ Сталин, мы никаких поклонов не били, хотя верноподданнические чувства и обожествление государя бытовали в не меньшей мере.

Корейцы в своей стране на протяжении почти полувека считались существами низшего порядка. Но при переезде на Камчатку, после освобождения от японцев, корейские сезонники вновь оказались людьми «второго сорта». Живущие среди разношерстного люда, завербованного во всех краях широчайшей России для работ на камчатских рыбных промыслах, корейцы вдвое меньше получали за одну и ту же работу, чем русские, потому что последним начислялись к заработку 100 процентов за работу в северных условиях, а эмигрантам этого не платили.

Все это, вместе взятое — и старые привычки запуганных японцами, вымуштрованных несвободных полуграждан, и новые тяжелые условия жизни на провонявшей рыбой камчатской сезонке, и гнетущий отпечаток застарелой бедности, — отнюдь не делало привлекательным облик корейских рабочих. Неуверенными, жалкими выглядели они на грязных улицах поселка среди примитивных барачных концлагерного типа, где жили тогда сезонники камчатских промыслов.

Мой отец был направлен туда директором школы для корейских детей. Но, когда мы прибыли на место, оказалось, что никакой школы там нет: не было для нее помещения. Местная администрация отказалась выделить дом для корейской школы, потому что не хватало жилья и для прибывших с материка рабочих, многие из которых жили семьями в больших брезентовых палатках,

отапливаемых железными печками, — в таких палатках они должны были и перезимовать, кое-как утеплив их высокими завалинками из земляного дерна.

Условия жизни сезонников мало чем отличались от каторжных, и в подобных обстоятельствах да при громадной отдаленности от центра местная администрация осуществляла власть по своему произволу и даже слышать не хотела о какой-то школе для детей корейских эмигрантов. И тогда мой отец, доведенный до отчаяния, без ведома начальства послал телеграмму в Москву, в Кремль, на имя самого генералиссимуса Сталина. В телеграмме этой отец подробно изложил суть дела, и получилась она очень длинной — на нее ушло, как рассказывал он, весьма много денег.

Ответ пришел неожиданно скорый: на следующее утро. И он был совсем коротким в отличие от телеграммы отца. «ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬСЯ ВОВРЕМЯ — СТАЛИН». Так значилось в ответе. Это был известный лаконичный стиль генералиссимуса. Телеграмму принесли в барак, где мы жили, часов в шесть утра. Прибежала и вся верхушка местной администрации: начальник рыболовецкого комбината, председатель поселкового Совета, парторг. Перепуганные до смерти, они подобострастно приветствовали отца и сообщили ему, что комбинат выделяет для корейской школы два бревенчатых многоквартирных дома — на его выбор.

Это были дома из тех, в которых жили «лучшие люди» поселка, то есть та же администрация и все высокое начальство. Отец выбрал два дома, и в тот же день прежние жильцы были выселены куда-то, а наша семья переехала на новую квартиру — отец получил ее как директор школы. И занятия в ней действительно начались «вовремя», как приказал Сталин.

История эта требует некоторого разъяснения. Сталин в то время был для нашего народа не просто божеством, но божеством грозным и карающим. С его правлением так или иначе было связано истребление почти четверти всесоюзного населения. Он был скорее богом мертвых, чем живых. И к такому богу обычный маленький человек не смел обратиться напрямую. Но вот отец мой дерзнул — и даже получил самый благоприятный ответ. Что случилось, почему тиран, принеший несчастья и беды стольким народам и племенам, вдруг обратил внимание на столь ничтожный факт, как жалоба отца, и немедленно соизволил проявить свое личное благосклонное вмешательство? Историческая загадка, как говорится... Может быть, он вспомнил, как в 37-м году самыми первыми жертвами «переселения народов» стали именно корейцы?..

Что бы там ни было, но корейская школа была открыта, и мои родители стали ее первыми учителями. С того времени я мог соприкоснуться более тесно с жизнью людей, с которыми у меня были общие древние корни. Но, не имея еще никаких представлений о подобных вещах, я детским сердцем переживал довольно сложные чувства от своих новых встреч. Были они разными — иногда странными и непонятными, приятными и жутковатыми, пробуждающими жалость или вызывающими в душе протест и ожесточение. Но меня все это глубоко волновало — я понимал, что соприкасаюсь с тайной и началом своего подлинного естества.

Моя отдельная человеческая судьба не могла выстроиться вне этой древней духовной природы. Национальное начало — невидимый ствол духовного древа — подымлет в мире каждую душу, где бы она ни оказалась по воле прихотливой судьбы. И, тогда еще наивный ребенок, я не мог никоим образом понять или оценить все то, до боли родное и близкое, что вдруг обнаруживалось в каких-то нюансах и частностях существования моих черноволосых соплеменников.

Как-то первой камчатской весной, наступившей после многоснежной зимы, я увидел во дворе перед одним из рабочих барачков драку двух корейцев. Двор был покрыт подтаявшим льдом, поверх которого размазалась черная грязь, по такому месту и ходить было трудно — не то что драться. Но, постоянно оскальзываясь и размахивая руками для сохранения равновесия, два молодых корейца дрались страшно, жестоко. Один из них, более рослый и мускулистый, был голым по пояс, и его широкое тело было покрыто грязью и алыми

потоками крови — видимо, уже падал на землю и поранился о ледяные острые края. Второй был невысокий, сухощавый, в черной рубаше с закатанными рукавами. Первый издавал какие-то яростные звуки и наваливался на противника с бешеным напором. Второй действовал молча и более защищался, чем нападал. Но именно он ловко обхватил первого и с размаху бросил его на ледяную землю. Усевшись на него верхом, сухощавый нанес два страшных удара кулаками по лицу противника. Тот сразу обмяк и, потеряв сознание, замер на липком от грязи льду, широко раскинув руки. Победитель с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, побрел к бараку...

На другое утро, направляясь в школу, я увидел, как сухощавый кореец несет на спине своего побежденного в драке противника. Тот был одет, держался за плечи своего победителя и с закрытыми глазами тихо, жалобно стонал. А сухощавый, все в той же черной рубаше, тащил на спине израненного товарища, низко пригибаясь к земле. Он исподлобья смотрел перед собою на грязную, скользкую дорогу, и на лице его было отчаянное выражение. Я увидел, что он беззвучно плачет на ходу. Это был молодой мужик лет тридцати...

Куда этот кореец нес своего искалеченного земляка? В больницу? К его родному дому, где заботливые родственники спасут, вылечат его? Или к светлому будущему человечества, где и корейцы, и все другие народы мира будут жить без гнева и ярости, без братоубийства и глубокого, отчаянного чувства вины за содеянное зло?

За счастьем на край света

Я часто удивлялся тому, как легко и безбоязненно мои родители решались на переезды в самые отдаленные края, куда надо было добираться со всем громоздким домашним скарбом, с малыми детьми. И это еще в те далекие времена, когда на железных дорогах составы тянули паровозы, отфыркиваясь на бегу тугим паром, а на морях пароходы пускали из труб черные хвосты дыма через все небо.

Камчатка была самым дальним краем земли, который только мыслимо было представить. И туда из Казахстана мы отправились с какими-то огромными узлами, увязанными в старые одеяла, с разобранный металлической кроватью, на спинках которой красовались сверкающие никелированные шишки, а на ножках имелись маленькие колесики. И самым главным грузом (в том и во всех последующих переездах) нашего домашнего каравана была ножная швейная машинка «Зингер», в ободранном фанерном футляре, с чугунной станиной страшной тяжести. (Эта родная, домашняя «Зингер» на моей памяти переезжала из Казахстана на Камчатку, с Камчатки в Уссурийский край, оттуда на Сахалин, с Сахалина во Владивосток, оттуда в Москву и, кажется, под конец в город Боровск Калужской губернии, где моя матушка, хозяйка машинки, обрела вечный покой на краю большого русского кладбища...)

Тогда, сразу после войны, многих людей в России охватила страсть к перемене мест. Особенно густым был поток переселенцев из центральных областей страны на ее дальневосточные окраины, в районы Крайнего Севера, на Чукотку, Камчатку и Сахалин. В этих краях образовалась особая категория населения, которая называлась «вербованными». Как правило, это были одиночки или семейные, которых на прежних местах особо ничего не удерживало. Сталинское госрабство и военное разорение, колхозное крепостничество и насильственные национальные переселения сделали народ поистине бедным и нищим. А такой народ-бедняк всегда легок на подъем. Бедному ведь всегда хочется уехать куда-нибудь подальше от своей бедности. А куда же дальше Сахалина, Чукотки или Камчатки?

В стране за железным занавесом никому нельзя было даже и помечтать о богатой Америке или, скажем, о сказочной Австралии. Европейцы после войны так и ринулись за океаны, а мои соотечественники — в места не столь уж отдаленные.

Советские лагеря для заключенных удивительно точно копировали советское государство. Тот же «хозяин», всевластный «гражданин начальник» лагеря, надзиратели и конвойные солдаты для обеспечения установленного порядка. Те же покорные и запуганные граждане-заключенные, работающие кое-как, из-под палки, и получающие за свой труд миску казенной баланды.

Эти лагеря, в особенности с политическими заключенными, в большом количестве были расположены на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири и на Сахалине. И как ни странно, но именно туда устремлялись наиболее вольнолюбивые люди СССР. Те из них, которые не удовлетворялись скудно отмеренной государственной «пайкой», а надеялись что-то и сами раздобыть себе в щедрых на природные богатства отдаленных краях.

Русский Клондайк громадной советской империи — Дальний Восток — манил многих. Там в конце концов оказывались люди, которые смутно чувствовали, что на окраине империи можно будет удачливее обернуть свой единственный капитал — жизнь — и повыгоднее распорядиться дозволенной частной собственностью — своими рабочими руками. Государственный надзор слабел там, где зимой крепчали морозы и бушевали тайфуны и люди могли заработать больше денег, чем это полагалось на других территориях империи.

Зарабатывая достаточно, в этих отдаленных краях особенно не на что было потратить деньги, поэтому люди невольно их копили. Банковская система в те годы для большинства безденежного народа в стране была непривычной, и для дальневосточных вербованных обыкновением было держать деньги дома, «в чулке». За несколько лет их собиралось немало, и человек, находясь в своем убогом жилье барачного типа, одетый кое-как, все же чувствовал себя неким богачом.

Что значили деньги для наших советских людей? Ведь их много не могли иметь, а кто имел, тот вызывал большие подозрения. Честным трудом невозможно было нажить много денег, а кто ухитрялся как-то сколотить капитал, тот должен был скрывать его. Миллионер автоматически становился «подпольным», вынужденным хорониться от гневного суда общественности, если даже он был и не преступником, а знаменитым писателем или артистом. Люди должны были существовать не богато и не бедно, а вполне «по-советски», то есть так, как определит государство.

И только в условиях Севера или Дальнего Востока обычные граждане могли иметь сравнительно много денег без каких-либо опасений. Несмотря на то что в быту жили они намного хуже, чем население «Большой земли», дальневосточники и северяне — моряки, рыболовы, шахтеры, летчики, лесорубы, сезонники — чувствовали себя несколько иначе. Они были избавлены от все-союзной озабоченности рядового советского человека, что денег может не хватить до следующей зарплаты. Дальневосточник переставал мучиться над проблемой — у кого бы занять несколько рублей до аванса. Он мог спокойно сам дать взаймы.

Я вспоминаю обо всем этом потому лишь, что пытаюсь определить некий общий характер дальневосточных людей, среди которых прошли мои детство и отрочество. Они были внутренне свободнее, щедрее и к другим людям гораздо внимательнее, дружелюбнее, чем жители столиц. Многие годы, живя потом в Москве, я тосковал по Дальнему Востоку и по его людям. Мне казались тесными большие квартиры столичных жителей и душными, мелочно-расчетливыми их отношения.

Знал я также других дальневосточников, которые уезжали на материк, жили в хороших краях, прекрасно устраивались — и не могли привыкнуть на новом месте. Ностальгия по Дальнему Востоку не покидала их. Это были русские, белорусы, грузины, армяне, корейцы — разных национальностей, характеров и возрастов люди, но с какой-то трудно уловимой, однако явной общностью душевного устройства. Словно люди, принадлежащие к одной религии. Многие из них после нескольких лет жизни на материке бросали все и возвращались назад — к беспредельности океанских просторов, к великим снегам зи-

мы, к внезапным дождям и туманам, заволакивающим прибрежные скалы, сопки, поселки.

Была денежная реформа в конце сороковых годов. Помнится, на Камчатке зима стояла тогда особенно многоснежная. Сугробов навалило выше домов, и мы, детвора, катались на лыжах с крыши, проезжая мимо дымящих печных труб.

В такой день приехал в наш поселок на собачьей упряжке человек из дальнего рыбацкого селения. Из-за сильной пурги он не смог пробиться вовремя и не успел к сроку обмена денег. А привез он два мешка, туго набитых самыми разными купюрами. В банке ему объявили, что еще вчера срок реформы прошел, и денег на обмен не приняли. Тогда этот человек, рыбак и охотник, открыл дверцу топившейся там печки и пачку за пачкой побросал в огонь все деньги. Трудился целый час. В мешке было несколько сотен тысяч — сумма неслыханная по тем временам. Затем вышел из банка, ни с кем не обмолвившись ни словом, сел в нарты. Но тут вспомнил, что оставил у печки мешки, вернулся за ними, забрал их и лишь после этого погнал собак обратно домой.

Такова была или легенда. Но это не важно... Здесь сам характер человека и его действия интересны. Несомненно, это был истинный дальневосточник. Мне кажется, что я видел и помню его: курчавый с сединою, высокий, большеносый, в меховых унтах... А возможно, я пытаюсь оживить легенду иллюстрацией своего воображения...

На Востоке империи Советов ее граждане осуществились «по-советски» в наиболее характерных качествах этого историко-этнического понятия: *советский человек*. Несмотря на то что теперь СССР самоуничтожился и твердыни Советов рухнули под тяжестью своих грехов, ради истины надо сказать, что советский человек был и продолжает быть, несмотря на гибель породившей его политической и социально-экономической системы. И я хочу рассказать, каким он был на Дальнем Востоке, в дни моего детства.

...Итак, он сжег два мешка денег и на облегченных нартах поехал домой, зычно покрикивая на ездовых собак и потрясая остолом, толстой палкой с железным острием на одном конце и с ременным бичом на другом. На полдороге к дому человек остановил свою многохвостую лохматую упряжку, поставил нарты на прикол, глубоко воткнув остол в снег меж перекладин саней. Потом достал из чехла двустволку и, усевшись в сугроб, застрелился.

Вот и опять — легенда или быль?

Мне вспоминается и другая история, но уже не камчатская, а сахалинская. Некий городской чудак, нищенствующий бобыль, кореец по имени До Хок-Ро, много лет собирал русские деньги, хотя совершенно не разбирался в них и даже не умел их считать. Произошла денежная реформа, а старик До Хок-Ро и не заметил ее. Не заметил он и того, что деньги стали совсем другими, и продолжал копить их. За много лет он собрал не мешок, но небольшой мешочек денег, из которых половина была дореформенными, непригодными к употреблению купюрами. И вот однажды этот мешочек с деньгами у него украли.

Нет, он не покончил с собою, этот городской шут гороховый и сахалинский бродяга. Он продолжал влачить свое жалкое существование, несмотря на крушение всех своих надежд, лелеемых в течение многих лет, как и у его камчатского брата по несчастью. Старик До Хок-Ро — тоже мой брат по Сахалину, и я написал о нем в своей ранней повести «Собиратели трав».

Так вот, советский человек — бедный человек, который захотел жить богато, но ему это не удалось. Тяжко трудясь и подчас живя нищенски, он копил деньги, как билетки надежды, но однажды их у него отнимает государство или уносит вор. Бедняк-мечтатель, возжелавший из своей нищеты сделать богатство, — вот что такое советский человек. И всякий, кто подобным образом живет на этой грешной земле, похож на советского человека. И мой дед Ким Ги-Ен был такой же, и мой отец, и я сам тоже.

Очевидно, устройство счастья посредством накопления материального богатства не является верным способом. Об этом догадывались, наверное, неко-

торые из моих братьев по Сахалину, братьев по Камчатке. Вот хотя бы этот камчатский брат.

Он рисовал на тканях пятнистых оленей с большими ветвистыми рогами, горы с водопадами и прихотливо изогнутые деревья на каменных уступах. Одно из его произведений приобрела моя матушка и повесила в комнате на стенку. Меня картина почему-то глубоко заинтересовала и даже взволновала. Я узнал от матери, где живет автор, и вскоре навестил его.

Это был один из тех камчатских корейцев, сезонников из Северной Кореи, чьих детей учил мой отец. Когда я пришел, художник на вертикально натянутом полотне рисовал водяными красками тигра. На моих глазах из небытия возник живой полосатый тигр, исполненный грозной силы,— и я вдруг мгновенно постиг, что вижу момент сотворения жизни... Это и было искусством. И мне стало ясно, что я должен делать всегда, во все свои дни на земле.

Болезнь

Я перешел уже через вершину своей жизни и, глядя вдаль, ясно вижу ее закат, а оглядываясь назад, вспоминаю свою неизменную любовь к ней. Что бы со мною ни происходило — а происходило многое и разное, порой и самое печальное,— мне всегда нравилось жить, и я не испытывал еще отвращения к жизни, никогда не проклинал ее. Но, сознавая это умом в свои зрелые годы, в молодости я любил жизнь всем сердцем, бездумно, страстно. И особенно сильным было это сердечное чувство, мне кажется, в пору детства, а именно лет в десять — двенадцать.

Почему именно тогда? Наверное, потому что как раз в те годы я сильно болел и мне недоступны были многие радости вольного детства: купание в холодной речке летом, катание на лыжах и коньках зимой... И оттого, что всего этого мне было нельзя, ах, как я все это любил!

А заболел я бронхиальной астмой в очень тяжелой форме, и это случилось на Камчатке, где было столько зимних игр и забав, и летних походов на сопки за ягодами, и чудесных встреч с океаном в тихую погоду при задумчивом рокоте кипящих бурунов и в шторм, когда ветер разносил по берегу рыхлые куски пены, срывая их с набегающих волн.

Могучий и суровый, исполненный первобытной силы дикой жизни, камчатский край был далек от суэты человеческой цивилизации. Синеватые каменные горы его, покрытые на вершинах белыми шапками вечных снегов, были доступны лишь отдаленному, робкому взгляду человека, который оказывался слишком мал и ничтожен перед гигантами, рожденными на свет миллионы лет назад, когда еще и духа человеческого не было на Земле. Едва ли успели заметить эти великаны появление крохотных существ, которые стали считать себя хозяевами земных просторов, океанов, небес и, чего там скромничать, венцом творения.

Не обращая внимания на возню людских букашечных сообществ, бубнили громовыми раскатами вулканы, просыпаясь время от времени и ворочаясь на своих материковых плитах... В горных долинах изливали седые потоки горячей воды и белого пара камчатские гейзеры.

Когда начиналась камчатская рыбная путина, лосось из моря в реки пёр таким плотным, могучим валом, что в горловине реки воды было меньше, чем рыбьих тел. И в устье нельзя было переплыть на лодках с одного берега на другой — живой рыбный поток подхватывал лодку вместе с веслами и уносил прочь, крутя посудину, словно щепку. На спокойной воде, в широком речном плёсе, спинными плавниками грандиозных лососевых косяков чернела вся поверхность реки — словно на гладкой воде вырастали какие-то темные остролистые растения, которые чудом могли еще и передвигаться!

Этакая сила, первозданная жизненная стихия, титанический выброс на поверхность энергии земных недр, грохот волн и вулканов, подземные толчки планетного пульса и раскачка каменных глыб мускулистыми плечами океанских бурь!

И перед всем этим я, большеголовый и тщедушный мальчик с больной грудью, в которой хрипела и клочкотала мокрота, словно в жалком гейзере задыхающейся, испуганной жизни. Я заболел весной, в пору таяния снегов, промокнув в ледяной воде, куда провалился однажды, играя вместе с друзьями на берегу новоявленной речки, которая образовалась от слияния потоков талой воды. Моя болезнь очень быстро подвела меня к той черте жизни, за которой открывается человеку что-то совершенно беспощадное, люто холодное, как темная вода с серыми хлопьями полужидкого мокрого снега.

Жестоко проболев все лето, я сильно ослабел и буквально таял на глазах, и тогда мои родители, испугавшись за мою жизнь, приняли решение отправить меня вместе с моей старшей сестрой на материк, в город Хабаровск. Оттуда как раз приехал знакомый человек, некий лектор по распространению политических знаний Пак, и он взялся отвезти нас на Большую землю.

Это была отчаянная попытка родителей вырвать меня из-под власти тех грозных сил, которые уже подхватили маленький комочек моей жизни холодным потоком и готовы были навсегда унести в лоно первозданной камчатской стихии. Лектор по распространению политических знаний пообещал определить меня в Хабаровске на лечение в поликлинику краевого комитета партии. Это была хорошая возможность — все лучшее в нашей стране тогда принадлежало партийным органам.

И вот мы, сестра шестнадцати лет и я, двенадцатилетний, совершили вместе с лектором Паком многодневный тяжелый переезд по штормовому морю на пароходе от Камчатки до Владивостока, а оттуда на поезде до Хабаровска.

Впервые мы, двое детей, оказались без родительской защиты в огромном мире незнакомых, чужих людей. В командировке лектор Пак был молчаливый, преспокоенный важности и чувства собственного достоинства партийный работник. А дома у себя, как выяснилось, он боялся своей жены Василисы, тушевался перед нею и обычно прятался в крошечной спальне, не выходя в единственную большую комнату, где крутилась вся его семья — сварливая супруга и дети со странными именами: Зея, Бурея, Вемисор, Вилорик и Люция.

Таких имен в русских святцах никогда не бывало, но это были все же русские имена, данные детям их отцом под влиянием вдохновения времени. Советский патриотизм и партийная романтика были в основе этого вдохновения. Так, имена Бурея и Зея, данные двум очаровательным девочкам, означали названия крупных рек на Дальнем Востоке, в бассейнах которых во времена революции и гражданской войны происходило много славных партизанских дел. Имя старшего из сыновей — Вилорик — сложилось из начальных букв слов, составивших следующую крылатую сентенцию: Владимир Ильич Ленин Освободил Рабочих И Крестьян. А имя младшего сына Вемисор означало аббревиатуру: Великая Мировая Социалистическая Революция.

Слегка не повезло с именем самой старшей девочке, красивой и стройной Люции. Дело в том, что молодой отец, ожидая первого ребенка, предполагал, что у него будет сын и он назовет его — РЕВО. А затем, мечтал партийный отец, у него непременно родится дочь, и он назовет ее — ЛЮЦИЯ. Вот и получилось бы у него: РЕВОЛЮЦИЯ. Но не вышло по его желанию: первой родилась девочка. И все же товарищ Пак на всякий случай назвал ее Люцией, надеясь, что следующего ребенка Василиса родит в мужском варианте и можно будет назвать его именем Рево — все равно, пусть и с перестановкой слагаемых, в сумме получится РЕВОЛЮЦИЯ. Но Василиса и во второй, и в третий раз родила дочерей...

Весь этот жутковатый бред сознания, подогреваемого распаленным политическим энтузиазмом, был тогда нормой привычного советского конформизма. Конечно, этот бред обретал звучание на русском языке, но почему-то бредивших было очень много именно среди советских корейцев. Что там говорить — мою старшую сестру, с которой мы прибыли в Хабаровск, тоже звали Люцией! Но меня, родившегося вслед за ней, моя благословенная, светлой памяти матушка не позволила назвать Рево, и я теперь, слава Богу, Анатолий. Просто зачаточно!

И вот в такое время, особый энтузиазм которого можно определить и по модным тогда именам, я с сестрой Люцией оказался в непонятном мире и впервые ощутил своей испуганной детской душой то состояние человека, что называется одиночеством в городе. Это одиночество в моем случае открыла мне бронхиальная астма, мучительная болезнь, отгородившая меня от всего мира стеной отчуждения. В особенности по ночам, когда приступы астмы усиливались и я лежал бессонный, весь в поту, изойдя мучительным кашлем и прислушиваясь к зловещему клокотанию мокротных пленок в груди, было велико это одиночество!

У лектора Пака в доме мы с сестрой жить не могли, не было места, и нам пришлось искать по городу квартиру. Удачных вариантов не попадалось, и мы довольно много скитались по разным районам, живя у разных людей — русских и корейцев. В том районе, где нам удалось снять самую первую комнатку, мы и пошли в школу: сестра в девятый класс, а я в пятый. Когда же в результате последовавших перемен жилья мы оказались довольно далеко от первоначального места, мне пришлось ходить в школу через весь город.

Необычайно странной, печальной, гнетущей сердце предстала та наша городская жизнь — после камчатского существования на лоне дикой и могучей природы, после океанского гула, снежных ураганов, громадной луны над краем сопки, перед которой пробежала однажды по снегу стая волков... Непонятны и чужды мне были эти городские жители, столь уверенные в своих действиях и не знающие, что значит болеть и мучиться от удушья по ночам...

Непонятной и бесконечно чуждой была и красивая, сладко пахнущая духами врачиха из крайкомовской больницы, куда я все же был определен на лечение. Когда я время от времени приходил к ней на прием, она всегда смотрела на меня с задумчивой жалостью, и мне было мучительно стыдно стоять перед нею раздетым, со своими тощими ребрами, тоненькими руками и углой грудью, в которой не смолкал влажно клокочущий бронхитный хрип.

Зимой мне пришлось ходить по нескончаемо длинной улице Серышева, пересекавшей центр города и тянувшейся далее, почти к самой окраине, где находилась моя школа. И вот на этой-то улице меня стала подстерегать страшная и неумолимая беда — само Зло человеческое, о котором я до этого не имел никакого представления...

Прошло уже добрых полвека, а я, несчастный, все еще никак не могу забыть этого. Недалеко от школы меня стал встречать некий уличный мальчишка, подросток лет пятнадцати, русский паренек в большой ватной телогрейке, видимо, отцовской — с заплатками бедности на ней, с закатанными рукавами, которые были слишком длинны для мальчишеских рук.

Этот разбойник начинал свой разбой с того, что обшаривал на мне все карманы, вытаскивая из них мои детские сокровища, какие обыкновенно бывают у всех мальчишек на свете, забирал всю мелочь, которую давала мне сестра на тот случай, если часть пути я захотел бы проехать на автобусе или трамвае. Затем он потрошил мою школьную сумку, вынимал и перекладывал в карман своей залатанной телогрейки мой школьный завтрак, который был заботливо уложен сестрой в бумажный пакет. Но, полностью ограбив меня, этот бандит не ограничивался добычей. Скверно усмехаясь своим недобрым плебейским лицом, покрытым ранними морщинками, он смотрел мне в глаза непонятным, почти веселым, внимательным взглядом и принимался мучить меня. Он бил кулаками по лицу, разбивал в кровь губы и нос, а потом, нагнув и подмяв меня под себя, протягивал снизу руку и своими грязными длинными ногтями расцарапывал мне лицо. Это было хуже всего. Это было уже не только насилие, грабеж и мучительство...

Спустя почти полвека мне тяжело вспоминать об этом. Измученный и ослабленный болезнью, я тогда не мог сопротивляться. Пока бандит обшаривал мою сумку и затем избивал меня, мое хилое тельце сотрясалось от кашля и в груди страшно хрипело, я задыхался. Ничего не стоило этому почти взрослому парню расправиться со мной, как того душа его пожелает. Но зачем же он расцарапывал ногтями мое лицо? Словно ставил на него кровавую печать своей

ненависти. Меня можно было ограбить и избить, но за что же ненавидеть? Почему люди, делающие зло другим людям, еще и ненавидят их?

Алексей

За эту зиму и последующие весну и лето мы с сестрою переменили три квартиры. Я не знаю, почему это происходило. У сестрицы моей был решительный, независимый характер, и, несмотря на свои шестнадцать лет, она никогда не мирилась с тем, что ей не нравилось. Маленькая ростом, но очень сильная, крепконогая, подвижная, сестра хорошо танцевала, прекрасно плавала и занималась спортивной гимнастикой. Одно время она даже хотела пойти в цирковое училище, чтобы стать акробаткой. Но судьба у нее вышла другая, и она впоследствии стала строительным инженером.

Вторую квартиру она нашла в городской слободке, похожей на деревню своими одноэтажными домиками, палисадниками, огородами за кривыми заборами, и эта слободка была расположена в низине на берегах гниловатой речки Плюсинки. В приземистом неприглядном домике стояла огромная русская печь с лежанкой, и была холодная пристройка с обмазанными глиной стенами. Эту пристройку и заняли мы с сестрой.

В том доме жили три одиноких человека, находившиеся в каком-то родстве, но не очень близком. Общего семейного уклада у них не было, питались они отдельно, располагались по разным углам большой темной комнаты в выгороженных закутках. Я не знаю, кому из них принадлежал дом и почему эти люди жили вместе. Была там девушка Панна, полненькая, круглолицая, с ямочками на щеках, с белокурыми кудрявыми волосами. В отдельном чуланчике размещался молодой мужчина, уходивший на службу в синем мундире с золотыми нашивками и в форменной фуражке, — не то летчик гражданской авиации, не то юрист, как полагаю я теперь. А в закутке около русской печки располагался на дощатом топчане слепой человек по имени Алексей. На табуретке возле его постели всегда стоял старенький баян со стертymi перламутровыми пуговками-клапанами.

Пять лет назад прошла самая страшная для России война, после которой многие люди вдруг оказались в обстоятельствах одинокого существования. У одних погибли или развалились семьи, у других они еще не образовались, а многие, сорвавшись с родных мест, поуждали в дальние края. С Панной, например, мы познакомилась еще на Камчатке, где девушка, чуть постарше моей сестры, оказалась почему-то одна, без родителей. Ее дальний родственник, старший брат третьего жильца нашего дома, был директором русской школы в том же поселке, где мой отец работал директором корейской школы.

И вот к этим одиноким, но вместе живущим людям добавились мы с сестрой, стали жить в холодной, безо всякого отопления, крошечной пристройке, похожей на тюремный каземат. Там едва умещалась одна железная солдатская койка, на которой мы с сестрой спали «валетом» — головами в разные стороны.

О, это была ужасная комната! Маленькая кособокая дверь, которая вела туда, с трудом закрывалась, тяжело разбухшая от сырости. Крошечное окно с прогнившими рамами было всегда наглухо затянуто ледяной коркой. В морозные дни зимы грубая штукатурка на стене покрывалась лохматой шубой инея. По утрам иней хрустел и на моих волосах, делая их жесткими, как сосульки, — всю ночь, мучимый удушливым кашлем, накрытый тяжелым ватным одеялом и всей теплой одеждой, какая только имелась у нас с сестрой, я отчаянно потел, и волосы у меня были мокрыми. Лежа в постели головами в разные стороны, мы с сестрой дыханием своим и руками грели друг другу ноги.

Но, несмотря на дикие условия, нам нравилось жить в этом доме. Любящая независимость сестра была довольна, что комната теперь с отдельным входом, не смежная и не проходная, как на предыдущей квартире. А мне было приятно водить компанию с хозяевами дома — с миловидной Панной и со слепым баянистом Алексеем. Придя из школы, я до самого вечера, до прихода из школы

сестры, находился в большой хозяйской половине с русской печью, делал там уроки и потом дружески общался с хозяевами.

Панна была большая любительница читать книги, и это все были книги такие же пухлые, как она сама, и, видимо, столь же приветливые и ласковые, как ее нрав,— уютно устроившись на лежанке печки, засветив лампу, девушка на долгие часы с умильной улыбкой на лице склонялась над шелестящими страницами. Я к тому времени тоже пристрастился к чтению и был заядлый книго-чей: еще на Камчатке, учась в четвертом классе, открыл я для себя это чудо и в поселковой библиотеке брал и перечел немало книг. В Хабаровске я также записался в библиотеку и всегда заказывал книги не менее пухлые, чем те, что читала Панночка. И, пристроившись где-нибудь неподалеку от нее, я столь же безудержно отдавался запойному чтению.

Со слепым Алексеем у меня были другие дела. Этот высокий, с прямой осанкой, крепкого телосложения человек с белыми неподвижными глазами был всегда добр ко мне. Разговаривая, он неизменно улыбался — и всегда почему-то смущенно, казалось мне, даже робко, словно это он был мальчишкой двенадцати лет, а я перед ним — взрослым человеком. Улыбка его была широка, осклабиста, с лукавым загибом углов рта вверх, отчего на худых щеках его образовывались глубокие складки. Белые зрачки глаз при этом обращались куда-то вверх, вдаль.

Он со мною и разговаривал как со взрослым. Впрочем, рассказы его были о том, что понятно и взрослому, и ребенку: это были воспоминания о его деревенском детстве. Оказалось, что Алексей в раннем детстве видел вполне нормально, ослеп он уже подростком. И в его рассказах, самых простых и бесхитростных, было столько света, простора, живого движения. Я уж и не помню точно, о чем они были, эти рассказы: кажется, о каком-то деревенском попе, о драчливом петухе, который жестоко клевался, о рыбной ловле... В сущности, он тогда делал то, что пытаюсь делать сейчас и я,— прояснял в памяти увиденные картинки мира, которые и являются прошедшей жизнью, бесценной и прекрасной.

Иногда по моей настойчивой просьбе Алексей брал в руки баян и пел хрипловатым приятным голосом разные песни. Это были и известные в то время песни, которые я слышал раньше, и некоторые неизвестные мне странные, диковатые песенки из особенного народного репертуара, в которых изливается тоска, жалоба русского человека с неудачной судьбой: бродяжки и тюремные саги, сиротские жалобы, воровские залихватские куплеты, мещанские баллады о загубленной девичьей любви... Русский человек улицы, человек городской площади, дорожно-вокзального бесприютства любит подобные песни...

Дело в том, что Алексей был традиционным слепым певцом, уличным музыкантом, без которого не обходится русская жизнь на миру. Он пел на больших, шумных хабаровских базарах, тем и зарабатывал себе на жизнь. Подаяние, которое он собирал, не было гонораром нищего попрошайки, это были трудовые деньги, но Алексей никогда не говорил дома о своем занятии и стыдился, очевидно, перед знакомыми. Если кто-нибудь из них заговаривал на базаре с ним, он тут же собирал баян и удалялся. Зная об этой его болезненной гордости и стыдливости, знакомые Алексея подходили и клали ему деньги в шапку втихомолку.

В Хабаровске среди простого народа, вынужденного в трудное послевоенное время толкаться на барахолках и базарах, слепой Алексей-баянист был весьма известен. Уже много лет спустя, взрослым человеком, я разговаривал с разными людьми из Хабаровска, и они помнили его.

Этот слепой музыкант, принадлежавший уличному народному искусству, независимому от всяческих институтов культуры, был в пределах своего мира выдающимся человеком. Он не пристрастился к вину, что является обычным явлением у русских людей, чья жизнь неблагоприятна и беспросветно тяжела. Я свидетель тому: никогда не видел его не то чтобы пьяным, но и попросту выпившим. Несмотря на свое беспомощное состояние, он жил, никого не утруж-

дая, ухаживал за собой сам и выглядел вполне опрятным. Свою немногочисленную одежду бедняка всегда содержал в порядке, ничего рваного, грязного, с дырами или с оборванными пуговицами я не видел на нем. Когда он бывал дома, то никому не мешал, передвигался бесшумно, никогда ничего не задевая, или тихо сидел в своем закутке возле печки, размышляя о чем-то, с кроткой улыбкою на лице, уставясь куда-то в пространство неподвижными глазами.

Он ходил по улицам без палки — с высоко поднятой головой, с баяном, завернутым в большой платок и подхваченным на плечо. Не имея поводыря, он находил дорогу в этом огромном городе, в этом мире. Он рассказывал мне о деревенском детстве, о своей жизни с чувством большой и чистой любви к ней. Он ни разу не пожаловался и не высказал чего-нибудь, что явилось бы проявлением хоть малейшего недовольства судьбой.

Мне за свою жизнь пришлось встретиться с некоторыми поистине значительными людьми нашего мира, и слепой Алексей был одним из них. Он мог бы снять с моего детского сердца печать несправедливости, чем был отмечен, как открылось мне, к горести моей, человек в этой жизни. Мне надо было только рассказать тогда Алексею о моем мучителе, который встречал меня на пути в школу, и спросить, что же мне делать...

Но я ничего ему не рассказал и ни о чем не спросил. Со всем упорством своего маленького, но непреклонного сердца я продолжал ходить в школу по той же дороге, где меня ожидали позор, унижение и боль. Уже заранее, издали увидев длинную, нескладную фигуру своего мучителя, я принимался рыдать от бессильной ярости, но все равно шел ему навстречу... Ну что я хотел этим доказать? И кому? А мучитель с нескрываемой радостью на лице поджидал меня и с удовольствием принимался за свое дело.

Алексей был добр и что-то знал такое, чего не знал я. Впоследствии мне не раз хотелось снова встретиться с ним и поговорить. Но это было невозможно — я услышал от одного человека, который в те далекие годы тоже знал слепого певца, что Алексей вскоре погиб. Он переходил улицу, со своим баяном на плече, как всегда без палочки, высоко подняв голову и как бы доверчиво глядя в небо, и его сбил мчавшийся по дороге грузовик.

Летом наши родители вернулись с Камчатки на материк, отработав свои договорные три года. Встреча наша состоялась в доме лектора Пака, там отец должен был пожить с семьей в ожидании назначения на новое место. Когда мы в этот день подошли с сестрой к старому деревянному дому, на первом этаже которого жили Паки, и с улицы увидели в раскрытое окно отца и мать, с нами что-то случилось. Я помню только, что, отчаянно вскрикнув, кинулся с улицы прямо к окну, вмиг перелетел через высокий подоконник и с громкими рыданиями упал в объятия отца. Тот же путь через подоконник совершила и сестра, хотя входная дверь в дом находилась рядом, в пяти шагах... Кажется, я впервые тогда увидел слезы на глазах отца.

Вскоре он получил назначение преподавать русский язык и литературу в сельской школе, в Вяземском районе. Место это было в глухом таежном углу, недалеко от реки Уссури, и деревня, в которой нам предстояло жить, носила необычное для российских деревень и весьма привлекательное название — Роскошь.

Роскошь

Деревня с прелестным названием Роскошь была расположена в двух километрах от станции железной дороги среди лесистых сопок Уссурийского края. Это была обычная бедная русская деревня, бревенчатая, под тесовыми крышами, с убогими сараями и крошечными банями. Чему обязана она столь великолепным названием — неизвестно. Разве что тайга, роскошная уссурийская тайга, сохранившаяся к тому времени во всей своей девственной красоте и силе, со всяким диким зверьем: кабанями, изюбрями, тиграми и медведями, тьмою всякой красной дичи, с изобилием грибов, ягод и орехов — тайга, и живность в ней, и необычайно красивые окрестности деревни могли дать ей это название, звучавшее без всякой иронии и самоиздевки.

Как и все деревни, Роскошь была населена крестьянами, работавшими почти бесплатно на государство, и вся жизненная надежда их была связана лишь с тем, что давали приусадебные участки. На них в основном выращивали картошку, которая рождалась в тех краях очень хорошо; картошкой питались и сами жители, ею кормили домашний скот, свиней и птицу.

В сентябре, когда начались занятия, классы нашей семилетней школы в деревне оказались пусты — вся округа начала уборку картофеля, и дети принимали в ней участие наравне с родителями. Когда после уборки, через пару недель, ученики начали появляться в школе, вид у них был изможденный, руки у всех были черны от земли, покрыты темными, кровоточащими трещинами, и на ладонях блестели твердые роговые мозоли. Но, несмотря на усталость, крестьянские дети, мои новые друзья-приятели, с довольным видом сообщали друг другу, сколько мешков картошки накопили их семьи со своих приусадебных соток. А участки у колхозников в Роскоши были немалыми — до полугектара, а у некоторых даже и больше...

Там впервые я соприкоснулся с русской деревенской жизнью, невзрачной на вид, как картошка, но такой же богатой содержанием жизненной энергии и добрых надежд нации. Для России и раньше, и теперь, и, наверное, в будущем деревня была и останется главным хранилищем духовных ценностей и нравственного богатства русских людей. В серой деревянной деревенской Руси предстояло мне распознать душу ее народа, проникнуться ее теплом, ощутить и полюбить корни могучего русского языка. Русский писатель во мне родился, я думаю, именно там, в дальневосточной деревеньке Роскошь. Именно там были предприняты и мои самые первые в жизни попытки написать какие-то стихи.

Но лесной воздух, насыщенный парами болот и вечной прохладой таежных дебрей, куда не проникали лучи солнца, сырость и холод Уссурийского края почти докончили меня. Хрипы в груди и кашель уже не давали спать по ночам, влажный и липкий пот, в котором я буквально купался во время припадков удушья, казался последним смертным потом.

Люди обычно не замечают того, что Бог постоянно творит каждого из них, — и эта Его работа, это творчество ни на миг не прекращаются. Людям обычно кажется, что они давно существуют такими, какие они есть, и ничто в них уже не изменится. Они не верят и не хотят верить тому, что каждый из них родился для того, чтобы умереть. Нет и нет! — вопит любая, самая малая, клеточка его существа, и человек бодрой рысью устремляется в жизненную гонку...

Но только тому, чью грудь рвет и душит непобедимый недуг, дано постичь роковую незаконченность своего существа — однажды ночью, вдруг, уставясь широко раскрытыми глазами в кромешную темноту. Вся жизнь лишь кажется законченной, как достроенный дом, — и это иллюзия, охватывающая смертную душу. И только тем, для которых узелок за узелком развязываются пути жизни, открывается нечто ошеломительное, странное — и безмерно неутешительное. Оказывается, что ты никогда не дойдешь, сколько бы ни шел, — *никогда не доживешь, сколько бы ни жил.*

И то, что считал я своим существом, своей личностью, неким Анатолием Кимом, вдруг оборачивается не чем иным, как клочком голубоватого тумана поутру, за окном, над смутным картофельным полем. Или становится совершенно ясным, что багрово-золотистая осень тайги светится, пылает где-то в височной части моей головы — там, где с лихорадочным беспокойством бьется тоненькая нервная жилка.

И меня уже нет — есть картина, странный, немного сумбурный кинофильм, который составляет из кусочков желтой казахстанской степи, синеватых каменных глыб Камчатки и оранжево-буйных всплесков осенней уссурийской тайги. Мое «я» — это просторы и ландшафты Земли, на которых меня уже нет. Но, коли я все же существую, во мне продолжают существовать те картины мира, из которых создается кинофильм моей судьбы.

И этот фильм тоже не будет закончен.

Но я вновь просматриваю превосходный «отснятый киноматериал».

Наша первая осень в уссурийской деревне, золотистое, теплое бабье лето. Сказочное изобилие грибов в лесу. Увитые лозами дикого винограда белые березы и гроздые темно-синих ягод на них. Райские деревья на опушке леса: усыпанные перезрелыми ягодами боярышники и дикие яблони...

Грибов в ту осень народилось столько, что за ними даже неинтересно было ходить в лес. И вот как это происходило. Мы с приятелем Колей Смотрковым однажды вышли с ведрами в руках за деревню и, не дойдя еще до леса, увидели возле дороги большой березовый пенёк, весь усыпанный светлыми, чуть желтоватыми грибами. Это были осенние опята. Мы с Колей подошли, быстренько набрали полные ведра грибов, после чего он сказал: «Ну, все. Пошли домой». Тут же рядом, вблизи пня, мы нашли несколько больших подосиновиков с багровыми лоснящимися шляпками. Эти гиганты едва уместились сверху ведра, туго набитого мелкими опятами.

Жаренные деревенским способом, в масле и с луком, грибы настолько понравились всем в нашей семье, что однажды отец с матерью решили сами сходить за грибами. Они раньше никогда этого не делали: лесная жизнь и всякие лесные охоты и промыслы были им неизвестны. Вот и вышло так, что родители притащили домой и, ни в чем не сомневаясь, накормили семью какими-то грибами, от которых отец и я чуть не умерли. Мы провалялись два дня, то и дело теряя сознание, нас рвало какой-то пенистой желчью. Малолетние братишка и сестренка отделались легким недомоганием. Одной матушке ничего не было: жертвуя собою, как и всегда, она почти не ела жареных грибов, побольше подкладывая нам с отцом. И ей же пришлось выхаживать нас, отпаивать свежим молоком, как посоветовали деревенские женщины.

Но не только грибами потчевала нас уссурийская тайга. Не забыть мне вкуса черного дикого винограда, мелкого, как смородина, с сизым налетом на ягодах. После первых осенних заморозков они окончательно доспевали и были необычайно сладкого и одновременно терпкого вкуса. И дикий лимонник с желтыми ягодами, пахучими и кислыми, запомнился мне навсегда. И непередаваемый вкус лесных яблочек, размером с черешню, с нежной мучнистой мякотью...

Та золотая осень в тайге, вокруг деревни Роскошь, была расшита яркими красными ягодными узорами.

Как во сне, вижу сейчас и другие чудесные творения Уссурийского края. Просторная роща пробковых деревьев. На их стволах лопнула и отпала старая кора, и от этого деревья кажутся больными либо высохшими. А вот выступили из таежной чащобы на широкий перелесок и темные толпы маньчжурского ореха, похожего на грецкий: в толстой мясистой упаковке, с теми же измятыми твердыми скорлупками.

Осенью золотисто-багровые просторы лесов вдруг оглашались могучим ревом, и эхо далеко разносило по горам эти дикие трубные звуки. Местный охотник, он же и учитель физкультуры в школе, разъяснил моему отцу, что это режут изюбры, дикие олени, — у них начался гон, свадебная пора. Этот учитель, по фамилии Лебедь, красивый, как киноактер, еще молодой мужчина, показал нам с отцом, как надо перекликаться с изюбрами. Он снял ствол со своего охотничьего ружья и, приставив его дулом ко рту, стал протяжно трубить. Звук получился таким же хриплым, диким и грозным, как и рев зверя, — и тотчас же издали донесся ответный крик изюбра.

Учитель Лебедь пристрастил к охоте и моего отца. Отец купил дорогое ружье-двустволку, обзавелся всем необходимым охотничьим снаряжением, в доме у нас появились такие необычайно привлекательные вещи, как мешочки со свинцовой дробью и тяжелыми пулями — «жаканами», коробки с черным порохом, с блестящими пистонами, широкий пояс-патронташ с отделениями для зарядов с дробью и пулями, шомпол из красного дерева, медные и картонные гильзы.

Мы жили на квартире у одинокой старухи Царенчихи, в бревенчатой избе, и занимали единственную комнату — сама же хозяйка ютилась в крошечной передней и спала на русской печке. Тесновато было нам в этом доме, и все охотничье снаряжение, пакеты с порохом и мешочки с пулями то и дело попадали

матери под руку, и она ворчала на отца, что он подвергает опасности семью. Но он был захвачен новой страстью и, не споря с ней, увлеченно занимался своим опасным делом: менял пистоны на патронах, насыпал порох маленькой меркой, набивал патроны, заколачивал в них войлочные пыжи. И я с удовольствием помогал ему.

В теплые дни бабьего лета я тоже ходил с ним на охоту. Из-за болезни я был слаб, поднять ружье мне было не под силу, и я не стрелял. Но уж очень хотелось побродить вместе с отцом по тайге, и я со слезами умолял его взять меня с собою, и он уступал, несмотря на то, что матери не нравились эти наши охотничьи подвиги. После каждого из них мне становилось хуже, я сам чувствовал это — и все же неодолимо тянуло в лес, и огромным счастьем для меня был каждый наш совместный поход.

Я был при отце кем-то вроде охотничьей собаки: шел впереди и вел его за собою. У меня было чутье на дичь, я всегда точно выводил на нее. К тому же я научился весьма искусно свистеть в маленький жестяной свисток, подражая писку рябчика. Даже заядлый охотник Лебедь не умел столь хорошо свистеть рябчиком, как я, а у моего отца это и вовсе не получалось. Весь потный, задыхаясь от хриплого клекотания в груди, я тихонько шагал по неведомым охотничьим тропам и время от времени самозабвенно принимался свистеть, стараясь передать все тончайшие оттенки птичьего голоса. И в ответ отзывались рябчики, а некоторые из них прямо летели ко мне, нежно шумя крыльями.

Отец был никудышным охотником и стрелял плохо. Почти никогда не удавалось нам вернуться домой с добычей, но это меня не особенно огорчало. Охота привлекала мою душу не охотничьими трофеями, а чем-то совершенно иным. Я тогда не знал и не мог знать того, что в будущем, когда вырасту и окрепну, так и не стану охотником. Могучий зов живой природы, ее родной голос и мое сердце, радостно откликающееся на этот зов, ничего общего не будут иметь с жадной обрести кровавую добычу. Но я должен был уже тогда, в детстве, однажды узнать об этом.

Был особенно неудачный день охоты. Я свистел хорошо, и на мой коварный зов прилетало множество рябчиков. Они садились на деревьях недалеко от нас, и отец стрелял, но каждый раз промахивался. И чем больше он промахивался, тем хуже стрелял. Руки у него заметно дрожали, на лице застыла виноватая, растерянная улыбка. Ноздри его потемнели от пороховой копоти, он расстрелял почти весь патронташ.

Я также задыхался от волнения и впадал в отчаяние, мы с отцом растерянно переглядывались после каждого его промаха, и я первым отводил глаза... Наконец мы совершенно пали духом, я почувствовал крайнее утомление, и нам пришлось присесть под деревом. Мы молча отдыхали, потихоньку осознавая всю меру своей неудачи.

И тут я, немного отдышавшись, опять взялся за свисток. Тотчас недалеко отозвался рябчик — и вскоре подлетел, фырча крылышками, и уселся неподалеку. Мы с отцом отдыхали на открытом месте, посреди лесной поляны, сидя под раскидистой березой. На соседнюю березу, шагах в двадцати от нас, и опустился прилетевший рябчик. Возбужденный и растерянный от неудач отец стал медленно, очень медленно поворачиваться с ружьем... Он тщательно прицелился и выстрелил.

Птицу на моих глазах разнесло в клочья. То, что осталось от нее, еще некоторое время висело на ветке, цепляясь за нее сжатыми лапками. Затем кровавые ошметки того, что совсем недавно было живым красивым рябчиком, упали под дерево в траву... Это был первый в моей жизни охотничий трофей — и последний.

С того дня и до сих пор я никогда больше не охотился.

Женьшень

Год, прожитый в деревне Роскошь, прошел быстро, но в памяти сохранился надолго. Я мог бы и сейчас нарисовать те осенние сливовые заросли, ничьи

на деревенских задворках, где приходилось мне лакомиться чудными желтыми сливами. Их в основном кто-то успевал собрать, но на ветках всегда оставалось достаточно недосмотренных ягод, и они-то были моей добычей. Я лазал в густых колючих зарослях, нагибал ветки, собирал с них ароматные сливины — и однажды вдруг услышал шуршание и треск в соседней куще. Нет, это был не медведь, это была небольшая симпатичная девчушка с синими глазами и веселыми конопушками на носу — Галя Фатина, ученица седьмого класса.

Для пущей важности мне хочется сказать, что я испытал к ней свою первую любовь, и, может быть, она была взаимной, потому что в ответ на мое любовное письмо к Гале, переданное через ее подружку, я получил записку, в которой значилось: «ЧТО ТЫ, ТОЛЯ, ЗАДАЕШЬСЯ, ВЫСОКО ВОЗНОСИШЬСЯ? ПО ПОХОДКЕ СРАЗУ ВИДНО — СКОРО ОПОРОСИШЬСЯ». И все же по такому ответу мне трудно было решить определенно, что я любим и дорог, и в неуверенности этой я пребываю до сих пор.

Но вполне возможно, что с того случая во мне и шевельнулся затаенный во всех человеческих душах вопрос вопросов: любят ли меня так же, как и я люблю? Вопрос этот обращен ко всему, что составляет основу нашего бытия: к другому человеку, к жене, к своей судьбе, к самой жизни, к Богу. Я не мог тогда столь ясно определить это главное условие нашего существования, как определил сейчас, — для этого понадобилась целая жизнь. Детское сердце оказалось способным лишь прикоснуться к жгучей тайне.

Однажды ночью, когда приступ болезни был особенно сильным и, лишь промучившись несколько часов, мне наконец удалось уснуть, я внезапно проснулся от звука голосов моих родителей. Они полагали, наверно, что я сплю, и негромко разговаривали в темноте. Речь шла о том, что предстоял новый переезд — на Сахалин, но их беспокоило состояние моего здоровья. Глубокая тревога слышалась в голосах моих дорогих родителей. Отец даже поднялся с постели и, подойдя в темноте ко мне, осторожно приложился ухом к моей груди, вслушиваясь в хриплое дыхание. Я не подал вида, что проснулся, и лежал, не шевелясь.

И разговор продолжился такой:

— Ребенку становится все хуже и хуже...

— А что поделаешь?.. Никакие лекарства не помогают.

— На Сахалине, говорят, сырой климат.

— Если ему суждено умереть, то какая разница где...

— Конечно... Надо, наверно, ехать.

— Да, надо ехать... Неужели нам суждено потерять его?

Я не могу определенно сказать, что со мною произошло в ту минуту. Но что-то очень важное, несомненно, открылось моей душе. Я ничуть не испугался того, что услышал. И родительское отчаяние, в котором они уже готовились к самому худшему, не встревожило меня. Наоборот, я как-то мгновенно успокоился. Мне помнится, что я даже улыбнулся в темноте и вскоре уснул с легким сердцем. И во сне продолжилось то же самое уверенное ликование: я знал уже, что не умру, что напрасны тревоги моих родителей...

В конце августа мы уехали из Роскоши и отправились на Сахалин. А когда во Владивостоке сели на пароход — буквально в тот же день началось мое чудесное выздоровление. Кашель исчез и хрипы в груди прекратились, как будто всего этого никогда у меня и не было. Я бегал по всему пароходу вместе с какими-то ребятами, с которыми успел познакомиться, и у меня было такое чудесное настроение!

Погода на море стояла замечательная. День этот был в моей жизни одним из самых значительных, отмеченных судьбою, и поэтому, наверно, я столь хорошо его запомнил. Морской простор был ярко-синим, небо — безупречно голубым и звонким. Ослепительное солнце заливало палубу парохода потоками теплых лучей, припекало мою стриженую голову. Дышалось глубоко, радостно, легко — и это ощущение доставляло мне неизъяснимое наслаждение: ведь столько лет самым мучительным для меня было просто дышать. Любой глупо-

кий, порывистый вздох мог вызвать в моей груди хриплое клокотание и изнурительный кашель.

На Сахалине, в небольшом рыбацьем поселке, куда был направлен работать мой отец директором корейской школы, болезнь совершенно оставила меня. Я не могу объяснить себе этот редкий медицинский случай, да и не хочется мне ничего объяснять. Сколько порошков, сладких, горьких и соленых микстур было выпито, сколько проглочено рыбьего жира, от одного запаха которого меня выворачивало, и съедено свиного жира, перемешанного со свежим медом, — все было напрасным... А тут в один день и без всякого лекарства прошло, зажило, прочистилось, свободно задышалось!

Тогда за одно лето я вырос на шесть сантиметров! Отец купил мне велосипед, и я стал гонять на нем с утра до вечера, даже научился свободно ездить, выпрямившись в седле и небрежно заложив руки за спину...

Однажды мать подозвала меня, усадила за стол и выложила небольшой тряпичный сверток. Глаза у матери светились от какой-то большой сдержанной радости — прекрасными были сияющее лицо и нежный материнский взгляд, направленный на меня, но различающий, казалось, сквозь мою сущность и что-то другое.

Она бережно развернула узелок, словно там затаилось живое, хрупкое, трепетное существо. И как же я был удивлен, когда увидел кусок обыкновенной желтоватой бересты, свернутый корытцем и поверх обвязанный бечевкой. Размотав ее, матушка развернула бересту, и под нею оказалась пригоршня темной земли, из которой торчали какие-то лохматые корешки.

— Смотри, сынок... Ты знаешь, что это такое? — необычайно серьезным голосом проговорила она. — Это настоящий горный женьшень. Один охотник нашел его и выкопал в тайге, а я купила у него за большие деньги. Это старый, очень ценный корень. Он лежит в той же земле, в которой вырос. Так надо выкапывать лесной женьшень — чтобы ни один его волосок не пропал... Я это купила для тебя, но до сих пор не могла тебе дать, потому что нельзя было, — говорила дальше мать, светло улыбаясь. — Женьшень, сынок, не надо давать больному. Говорится ведь, что женьшень добавит еще сто болезней тому, кто болен, а того, кто здоров, сохранит от ста болезней. Я дождалась наконец, что ты выздоровел, и теперь приговолю его для тебя. И ты съешь женьшень, и больше никогда не заболешь, и будешь жить долго-долго.

Мать купила эти корни у какого-то старого охотника, который научился искусству искать женьшень у корейцев, живших раньше на Дальнем Востоке. Таким образом, этот чудодейственный корень жизни я получил не только благодаря стараниям любящей меня матери, но и, считай, непосредственно из невидимых рук моей далекой Прародины...

Моя матушка приготовила женьшень по старинному способу: сварила корень вместе с цыпленком. Она велела мне съесть все мясо и разваренные кусочки корешков, разжевать мягкие косточки и выпить бульон без остатка. Цыпленок был большой, а порезанные кружочками корешки оказались горьковатыми, я весь вспотел от усердия, но съел все, как мне было сказано. Матушка сидела напротив и со счастливым видом смотрела на меня.

Я всю жизнь помнил это лицо матери — и сейчас, когда пишу, вижу его... Когда через много лет матушка скончалась, я по памяти нарисовал именно это ее лицо, и портрет был помещен на каменном надгробии. Теперь, когда я приезжаю в небольшой русский город Боровск и иду навестить материнскую могилу, именно эта сияющая улыбка и добрые глаза встречают меня еще издали — поверх могильной ограды, среди березовых белых стволов кладбищенского леса.

Поселок Ильинск, в котором мы оказались, весь состоял из серых дощатых барачков и старых японских домов весьма невзрачного вида. Улицы были непокрытые, пыльные, по их краям тянулись сточные канавы с вонючей грязной водой. Громадные крысы преспокойно посиживали на берегах этих канавок. Повсюду видны были следы убогой, беспорядочной и безрадостной жизни

на заброшенной окраине мира. И только воинский городок с аккуратными рядами крашенных свежей краской казарм, стоявших на окраине поселка, придавал ему некую цивилизованность и, можно сказать, даже нарядность. По крайней мере аляповато раскрашенные ворота воинской части, зеленые пушки, всегда зачехленные, и рядами стоящие грузовики с бронетранспортерами притягивали мое детское внимание и отвлекали от унылой поселковой действительности.

Наша семья жила в длинном двухэтажном японском здании, где размещалась корейская школа-семилетка, — отцу выделили там директорскую квартиру. Нам рассказали, что в этом доме раньше, при японцах, было веселое заведение с девками, и я услышал жутковатые рассказы о том, как некоторые из них были убиты или замучены пьяными гостями и закопаны в подвалах дома. И теперь еще по ночам, рассказывали нам, можно услышать женский плач, доносящийся из каменных подвалов. А иногда и раскрывается темное окно, из него наружу высовывается женская белая тень и нежным голосом заманивает припозднившегося прохожего. От таких рассказов у меня замирало сердце.

Но днем здание школы и двор заполнялись корейской детворой, начиналась беготня, гремел медный звонок, созывающий всех на уроки. Наша квартира помещалась в дальнем конце школы, отгороженном невысоким палисадником, и оттуда я часто наблюдал за шумной жизнью школьных перемен и занятиями по физкультуре, проходившими на спортивной площадке. Я ходил в другую, русскую, школу, и вначале у меня не было друзей среди корейских ребят, но постепенно я стал знакомиться и с учениками отцовской школы. Они со мной хотели разговаривать на русском языке, а я с ними старался говорить по-корейски — так мы взаимно обучали друг друга языкам.

Сахалинские корейцы показались мне несколько другими, чем те, которых я встречал на Камчатке. Там в общем-то были несколько забитые, робкие люди, державшиеся в стороне от русских, жившие своей скрытой жизнью. А сахалинские мои соплеменники, в особенности подростки и молодые парни, выглядели вполне независимыми, мало чем отличались от русских парней, одевались щеголевато и всегда по моде: широкие брюки-клевш, хлопавшие на ногах и подметавшие пыль дорог, маленькие кепочки-«восьмиклинки» с узеньким козырьком... Иной щеголь выставлял в распахнутом вороте рубахи полосатую морскую тельняшку. Словом, не отставала корейская молодежь от моды тех лет.

Шли пятидесятые годы, жизнь при японцах давно прошла, и у моих друзей-корейцев постепенно проходило угнетающее их раньше чувство своей второстепенности и отсюда душевной угнетенности.

Сахалинским корейцам пришлось пройти сквозь сложный психический зигзаг — уход в сторону от японского давления и поворот к русскому натиску — немного раньше, чем их камчатским соотечественникам. И поэтому тот собственный жизненный уклад и душевные качества, которые они обретали при новых условиях, были уже выработаны и обретены: характер сахалинских корейцев уже определился.

О, этот своеобразный летучий и туманный характер сахалинских корейцев! Я хочу о нем рассказать подробнее и, взглядывая в него пристальным взором, найти сходство с ним и своего собственного характера. Ибо я со всей серьезностью берусь утверждать, что в душевном устройстве людей имеют значение как кровь, что бежит по их жилам, так и вода, которая течет по руслам рек через земные долины, наполненные ровным гулом человеческой жизни.

Сахалин-1

Тогда я учился в выпускном классе семилетней школы. Возле нашей школы, за широким пустырем, находилась лесопилка, и высокие штабеля бревен громоздились рядом со школьным двором. На переменах да и после занятий я часто играл там с друзьями.

Точно такие же штабеля были и в эпизоде нашумевшего «перестроечного» кинофильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Там женщины увидели на

круглых торцах бревен написанные краской имена своих мужей, которых давно арестовали, увезли и посадили в сталинские концлагеря. Огромная страна была густо затянута паутиной небывалого еще на земле тоталитарного режима. Миллионами гибли люди в северных лагерях, в тюремных казематах, под пулями карателей НКВД.

А мы, мальчишки, ничего об этом не знали и бегали по бревнам, наваленным высокой горою. И все, чем мы рисковали,— это нечаянно свалиться с бревна и сломать себе ногу или руку. О глубоком неблагополучии народного существования, частичками которого были и наши мальчишеские жизни, мы и не догадывались. То, что жизнь наша убога, печальна и бедна и что она могла бы быть намного лучше,— такое нам и в голову не приходило. Весеннее солнце наделало сырости и развезло грязь по всей земле, а на бревнах было сухо, там можно было отыскать уютный закуток, укрытый со всех сторон, и, сгорбившись от холодного ветра, погреться под теплыми солнечными лучами... И на большой перемене, которая продолжалась минут двадцать, мы бегали туда посидеть на солнышке. Иногда, придремав в весеннем блаженном тепле, мы опаздывали на уроки, и за это нам, разумеется, попадало от учителей.

И вот однажды, уже довольно много времени спустя после начала очередного урока, в класс вошел Саша Горшков, комсомольский секретарь. Я и подумал, что он бегал на штабеля бревен, да что-то сильно подзадержался... Он встал у порога и, потупив голову, долго ничего не говорил — и вдруг навзрыд заплакал, утирая кулаком слезы. Что за дела? Саша Горшков был постарше других и уже интересовался девочками, «женихался». Он и еще несколько парней из нашего класса: Володя Молибог, Коля Хе, Иванов Саша — они что-то там делали с нашими крупными, упитанными девочками, загоняя их на перемене в темный угол класса. А девочки только радостно повизгивали в ответ...

И вдруг он плачет, комсомольский вожак выпускного класса! Это была очень выразительная фигура: в свои пятнадцать-шестнадцать лет парень уже выглядел как комиссар, носил темный китель «сталинского» покроя, ходил в высоких, до блеска начищенных черных сапогах. (Наверное, он впоследствии стал каким-нибудь партийным работником.) И так, отвернувшись лицом к стене, Саша Горшков поплакал, а потом срывающимся голосом произнес что-то невообразимое:

— Сталин умер.

Теперь-то весь мир знает, что такое сталинские лагеря. А тогда, в марте 53-го, нам показалось, что закатилось солнце жизни для нас. Было совершенно немыслимо на месте этого солнца вообразить что-то другое. Как-то даже и близко не представлялось, чтобы вместо этого имени на лозунгах с привычными словами «ДА ЗДРАВСТВУЕТ...» появилось бы какое-нибудь другое имя.

Тогда было незыблемое представление, что обязательно надо кричать «ДА ЗДРАВСТВУЕТ...». — тоталитарный режим в любой своей форме рождает прежде всего жалкое раболопие в своих гражданах.

Боже мой, так неужели ничего другого в моем детстве не было, кроме этого чувства рабства?

Нет, было и другое.

Был огромный лохматый медведь, которого я увидел за кустом шагах в десяти от себя, а точнее, сначала услышал сильнейший треск сучьев, затем успел мгновенно заметить краем глаза темно-бурую гору звериного меха — медвежий бок... Дело было летней порою, когда на Сахалине созревала черника — сочная темно-синяя ягода, усыпавшая сплошняком невысокие кустики в лесу. Компания детворы с жестяными бидонами и ведерками отправилась в лес, не так уж далеко от поселка, и там произошла эта неожиданная встреча с мохнатым Хозяином. Он, по всей видимости, тоже лакомился ягодами и, столь же увлеченный сбором черники, как и мы, не заметил нашего приближения. А может быть, он попросту спал, забившись в прохладное место. Что бы там ни было, встреча оказалась неожиданной для обеих сторон — я заорал благим матом и в беспамьятстве кинулся прочь, бросив оземь бидон с ягодами, а медведь затре-

щал по кустам, как нечаянно влетевший в лес локомотив, и умчался в обратную сторону. И поскольку он двигался намного быстрее меня, то и скрылся в лесной глубине раньше, чем я успел выбежать на опушку. Там уже мелькали последние две-три фигуры из нашей ягодной компании, улетаевшие во всю прыть и далеко обогнавшие меня. А я, несколько опомнившись, приостановился, оглянулся и прислушался. Сзади было все тихо. Тогда, чуть поскуливая от страха, все еще державшего меня за шиворот, я поплелся назад — искать брошенный бидон с ягодами...

Было холодное синее море с серой полосой прибрежного песка, в котором покоились выброшенные волнами куски дерева, обглоданные соленой водой, похожие на громадные кости. Много часов моей мальчишеской жизни прошло на том берегу. Впервые увидел я там сказочных великанов, бредущих вдоль морского горизонта с облаками в обнимку. Небольших рыбок и крабью мелочь, что удавалось добыть на отмели, мы пекли на кострах и съедали всей компанией первобытных охотников и сборщиков, забыв о цивилизации, не помня о школе и нудных учебниках, безо всякой заботы о том, во имя кого кричать «да здравствует».

На этом первозданном океанском берегу происходили весьма суровые дела, соответствующие первобытным отношениям. Мой приятель Кешка, по прозвищу Ташкент (он с родителями приехал на Сахалин из Ташкента), рассказал мне под большим секретом, как несколько мальчишек, под руководством Кабаси, шпанистого пацана из поселка, убили какого-то пьяного корейца и закопали его под сопкой в песок. И все это вполне могло быть: Кешка-Ташкент клялся мне, что он говорит правду.

Да, и такое было. Но там же, среди этих серых телогреек лагерного вида, в которые было одето большинство взрослых и детей (они ходили в родительских обносках, закатав для удобства длинные рукава на своих худых, тонких запястьях), среди тяжелой, мрачной матерщины пьяных сезонников и сезонниц прошла и моя самая настоящая первая любовь.

Я не буду сейчас расплываться от умиления по ее поводу — нет такой задачи в этой повести. Может быть, в другом настроении придут другие слова и разукрасят эту любовь в самые радужные цвета. А теперь я хочу говорить лишь о тех тяжелых ударах и, возможно, скрытых переломах души (как бывают и скрытые переломы костей), которые я испытал в связи со своим первым чувством.

Мне сейчас надо осознать во всей беспощадной правдивости, каким образом и из чего складывалась моя душа, столь мучительная и непонятная для меня самого... Надо подумать о том, как я постепенно становился тем человеком, каким являюсь сейчас, — и тогда, может быть, я наконец пойму, кто я такой на этом свете. А без этого — нет мне покоя. Я складывался как человек в условиях торжествующего абсурда, среди людей, ведущих абсурдное существование, и сам был носителем этого абсурда. И не знаю, насколько Красота мира и Любовь человеческая смогли внести в мое существо те качества, которые угодны Богу и оправдывают присутствие человечества во Вселенной.

Вот как происходила тогда во мне борьба любви и отчаяния.

Моим идеальным существом стала девочка по имени Бэла Дидикаева, осетинка, — как сейчас говорят, представительница «кавказской национальности». В свои двенадцать лет она была уже поразительная красавица, известная на всю школу и на весь наш маленький городок. Именно Бэле дано было пробудить в моей душе древний хан всех корейских мужчин — глубочайшее благоговение перед женской красотой. Мне от нее ничего не надо было, я хотел бы, чтобы она только один раз обратила на меня свое внимание — и узнала... Что именно? То мне трудно сказать.

И вот благодаря вмешательству высших сил, наверное, внимание прекрасной Бэлы было обращено на меня. Невероятно, но я был признан и даже как бы избран этой юной красавицей. Мне даже было позволено выбирать именно ее в наших детских играх, где требовались пары, и даже сидеть рядом с нею в кино и держать ее за руку.

Она была дочерью офицера, майора из той войсковой части, что стояла в нашем поселке. Я ходил в военный городок, где жили мои новые друзья, дети офицеров, мы там играли на огороженном высоким дощатым забором пустыре позади штабного дома. Иногда вечерами всей компанией ходили в солдатский клуб смотреть кино.

Несколько девочек и мальчиков подросткового возраста составили замечательный ансамбль для детских игр тех времен — это были чудные игры: «штандер», «ручеек», прятки, круговая лапта («вышибалы»), «глухой телефон». Дети были в общем-то нормальными детьми из того благополучного слоя населения, к которому относилось армейское офицерство, и в их жизнь дикость окружающего мира не проникала, отгороженная высоким забором штабного двора. Я попал в этот обособленный детский мирок случайно — и дружил с лучшей из лучших девочек на свете. Но за это счастье мне пришлось платить.

Я был маленьким, большеголовым и довольно хилым после долгой своей болезни корейчонком, но меня избрали, я был отмечен благосклонностью Бэлы, и это пробудило в моем трепещущем, словно у кролика, сердце какую-то безумную отвагу. Я дрался с неблагородной шпаной из уличных шаяк, которые, как волки, кружились вокруг наших невинных игрищ, затаив в душе какие-то преступные замыслы. Они подлавливали меня, когда поздно вечером я один уходил из военного городка домой. Они вызывали меня на кулачный бой с кем-нибудь из них и выставляли против моих мелких кулаков и жиденьких мускулов какого-нибудь бугая на голову выше меня. И я дрался с ним и зарабатывал себе на лоб громадную шишку, а под глаз синяк — и носил все это перед Бэлой, ласково и понимающе смотревшей на меня, как боевые знаки отличия.

Но это трудное мое счастье продолжалось недолго. В те дни я впервые почувствовал, что самое невозможное возможно для меня, если я буду драться за то, что люблю, ничего не боясь и с готовностью в душе пойти до конца... Кто-то мне помогал — чтобы я мог преодолеть свою робость и смело, весело взглянуть в глаза опасности. Однажды после кино возле клуба меня окружила целая ватага неразличимых в темноте пацанов, и мне было сказано, что я, корейская морда, много о себе воображаю и дружу с девчонкой, с которой хочет дружить сам Паротик (это был бледный курящий и пьющий малый лет шестнадцати, главный «пахан» детского уголовного мира нашего поселка), и сейчас из меня сделают урод... В тесно сомкнувшийся круг ворвался какой-то кудрявый крепыш, широкоплечий, на голову выше меня. «Дайте, я врежу ему, пацаны!» — попросил сей добровольный экзекутор-любитель у почтенной публики и второпях не очень удачно смазал меня по скуле. (Впоследствии я узнал, что это был некто Валера, новоприбывший к нам офицерский сынок — один из тех ребят воинского городка, которым самим нравилась Бэла и не нравился я.)

Я тогда громко и весело рассмеялся. Этот неожиданный и для меня самого смех спас меня. Мне показалось смешным то, как суетился и спешил кудрявый малый, изготавливаясь врезать мне. Моя готовность принять все — безо всякого страха и упрека, в благодарность за избранничество Бэлы — оказалась и на самом деле великой. И я почувствовал во враждебной темноте сахалинской летней ночи, что мне кто-то помогает... Прибежали большие ребята из корейской школы, которых успел позвать мой младший брат, и после нескольких тычков по зубам и увесистых пинков в зад мои враги быстро рассеялись в темноте.

Итак, я оказался узнанным Бэлой, и она пожелала предпочесть меня, а не другого, и этот другой, могущественный руководитель нашего поселкового детского уличного мира, просто уже обязан был как-нибудь расправиться со мной. Потому что я не собирался уступать и, охваченный счастьем и гордостью, смело шел навстречу судьбе.

Но вся эта моя готовность заплатить хоть жизнью за свое счастье не понадобилась. Вскоре воинскую часть перевели куда-то в другое место.

В последний день, когда на железнодорожной станции уже стояли на открытых вагонах-платформах зачехленные пушки и грузились в товарные ваго-

ны солдаты, офицеры и их семьи, было тепло и ясно и весело играл военный духовой оркестр.

Я стоял один в стороне и смотрел, как от грузовиков к вагонам бегают мои уезжающие друзья, таская домашний скарб. Бэла тоже хлопотала, оживленная, веселая, не обращая на меня внимания. И я скоро ушел домой.

Мать попросила меня наколоть дров, и я с топором пошел к сараю. Я занялся дровами и все время слышал, как играет на станции духовой оркестр... Потом не выдержал и, бросив топор на землю, кинулся бегом к станции. Когда я вбежал на железнодорожную платформу, поезд уже тронулся и вагоны медленно проплывали мимо. Духовая музыка, звучащая из переднего вагона, была уже далеко.

Я хотел еще раз увидеть Бэлу. Я молил об этом Бога. Но Он почему-то не разрешил мне этого.

Вместо нее в широко открытой двери проходящего вагона я увидел кудрявого Валеру, того самого, который когда-то небольно стукнул меня кулаком по скуле. Теперь он равнодушно мельком посмотрел на меня и, видимо, не узнал.

Сахалин-2

Этим же летом наша семья уехала из Ильинска — мы перебрались поближе к южной оконечности острова, в город Горнозаводск, при японцах называвшийся Найхоро-Танзан. Он мало чем отличался от предыдущего нашего места проживания: все такие же длинные унылые бараки пыльного цвета, все те же немощные грязные улочки, покрытые черным прахом угольного шлака, выбрасываемого жителями прямо на дорогу. Городок этот располагался не вдоль морского берега, как прежний, а как бы впрытк к морю — протянувшись на несколько километров по речной долине в глубину острова, между высокими крутобокими сопками, часть которых была покрыта темной зеленью лесов, а часть — яркой травой безлесья, среди которого торчали, словно причудливые скульптурные изделия, серебристые останки давно сгоревших деревьев. Здесь, на лысых сопках, когда-то были хорошие леса, но японцы их вырубали, а что не успели взять, то сгорело в лесных пожарах.

Если посмотреть со стороны моря, проезжая мимо Горнозаводска на пароходе, то можно увидеть лишь серую полосу песка и несколько длинных барачков точно такого же цвета, как и песок, да еще черную высокую трубу кочегарки, из которой выдавливался в небо лохматый угольный дым.

На пароходе я никогда не проезжал вдоль этих берегов, следовательно, ожившую сейчас в моей памяти картину я видел лишь с поверхности волны, покачиваясь на ней, когда заплывал вместе с ватагой товарищей далеко от берега. Людей на нем уже нельзя было различить, никаких звуков с пляжа тоже не долетало — и мы плыли, время от времени оглядываясь на безлюдную тишину вдали видневшегося города, который представлял перед нами, парящими над бездной морской пловцами, совершенно незнакомым и таинственным.

Этот небольшой шахтерский городок, протянувшийся в глубину речной долины, стал для меня тем местом на земле, где вызрела моя юность, словно птенец под надежным родительским крылом. С четырнадцати и до семнадцати лет я благополучно и счастливо прожил в Горнозаводске. И в этом заурядном уголке глубочайшей сахалинской провинции и суждено было мне впервые прикоснуться к сокровищам, дорожке которых нет ничего в человеческом мире. Там я впервые прочитал «Войну и мир» Толстого и проникся высшим духовным трепетом поэзии Лермонтова. В это же время я написал и свои первые лирические исповедальные стихи и сделал первые рисунки с натуры и этюды масляными красками.

Выходя из моря на берег ярким летним днем, подталкиваемый в спину дружескими крепкими ударами волны, я однажды ощутил себя ловким и сильным мускулистым парнем — так я незаметно и радостно проделал переход из детства в юность. И если все пронизанное светом детство мое было целиком связано со стихиями и чудесными откровениями природы, то юность моя оказалась

благословенной встречами с людьми, которые бескорыстно несли мне дары уже другой, человеческой, духовной стихии и красоты, «творчества и чудотворства».

Когда я перешел в девятый класс, в нашу школу приехала работать довольно многочисленная группа молодых учителей из Москвы, выпускников известного педагогического института. Это был энергичный, веселый народ, исполненный желанием немедленно сеять вечное и доброе по самым передовым методам педагогической науки. В сравнении с нашими прежними учителями, дремучими представителями старорежимной провинциальной педагогики, блистательная столичная молодежь выглядела соколами рядом с воронами. И хотя мы уже сжились со своими грозно каркающими педелями до состояния теплой, чуть попахивающей лицемерием, привычной домашности, новые порядки и веяния, пришедшие вместе с молодыми учителями, были встречены нами всей душой.

Хотя надо сказать, что сразу обнаружились вопиющие недостатки в прежнем обучении по разным дисциплинам: мы оказались неучами по математике и химии, невеждами по астрономии и географии, полуграмотными в русском языке и дураками по литературе. Но сразу же всей дружной компанией, «без уныния и лени», столичная плеяда молодых учителей принялась вытаскивать нас из болота невежества и безграмотности.

Начались дополнительные занятия в школе — занимались после уроков допоздна. Иногда ходили мы и в общежитие для учителей, куда некоторых из нас приглашали на индивидуальные занятия. Времени и сил молодые учителя для нас не жалели, никакой личной выгоды для них не было да и не могло быть. То был порыв чистого энтузиазма новой интеллигенции, продолжающей классические традиции старинной русской педагогики. Видимо, в знаменитом московском институте профессора хорошо обучили своих студентов правилам педагогического благородства и сумели внушить им высокое чувство ответственности за свое дело.

В сущности, они были бедным классом в существовавшей тогда табели о рангах государственных служащих: учительская зарплата была одной из самых низких, пожалуй. Жили они в обычном и типичном для нашего городка длинном бараке с общим коридором, в маленьких комнатках с печным отоплением. За водой ходили с ведрами к колодцам или к водопроводным колонкам на улицу, готовили еду и стирали в своих клетушках — часто приходилось видеть, как на веревке, протянутой через всю комнату, висело сохнувшее целомудренное учительское белье. И как ни прискорбно об этом упоминать, но нашим милым, интеллигентным, благоухающим хорошими духами учительницам приходилось бегать по нужде в классическое дощатое сооружение во дворе, грубо вымазанное для красоты и гигиены белой известкой.

Бедность не порок, как говорится, и с бедностью наша интеллигенция давно научилась справляться, и даже настолько успешно, что бедности этой порою и вовсе не было заметно. Однако в привычной борьбе с нею более умелыми оказывались все же наши молодые учительницы, а вот с мужской половиной московской педагогической плеяды обстояло дело похуже. Помните, Юрий Петрович, замечательный и любимый наш физик и математик, чернобрювый красавец, приходил в начале нового учебного года в замечательном костюме цвета кедровых орешков, в наглаженных брюках, в ослепительно белой сорочке и при галстукке. К концу же учебного года он являлся на урок в том же костюме, но с дыркой на локте и с такими пузырями на коленях измызганных неглаженных штанов, что просто неудобно было на него смотреть. О галстукке и белой сорочке и он, и мы постепенно забыли и старались не вспоминать.

Но именно он, наш добрейший Юрий Петрович, ни разу ни на кого не повысивший голоса, со всеми учениками обращавшийся неизменно на «вы», приучил нас слушать классическую музыку. Оказалось, что физик наш к тому же и неплохой пианист, профессионально игравший Чайковского, Рахманинова. По заведенному порядку ученики старших классов с кем-нибудь из учителей должны были в большие праздники и под Новый год всю ночь дежурить в шко-

ле, и всегда дежурить доставалось безотказному Юрию Петровичу, и он в те ночи часами играл нам на ободранном школьном пианино. С тех пор и стала мне близкой, как бы моей собственной, светлая печаль «Времен года» Чайковского. Чудно играл наш физик, он оживил для многих из нас, впервые слышавших настоящее исполнение (а не хриплое клокотание по радио), дотоле непонятную и мертвую для нашей души классическую музыку.

В группе новых учителей, в большинстве состоявшей из девушек, был еще один мужчина, Виталий Титович Коржиков. Этому человеку я обязан прежде всего тем, что в свое время принял решение пойти на все и стать писателем. Виталий Титович тогда казался мне настоящим гигантом, Геркулесом. Когда приходилось видеть его в общественной бане, куда ходили мыться все рядовые граждане города, потому как в бараках и горнозаводских многоквартирных домах тогда еще не было ванн, я поражался красоте и мощи его внушительной фигуры.

Поистине это был русский богатырь, с необъятными плечами, с выпуклыми полушариями мускулов на волосатой груди, с толстыми, как бревна, ногами и спиной, как скала. Но этот богатырь, кудрявый, синеглазый, с широким улыбчивым ртом, говорил на уроках таким тихим, тонким голосом, столь кротко и смущенно улыбался, что его никто не боялся, и ученики на занятиях откровенно занимались кто чем хотел и разговаривали между собою. Гул стоял на уроках Виталия Титовича, как на вокзале, и услышать его объяснения по литературе было невозможно.

Но он был, оказывается, поэт, настоящий поэт, и у него даже были книжки! Вещь поразительная для меня — я впервые видел живого поэта. На праздничных вечерах в школе Виталий Титович Коржиков читал свои стихи со сцены, но, как и на уроках, тихим, тонким голосом, столь противоречащим его внушительной фигуре, и так же пошумливая и разговаривая публика, и ничего из того, что он декламировал, разобрать было невозможно. А он бормотал себе, глядя синими глазами куда-то в пространство, и даже время от времени делал какие-то выразительные жесты, потрясал сжатым кулаком — наш добрейший Виталий Титович... Впоследствии я читал его книжки — это были добротные стихи о матросской жизни, о мужественной романтике Севера, о любви, о Родине, о мужской дружбе — такие же сдержанные, мужественные и нежные, каким был и сам наш школьный учитель.

Это были молодые люди, старше нас всего лет на семь — десять: Мария Григорьевна Шевырева, математик, Тамара Петровна Вагина, преподавательница русского языка и литературы... И, как я теперь понимаю, это были представители той советской интеллигенции, которая несла в себе все лучшее, что было в нашем многомиллионном обществе. Детьми пережившие страшную войну, уже вполне взрослые для того, чтобы осознать все зло сталинского сатанизма, наши молодые учителя и учительницы давали нам то единственное противоядие и ту духовную пищу, которая только и могла спасти для добра наши юные души: знания и культуру России.

В этой великой стране, что бы с нею ни происходило в продолжении XX века, всегда оставалось в запасе огромное наследие отечественной культуры. И это наследие, это богатство не удастся разграбить и разбазарить никаким политическим бандам, никаким разбойничьим шайкам государственных жуликов. То, что оставили потомкам Пушкин, Лев Толстой и Достоевский, не подлежит ограблению и никогда не перестанет быть ценностью русского народа.

Время было невнятное, мутное. Недавно умер Сталин, расстреляли Берию, главного политического палача режима, — два грузина правили, казнили и миловали на Руси. После них страной стал управлять украинец Хрущев. Он пообещал, что скоро наступит коммунистический рай. Народы стальной империи покорно несли свой повседневный труд. Дети росли, учились в школах, пели патриотические песни.

Заканчивая школу, мы, сахалинские юнцы и девушки, мечтали вырваться за пределы нашего голубого острова, разлететься по Большой земле и там искать свое счастье. Я решил поехать учиться в Москву. Такое смелое решение

подказала мне сама судьба — никто ничего не советовал, заранее я ничего не обдумывал, а просто однажды мне стало совершенно ясно, что я должен отправиться в Москву. И моя мать сразу же согласилась со мной, отец тоже не стал возражать.

А до Москвы было далеко! Никаких близких или родных там не было, и никто из всего нашего корейского рода Кимов никогда там раньше не бывал. Я отправлялся туда самым первым. Москва сияла вдали своими волшебными лучами — о, как манили они меня, как замирало мое сердце!

В Москву!

Мое детство было связано с духами стихий — степей, гор и океанов. Моя юность определилась встречей с Москвой, с которой окажется связанной вся остальная моя жизнь. Есть какая-то магическая притягательность этого города для тех, кто когда-нибудь жил в нем или просто побывал там однажды. Понравилось ли в столице или нет, но даже случайный гость Москвы будет потом долго вспоминать ее с особенным, ни на что другое не похожим, беспокойным чувством. И, вполне возможно, чувство это еще не раз призовет человека в Москву, и он будет стараться приехать туда, словно обещано было ему там какое-то счастье, равного которому нет ничего в мире.

А я прожил в столице более тридцати лет, и за все это время, наполненное для меня ежедневным чудовищным напряжением всех моих сил в борьбе за духовное существование, так и не понял, какое счастье тайно обещала Москва, когда впервые призвала меня к себе в дни моей юности...

Не помню уже, каким образом принималось решение, что после школы я поеду именно в Москву, но вспоминается, как эта поездка совершилась на деле. Началась она с того, что большая группа одноклассников отправилась из Холмска, сахалинского портового города, очередным пароходом до Владивостока, а уж оттуда мы все, выпускники горнозаводской школы 1956 года выпуска, разъехались кто куда.

Во Владивостоке я оказался уже один, без друзей. Впервые провел ночь на вокзале, где народу было так много, что лавки и диваны оказались все заняты, спать пришлось на полу под лестницей.

На другой день я неожиданно встретился со своими учительницами, Марией Григорьевной и Тамарой Петровной, которые тоже собирались ехать в Москву. Оказалось, у них закончился сахалинский контракт и теперь они, окончательно рассчитавшись, возвращались домой. Мне невероятно повезло: я присоединился к ним, и Тамара Петровна тут же решила, что в Москве я останюсь у нее, в ее родительском доме. Мы взяли билеты на поезд и поехали.

От тихоокеанского побережья до Москвы поезд шел тогда 11 суток (теперь идет, говорят, одну неделю), и я, ехавший вторым классом в жестком вагоне, отлежал за это время все бока — потом ребра мои и кости на спине болели, словно от ушибов.

Когда-то, в раннем детстве, мне уже пришлось ехать вместе с родителями по этому же великому транссибирскому пути. Но тогда мы ехали в обратном направлении от Казахстана до Владивостока, и нас везли в товарных вагонах отдельным эшеленом, который довольно часто, бывало, загоняли куда-нибудь в тупик на запасной путь, где и приходилось торчать иногда по несколько суток. А на этот раз огнедышащий паровоз тащил скорый поезд почти безостановочно, днем и ночью, делая редкие остановки-передышки в больших дальневосточных и сибирских городах: в Хабаровске, Барнауле, Красноярске, Новосибирске... И надо было при такой неистовой непрерывной езде катить более десяти суток, чтобы добраться до Москвы... Велика Россия!

Не могу точно сказать, к впечатлениям этой ли поездки в Москву, в зеленой коробочке пассажирского вагона, или к воспоминанию о тягучем переезде из Казахстана на Дальний Восток, в товарных теплушках, относятся картины, встающие сейчас у меня перед глазами. Вот я высовываюсь из окна вагона и, прижмурившись под секущим встречным ветром, смотрю на загибающуюся по-

лукругом головную часть нашего поезда с черным паровозом впереди, над которым возносится пар, смешанный с дымом, ритмичными толчками вырываясь из широкой, как ведро, локомотивной трубы. В такт этим отсекаемым в воздухе рывкам дыма паровоз натужно пыхтит: чух! чух! чух! чух!

А вот я вижу вддали, на горе, среди нагромождений скал, что-то белое — такую же огромную скалу, как и соседние, но только белую и, если присмотреться, весьма похожую на знакомую усатую голову... Да, это была она — высеченная из цельной скалы гора-голова Сталина, которую выкрасили в белый цвет. Люди, едущие в поездах транссибирской магистрали, должны были видеть ее издали... А сделали ее какие-то заключенные из местных концлагерей. Наверное, творческий замысел возник у одного из них, потом был обсужден с начальством, и оно санкционировало создание этого поистине древнеегипетского монумента.

Почему я думаю, что мысль о сотворении колосса пришла в голову заключенному, а не какому-нибудь верноподданническому чиновнику из лагерного начальства? Конечно, я могу и ошибиться, всяко могло быть, но дело в том, что желание непомерно возвеличить образ своего *пахана*, фараона, императора появляется прежде всего в рабском сознании. Сам император, величественный фараон или вождь народов вряд ли стали бы мелочно интересоваться, сколько метров в высоту займет их изображение. Лукавое чувство торжества и восторга при мысли, что будет создан скульптурный бюст царственного фараона с горю величиной, должно родиться в душе истинного раба. Не будем ее называть низкой за то, что, несмотря на все мучения, страхи и унижения, которым подвергает хозяин своего раба, тот таит в себе некий немой и ужасный восторг перед образом всемогущего *пахана*. И порой, захлебываясь собственной кровью, которую пускали ему из носа слуги и палачи тирана, иной заключенный оказывался способным любить его и даже умереть, выкликая при расстреле имя усатого фараона.

Так бывало, об этом рассказано в разных книгах о России того странного периода, когда я появился на свет... Какая-то жутковато-величественная тайна содержится во всей этой чертовщине. А в том году, когда я, уже закончив школу, семнадцатилетним парнем ехал в столицу учиться, этой зловещей тайной преисполнилась вся громадная страна. И Сибирь, через которую

вез меня паровоз
в звонком стуке колес,
в черном ливне мелькающих шпал,—

огромный каторжный край был особенно густо насыщен этим духом непонятной покорности, немого восторга рабов пред своим господином... Ничего себе! Каторжники, которых загнал за колючую проволоку товарищ Сталин, делают из каменной горы его усатую голову, издали действительно имеющую грубое сходство с *«родным и любимым»*, как пелось в песнях.

С тех пор прошло очень много лет. Ни тех паровозов уже звонкоголосых, ни надежд моей юности, ни фараонов далеких и даже самого царства фараонова нет. Все это ушло в прошлое, не сбылось, развалилось. Думаю, что и гигантский бюст вождя народов тоже не остался — могли взорвать при власти других вождей... Но тайна, тайна народа осталась! Она заключается в том, что он почему-то не может благополучно существовать сам по себе, без всяких пришлых князей — варягов, грузин и прочих. Смотрите, как он сейчас, в эти дни, тоскует по сильной руке над собою и, словно в каком-то отчаянии, ищет нового вождя!

Но пора вернуться к Москве времен моей молодости. Я приехал туда с благим желанием поступить учиться в Художественную академию. В своей сахалинской школе я уже слыл «художником», то есть рисовал в стенгазете и оформлял рукописный литературный журнал, главным редактором которого, кстати, и являлся. Кроме этого, я написал масляными красками портрет кудрявого рыжего друга, Коли Волосатова, портрет сестренки, несколько маленьких этюдов с природы (море, одно лишь море и сопки!) — все это было показано на

областной выставке детского творчества, и мне присудили первую премию. Пожалуй, эта премия и решила мой выбор — я захотел всерьез учиться живописи.

К тому же в школе я начал писать стихи и сочинять прозу — все это под руководством Виталия Титовича и Тамары Петровны, наших «литераторов», — и преуспел, учителя хвалили (отсюда и редакторство рукописного журнала, выпускаемого в двух экземплярах — с банальным названием «Юность»). Сочинения мои зачитывали вслух в классе — для примера, а стихи даже хотели напечатать в нашей районной газете...

Однажды зимой пришел в школу некий невнятный, молчаливый человек с какими-то пустыми, светлыми, безумными глазами. Меня позвали со школьного двора, где мы, старшеклассники, убрали снег, в учительскую. Там меня и представила Тамара Петровна этому молчаливому человеку. Он крутил в руках экземпляр нашей классной «Юности» — это оказался мой коллега, главный редактор районной газеты. Он заявил, что готов опубликовать в газете некоторые стихи, в том числе и мои. Я ответил ему, что не возражаю, пусть напечатает, но только мои стихи печатать не нужно. Он поднял на меня свои пустые сумасшедшие глаза, отдаленно выразившие удивление. Видимо, редактор не знал, что и подумать... Откровенно говоря, я и сам не понял, почему отказался от возможности первой в жизни публикации. Может быть, Тот, Кто ведет меня по жизни, уже замыслил тогда, что я буду писателем, и не захотел гасить мой писательский дух соблазном легкого напечатания. Нет, я должен был годами и годами желать этого — как юноша любви, как узник освобождения, как больной исцеления. Мучениями и отчаянием души заплатить за это великое счастье — быть напечатанным...

Итак, уже не колеблясь и ни в чем не сомневаясь, я приехал в Москву, чтобы выучиться и непременно стать художником, таким, как Рембрандт, например («Портрет старушки»), или Джорджоне («Спящая Венера») — репродукции этих картин мне доводилось видеть на цветных вкладышах в Большой Советской Энциклопедии, которую отец выписал — от «А» и до «Я». Признаться, меня манила жизнь гениального художника: я уже читал роман про испанского гения, «Гойю» Эмиля Золя. И мне хотелось, честно говоря, чтобы меня так же полюбила какая-нибудь выдающаяся красавица, вроде герцогини Альбы.

Да вот не вышло пока. Конечно, теперь я понимаю, что всегда, всю жизнь был баловнем судьбы. В моей жизни все происходило так, чтобы я наилучшим образом подготавливался стать серьезным писателем. То есть таким писателем, который знает изнанку жизни, а не просто одну ее радужную поверхность. И для того, чтобы я обрел необходимые знания, судьба всегда пристраивала меня в такие школы жизни, где я мог изучать причину сокрушительного поражения, постигающего каждого человека, будь он безвольным пловцом, барахтающимся безо всякой жизненной цели или, наоборот, неистово устремляющимся к какой-нибудь бредовой пустоте. Словом, я прошел школу самого темного дна жизни — и самых холодных, прозрачных ее вершин. И этот путь познания начинался у меня в Москве.

Я не поступил в Суриковский институт — самоучку-дилетанта, представившего в приемную комиссию слабые любительские работы, не пустили и на порог этого высшего учебного художественного заведения. Мало того — я провалился на экзаменах по рисунку и в художественное училище, куда направили меня из комиссии института благодаря хлопотам Тамары Петровны.

Я жил у нее по прибытии в Москву — в пригородном поселке на станции Загорянка, где находился дом родителей моей учительницы — замечательный дом из ровных больших бревен, с просторной верандой, с помещением на жарком чердаке, где пахло смолой, сухой пылью и ржавчиной каленого железа кровли. На этом чердаке я готовился к приемным экзаменам в училище, писал маслом натюрморты: грибы, кувшины, бутылки... И, спрятавшись на этом чердаке, я пережил минуты самого черного отчаяния, стыда, ожесточения, когда впервые почувствовал Того, Кто вел меня по жизни, — и Он повел меня вовсе не туда, куда мне хотелось. С того дня, видимо, так оно и продолжалось: я огол-

тело устремлялся в жизни не туда, куда мне следовало, и бунтовал против Того, Кто был мне руководителем. И чем этот бунт может кончиться для меня?

В доме моей доброй учительницы, которая была старше меня всего-то лет на семь (Боже мой, ведь в таком случае ей уже, наверное, за шестьдесят...), я узнал много для себя нового. Например, чтобы съест кильку, вовсе не нужно выпускать ей кишки и, тарахтя вилкой и ножом по тарелке, еще и пытаться при этом отрезать несчастной рыбешке голову.

Нельзя было без разрешения брать из книжного шкафчика книги, хотя они и были такие замечательные и интересные: «Айвенго», например, Вальтера Скотта, «Кашеева цепь» Пришвина, «Новеллы» Проспера Мериме... Я был совершенно неотесанным сахалинским парнем, которому невдомек, что у книги есть владелец, что надо прежде спрашивать у него позволения взять почитать ее, если даже она и лежит на полке шкафчика в той же комнате, где ты сейчас проживаешь.

Ни в коем случае нельзя было включать без спроса телевизор, если хозяйева сами не смотрели его, — я тогда впервые в жизни увидел «живой» телевизор: на Сахалине, в шахтерском городке, телевизоров еще ни у кого не было. У моих же подмосковных хозяев, людей хотя и не высшего, но достаточно высокого советского класса, он был: с экраном величиною с записную книжку, перед которым на подставке пристраивалась большая пустотелая выпуклая линза, куда наливалась вода.

Перенимать новые культурные навыки и избавляться от дурных, некультурных, помогал мне один человек, которого моя учительница по-домашнему называла дядей Витей (или дядей Митей?), — это был брат хозяйки дома, матери Тамары Петровны. Тщедушный и маленький человечек, ростом даже меньше меня, со скошенными к переносице глазами, с зачесанными на лысину жиденькими волосами, этот дядя Витя-Митя обладал, однако, рокошущим низким голосом и имел обыкновение разговаривать самым решительным, грозным, безапелляционным тоном. Можно было оробеть перед ним, только слушая его голос, но все впечатление портили эти косые глаза и совершенно пустой рот, в котором торчал всего один желтый зуб, да и тот заметно пошатывался при разговоре.

Ему, наверное, было лет шестьдесят, он был пенсионером, Тамара Петровна как-то сказала мне, что дядя Митя-Витя алкоголик, и вообще в доме моей учительницы все относились к нему не очень-то серьезно. Однако на меня он произвел большое впечатление, и не только тем, что знал, как надо правильно есть кильку, буженину, осетрину и все непривычные для меня деликатесы, но главным образом жутковатыми рассказами из своего воинственного прошлого. Он когда-то, по его словам, служил крупным чином «в органах».

— Был у меня подчиненный, эстонец Мага, — рассказывал он мне, округлив скошенные к переносью глаза, — так он занимался только тем, что расстреливал на Лубянке этих самых дармоедов, которых приговаривали к смер-р-рти... У Маги был свой, специальный, маузер-р-р, — рыча, грозно оттопыривая нижнюю губу, рассказывал дядя Витя-Митя. — Ему в глаза невозможно было смотреть, такие они были у него стр-р-рашные.

И я тоже, будучи впечатлительным юношей, начинал испытывать страх перед сатанинским взором этого Маги. Но, заметив во рту бывшего офицера органов шатавшийся зуб, я невольно проникался беспокойством, как бы он тут же не выпал на тарелку, где лежали останки килек, что и выводило меня из страха.

Это были новые для меня люди: жители столицы, обитатели той срединной устоявшейся советской жизни, которая взошла, как я теперь понимаю, к вершине своего благополучия — высшей стадии коммунистического империализма.

Моя романтическая, мягкая, сверкающая лазурью дальневосточная юность навсегда осталась позади. Я начинал новую жизнь. Отец моей учительницы, какой-то крупный начальник, помог мне устроиться на работу, и вскоре я переехал в общежитие строительных рабочих.

В Москве-1

Москва второй половины пятидесятых годов завершала созидание своего облика имперского супергорода, мирового оплота социализма. Только что были отстроены высотные дома, так называемые «сталинские небоскребы», и здание Московского государственного университета на Ленинских горах — величественные розовато-серые гиганты, упиравшиеся острыми тонкими шпилями в самое небо. Завершалось строительство огромного спортивного комплекса в Лужниках с Центральным стадионом на сто пятьдесят тысяч зрительских мест. Были возведены новые многоэтажные районы, равные небольшим городам, — вдоль Москвы-реки на Фрунзенской набережной и на юго-западе, в Черемушках. Начинаясь тогда и застройка жилыми кварталами многочисленных окраин столицы, которые впоследствии по общей площади намного превысили размеры старой Москвы.

Прошло чуть больше десяти лет после окончания Великой Отечественной войны, и отстоявшая себя, укрепившаяся и невероятно повысившая мировой политический престиж империя Советов желала продемонстрировать свое величие новым обликом древней столицы. Москва пятидесятых-шестидесятых годов стала Москвой строительной, и таковой она осталась еще на многие годы...

Идеей и пафосом грандиозных строек было охвачено все государство: именно в те годы началась строительная гигантомания в стране. Возводились колоссальные гидроэлектростанции на Волге и на сибирских реках: Сталинградская, Братская, Красноярская. Прокладывались большие каналы в Средней Азии. Тогда и родилось захватывающее воображение название: «*стройка коммунизма*» или же — «*стройка века*». Так вот, строительство новой Москвы с ее сталинскими небоскребами и громадными микрорайонами тоже относилось непосредственно к «стройкам века».

Этот процесс *строительной экспансии* Москвы происходил на фоне широкой миграции сельских жителей в города, особенно сильной в те годы. Тогда только что стали выдавать колхозникам общегражданские паспорта и разрешили жить где хочется, а не только в своем родном колхозе, где почти ничего не платили за работу... И вышло так, что большую часть новоявленных московских строителей составили недавние жители деревень, народ, привычный к тяжелому физическому труду. И очень быстро вчерашний крестьянин из-под Тамбова или Пензы становился в Москве каменщиком, штукатуром, бетонщиком, маляром.

Как правило, *лимитчики* поселялись в общежитиях, принадлежавших строительным организациям, получали там в общей многоместной комнате свое койко-место: кровать с постельными принадлежностями и индивидуальную фанерную тумбочку.

В комнате, куда меня вселили, моими соседями по койке были парни разной национальности — поистине «семья братских народов». Там были татарин Витька Бигбулатов, украинец Петро Черевко, чуваш Игорь, русский мужик Мишка со своей женой Ньюрой...

В той же комнате обрел я соседство и затем дружбу на долгие годы с Валерием Костионовым, который был постарше и впоследствии, когда я уже давно покинул общежитие и шел своим путем, пробиваясь в литературу, во многом помогал, поддерживал меня... Он вскоре женился и переехал к жене. Но поскольку невеста оказалась тоже «лимитчицей», то и жить им пришлось в общежитии, притом женском, и жизненное пространство было точно таким же, как и прежде: казенное койко-место жены. И у Валерия московская домашняя жизнь началась в какой-то большой, похожей на больничную палату женской казарме. Правда, их кровать, находившаяся где-то посередине этой неудобной комнаты, была со всех сторон выгорожена ситцевыми занавесками, за которыми и принимали меня, дорогого гостя, мои добрые друзья...

В одном из подобных «классических» общежитий поселился и я, устроившись работать в тресте Мосстрой-2. Никакой строительной специальности я,

разумеется, не имел, и меня взяли в качестве разнорабочего. Мне еще не исполнилось 18 лет, поэтому рабочий день мой по закону был шесть часов.

Общежитие находилось в пригороде Москвы, в поселке Кокошкино, куда надо было добираться минут сорок на электричке. Жил я в четырехместной комнате в двухэтажном бараке с длинными коридорами, в самом конце которых находились умывальные комнаты и общие кухни...

Моя пролетарская жизнь началась осенью, когда уже рано темнело, а утренний свет наступал поздно. Около шести утра громкий звон будильника поднимал меня и моих соседей по койкам, и я, поспешно сбежав на двор в классическую деревянную будку, а затем в умывалке поплескав холодной воды на лицо, приносил с кухни чайник с кипятком и «пил чай» — обжигаясь, глотал горячую воду с сахаром и съедал при этом кусок серого батона. Все эти процедуры занимали минут двадцать после подъема, потом я одевался и выскакивал на темную еще улицу.

Там уже шаркали по асфальту сотни пролетарских ног, ото всех общежитских казарм тянулись темными цепочками косяки строителей новой Москвы, и утренние колонны молчаливых трудяг стекались к платформе железной дороги, где и скапливались в неподвижной молчаливой толпе, ждущей очередную электричку. Подходила, тонко посвистывая, электричка, останавливалась, и в тесной давке трудовой массы, устремленной к великим свершениям, я оказывался втянут в вагон поезда. Места там бывали все заняты, но, привыкнув со временем не завидовать сидящим, я почти не замечал их и сорок минут езды до Москвы мог продремать стоя, стиснутый со всех сторон народом, уткнувшись лбом в чью-нибудь спину.

В Москве, на Киевском вокзале, надо было бежать и нырять в метро, и снова брать штурмом вагон, барахтаться в потоках и водоворотах целеустремленной толпы — великой толпы трудового народа. Утренняя, семичасовая, в полном молчании движущаяся масса московских трудящихся, в основном рабочих, чьи смены начинались обычно в восемь часов, — это внушительное, захватывающее зрелище. Мое сердце начинало трепетать, как воробышек, когда я вдруг постигал всю безмерную мощь и живую мускульную силу этого всеобщего устремления. Очевидно, я нешуточно испытывал тогда волнение, называемое чувством *единения с народом*.

Потом я входил вместе с другими через широко распахнутые ворота на территорию стройки, шел к раздевалке своей бригады, где уже копошились рабочие, переодеваясь, разбирая испачканные в растворе спецовки и комбинезоны. Начинал переодеваться и я, торопясь и вздрагивая от холода, и тут уж покидало меня торжественное чувство единения с народом, испытанное совсем недавно. Густая известковая пыль поднималась над грязной рабочей одеждой, когда ее встряхивали, чтобы надеть. Тяжелый мат, уснащающий всякое реченье, звучал слышнее всего среди будничных утренних разговоров строительных работяг... Мускулист, груб и слишком циничен, даже весело-похабен был этот строительный пролетариат — и уже никакого чувства слияния с ним не оставалось в моей душе.

В сущности, мои смутные первые вдохновения по тому поводу, что я ощущаю себя частью великого трудового народа, как раз явились выражением чего-то совершенно противоположного. И на работе, и в общежитии строителей в Кокошкине я как был с самого начала одинокой, отчужденной фигурой, так и оставался ею до конца пребывания там. В комплексной бригаде Бешменёва, куда меня определили, были высокоразрядные плотники и каменщики, я же ничего не умел делать и плохо управлялся даже с простейшим инструментом — совковой лопатой.

В самый первый день я пришел на работу в своем парадном коричневом костюме, не зная даже, что мне положено получить рабочую одежду. Бригадир Бешменёв, маленький, шустрый, худощавый человек, чем-то похожий на моего отца, только вздохнул, внимательно посмотрев на меня черными татарскими глазами. Он снял со своих плеч и надел на меня брезентовую спецовку, а потом

послал вместе с каменщицей Катей в подвал, где я должен был помогать ей замазывать цементным раствором какие-то дыры в стене.

В дальнейшем бригадир определил меня подручным плотника к дяде Феде, пожилому добрейшему пьянице, который, показалось мне, почти не умел разговаривать. Вместо этого он что-то невразумительно мычал, хрипел, кашлял и смачно плевался, при этом сопровождая взглядом красных глаз далекий полет своего плевка. Объяснять мне что-нибудь или приказывать он не считал нужным — просто кивал головою и произносил: «Слышь-ка, Кима...» И я должен был сам догадаться, что делать: придержать ли за конец доску, которую он собирался перепилить, или принести бревнышко с другого этажа стройки... Если же я не догадывался, то плотник и без моей помощи преспокойно отпиливал доску.

А однажды, когда понадобился столбик и я слишком долго ходил за ним, потому что по рассеянности, задумавшись о чем-то, протащил его на плече двумя этажами ниже и вынужден был потом возвращаться наверх, дядя Федя успел сам принести откуда-то столбушек и установить его на площадке. Увидев меня, согбенного под грузом, он ничего не выразил на своем красном морщинистом лице, только откашлялся, сплюнул и молвил кротко: «Брось, Кима, слышь-ка... Сядь покури...»

В зимние холода на этажах, в неотделанных еще квартирах, мы с дядей Федей жгли костры, чтобы погреться возле огня. На месте кострищ всегда оставались недогоревшие палки и куски древесного угля — это был превосходный материал для рисования. А серые бетонные стены или гипсовые перегородки, еще не оштукатуренные, оказались замечательными плоскостями для настенных рисунков. И вот в обеденные перерывы, быстренько наведавшись в столовую, я стал сразу же возвращаться на этажи и рисовать. Я сильно стосковался по рисованию, которым не занимался с тех пор, как провалился на экзаменах в художественное училище. Неожиданное и столь необычное возвращение к любимому занятию взволновало меня, и я со страстью принялся мазать черным углем по серым стенам. Рисовать я стал почему-то одни лишь головки прекрасных девушек — и это были недурные рисунки, может быть, что-то в духе женских образов *прерафаэлитов*. Дядя Федя, приходя после обеденного перерыва, молча вылупливал красные глаза на настенный рисунок и ничего не говорил по своему обыкновению, а только отхаркивался и плевался. Но, уважая мое мастерство, наверное, старый плотник посылал плевков не в направлении рисунка, а чуть в сторону от него...

Моя работа заканчивалась на два часа раньше, чем у взрослых рабочих, и, переодевшись в раздевалке, я в одиночестве уходил со стройки и то гулял по Москве, знакомясь с древней русской столицей, то шел в кино, но чаще всего ехал в Библиотеку имени Ленина, брал там в публичном зале всякие интересные книги и читал допоздна.

В те годы это было возможно и вполне доступно — любому желающему, имеющему прописку в Москве, записаться в общий читальный зал. Туда в основном ходили заниматься студенты, но бывали в Ленинке, как я постепенно заметил, и какие-то постоянные читатели разного возраста и причудливого облика. Как оказалось, это был особый разряд московских библиотечных философов, книжников и мудрецов, которые большую часть своей жизни проводили именно в этой библиотеке. Завсегдатаи публичного зала хорошо знали самых выдающихся библиоманов и любили послушать их традиционные философские диспуты. Они происходили, как правило, в курительной комнате перед туалетом, и могли длиться часами...

В Москве-2

Не знаю, когда родилась известная крылатая фраза: «**Москва слезам не верит**», но полагаю, что это произошло все же не в нашем благословенном, быстро разменивающим последние свои годы двадцатом веке. Был создан кинофильм под таким названием, который стал знаменитым и обошел экраны все-

го мира, в этой кинокартине рассказывалось о судьбе московских «лимитчиков» — разумеется, с благополучным концом и с полным торжеством справедливости и человечности.

Моя персональная московская история в чем-то сходна, конечно, с известной киноверсией, однако мне хотелось бы показать то, что в вышеназванную картину не вошло и что дает мне основание сделать вовсе иные выводы, чем в популярном фильме.

Так что «сценарий», который я теперь разрабатываю, можно назвать и по-другому — и опять-таки по крылатому народному выражению: **«Москва бьет с носка»**. О том, в какое время родилась эта фраза, звучащая почти каламбуром, я тоже не берусь судить, хотя мне что-то подсказывает, что это все же старинное выражение... И если в первой поговорке есть «слеза» и звучит некая обидчивая чувствительность, то во второй явно прослушивается торжествующая констатация предельной жесткости столичных нравов, когда «бьют» ногой всякого, кто падет в жизненной борьбе.

Расскажу о том, как впервые в Москве я начал постигать на собственном опыте главный конфликт человека и окружающего мира в нашем веке — а может быть, и во всех веках этой второй истории человечества (первая была, говорят, до Ноева потопа) — давление мира на человеческую отдельность, отчуждение личности, полное безразличие к ней со стороны тотальных структур, их бездушие по отношению к отдельному человеку...

Москва всегда предоставляла и предоставляет до сих пор прекрасные возможности для познания и усвоения на практике темной науки человеческого отчуждения.

Москва — очень жесткий, тяжелый для души город. Но коренной москвич гордится своим происхождением, и в характере московского жителя есть некое чувство превосходства над всеми остальными людьми на свете. Возможно, подобное самомнение свойственно вообще жителям всех мировых столиц, колоссальных супергородов, где скапливается огромное количество людей, которые больше потребляют, чем производят жизненных благ, и, чтобы жить так, надо создать некие особенные системы общественного существования. Москва и создавала и постоянно совершенствовала подобные системы, а москвичи быстрее других приспосабливались к ним — это и давало пищу для их самоуверенности и чувства собственного превосходства.

Москва — это не только столица бывшей советской империи и нынешней Российской Федерации, Москва — это отдельное государство в государстве. И москвичи — особенный народ, искусственная нация, подобная американской, состоящей из сотен различных по крови и цвету кожи национальностей. Однако, подобно тому, как американцы восточной части отличаются от жителей американского Запада, а жители Севера — от аборигенов Юга, в московском народе тоже наличествуют весьма различные ментальные течения.

Только разделяются они здесь не фактором географии, *по горизонтали*, но прежде всего принадлежностью к тем или иным уровням социального бытования — *по вертикали*. А вертикаль эта определяет принадлежность каждого к своему уровню уже по фактору *потребления*.

В московской нации, к примеру, было самое большое количество генералов, адмиралов, маршалов — ни в одном народе мира не имелось такого высокого процента генералов на душу населения. То же самое можно сказать и о высших иерархиях науки и культуры. Нигде в мире не было такой многочисленной касты академиков, получивших высшие пожизненные привилегии и пайки, и высокопоставленных писателей, лауреатов главных государственных премий, как в столице. Генеральские и писательские дачи, дачи академиков — с гектарными участками огражденного высокими заборами леса — окружали самые живописные подступы к столице.

Но среди людей московской национальности наивысшее положение занимали все же не генералы, не академики, не лауреаты Ленинской и Государственной премий, а социальный слой, носивший в народе довольно неудобовыговариваемое название: цэкашники. Этот слой московской нации существовал

в самоизоляции от остального народа — они имели свои территории для проживания и деятельности, свой ареал для получения пропитания, всегда закрытый для доступа тех, кто не из системы ЦК. И распределители земных благ для цэкашников были расположены в самых таинственных местах.

К этому скрытому потоку распределения благ и средств потребления примыкали и мощные колонны высших государственных чиновников Совмина и всяческих министерств, главков, управлений, то есть главных всесоюзных ведомств по отраслям. И так далее, и тому подобное... Невозможно досконально изучить и перечислить все существовавшие легально и другие, засекреченные, системы социального обеспечения московского народа в его высших элитных и полуэлитных структурах. Но, что бы там ни было, простой люд Москвы многое видел, чувствовал, о многом догадывался, и каждый на своем уровне старался как-нибудь повысить свой уровень в существующей системе государственного распределения материальных благ.

Если невозможно было пристроиться к выгодным структурам или были недостаточными, по мнению субъекта этой структуры, получаемые им блага, он мог брать их самовольно, то есть воровать. Где и кто только не воровал в Москве и по всей стране! Но это не называлось воровством. Появилось знаменитое слово «несун», которое по своему тончайшему стилистическому значению не имело ничего общего с понятиями кражи, воровства. Несун выносил за ворота фабрики, завода, любого другого государственного предприятия все то, что ему было нужно, не чувствуя при этом никаких угрызений совести. Несун считал, что он берет у государства, которому принадлежит завод или фабрика, небольшую часть того, что оно задолжало ему, недоплатив за его работу. И здесь соображение, хорошо ли ты работал или плохо, не имело значения. Несун видел в своей повседневной жизни огромное число сограждан, которые ловко пристроились где-нибудь «наверху», работали ничуть не больше его, а получали благ от государства и потребляли в тысячу раз больше.

Чего только не несли! Колбасу, мясо, печенку, окорока — с мясокомбината. Масло, изюм, сахар, муку, яйца — из пекарни. Краски, олифу, алебастр, гвозди, паклю, клей, цемент, доски — со стройки. Белье, пуговицы, нитки, иголки, наперстки, куски тканей — из ателье и со швейных фабрик. Медь, алюминий, бронзу, вольфрам, никель и другие редкие металлы и изделия из них — с заводов. Радиодетали, детали телевизоров, запчасти автомобилей, бензин и солярку, масла смазочные, лаки, ацетон... Картошку, капусту, морковь, огурцы и всякие другие овощи... Шоколад, кофе, конфеты, лекарства, пластинки, часовые механизмы, канцелярские скрепки, школьные тетради, книги, боевые пистолеты, боеприпасы, солдатские сапоги... Всего не перечислить: все, *из чего* производилось и *что* производилось на государственных предприятиях, что лежало на складах и в хранилищах, выносилось за ворота несунами.

В государстве создался грандиозный заговор воровства, воровали на всех уровнях — сверху и донизу. Наверху «несли» роскошные квартиры, автомобили, дачи и дачные участки, строительные материалы для них, высшее образование для своих детей, валютные лицензии на сафари в африканских странах. Курорты, лечение в сказочно оборудованных больницах... И для всего этого надо было создавать и всемерно укреплять хорошо налаженную систему тотального воровства. И самая лучшая, ни с чем не шедшая в сравнение система была создана в Москве. Здесь всем захребетникам и бюрократам было так удобно и столь хорошо, что можно было сказать — для них-то уже создано идеальное общество. Вот уж действительно получилось по Гоголю: мошенник сидел на мошеннике и погонял мошенником!

Осознание этой реальной действительности произошло с годами, постепенно. А в те годы, когда я только появился в Москве и начал свою самостоятельную жизнь, я еще ничего не понимал, тыкался носом в разные темные углы, набивал себе шишки и болезненно переживал по разным поводам, не имея лично ко мне никакого отношения или же являвшимся результатом всеобщего неблагополучия. То есть начались мои первые столкновения с реально существующей системой нашего советского бытия.

Однажды на работе произошел такой случай. В субботу, когда у всех был укороченный рабочий день и я заканчивал вместе с остальными, сменный мастер Вера к самому завершению смены приказала мне выбросить в снег полную бадью свежего цементного раствора. Дело было в том, что заказанный раствор привезли поздно, незадолго до конца работы, и поэтому его не успели использовать. Оставлять же разведенный цемент на выходной день было нельзя, ибо он застыл бы и превратился в окаменевшую глыбу. Вот и повелела мне мастер Вера освободить огромную бадью и выбросить в снежный сугроб, наметанный во дворе стройки недавним бураном, почти два самосвала отличного бетонного раствора... Когда я отказался это приказание выполнить, как же презрительно смотрела на меня покрасневшая, сердитая, пухлая, некрасивая наша «мастерица», сама чуть постарше меня, и с каким недоумением взирали на меня мои коллеги из бригады!

Я еще не понимал того, что понимали они. Выбрасывать в снег *добро* нельзя было, разумеется, но выбросить *государственное* добро можно. Я еще был слишком молод и неопытен в жизни, чтобы осознавать свое положение как положение раба государства. Оно было полным хозяином над каждым рабочим-рабом, а раб, как известно, не бережет имущества своего хозяина. Если рабу ничто не грозит, то он даже потихоньку портит, уничтожает — или ворует — добро хозяина.

Нет, во мне еще слишком много было внутренней свободы, чистоты и природной честности по отношению к жизни. Мне было совестно делать заведомо нехорошее дело. В дальнейшем не раз возникнут ситуации, когда жизнь будет заставлять меня делать не по совести. И, может быть, не всегда мне удавалось вовремя разобраться, устоять и не оступиться. Но, что бы то ни было, ненависть и отвращение к бессовестному существованию и презрение ко всему, что заставляет человека поступать не так, как подсказывает ему изначальная совесть, стали во мне вполне осознанными основными позициями нравственности. Точно так же, как и у очень многих моих современников в нашей стране... Поэтому они и не поддержали режим, систему лжи, когда она зашаталась и рухнула.

На первых шагах в Москве я, маленький, легко краснеющий корейский паренек с Сахалина, дитя природы и любитель читать книги, не мог ничего понять в тех странных картинах трудной и некрасивой жизни, в которую я был брошен невидимой решительной рукой судьбы. Я лишь грустил иногда и думал, что мне просто не повезло и поэтому я попал не на тот участок жизни, где все хорошо, правильно, интересно, а на худший, где все так некрасиво, грубо и примитивно.

Я уже рассказывал, как рисовал угольными палочками на еще не оштукатуренных стенах будущих квартир женские головки, идеализированные и романтизированные образы в духе прерафаэлитов... И вот однажды перед началом рабочей смены мастер Вера, непонятно улыбаясь и отводя в сторону глаза, велела мне идти в контору строительного участка: вызывает, мол, сам начальник. Я был удивлен. Мне никогда еще не приходилось встречаться с ним и разговаривать. Это был еще нестарый человек, лысеющий блондин, высокого роста, в костюме и при галстукке. Точно так же, как и мастер Вера, отводя и пряча глаза, начальник спросил у меня: не я ли разрисовал стены? Потупившись, чувствуя, что отчего-то краснею, ответил, что да, это я рисовал... И тогда уже строго, почти сердито, начальник приказал: «Все это безобразие немедленно стереть! И больше чтобы этого не было. Понятно?»

Ничего не понимая, я отправился в корпус и по пути размышлял: может быть, начальнику не понравились рисунки или по каким-то инструкциям на стенах стройки запрещено рисовать?.. Но, когда я пришел в корпус, мне все стало ясно.

Каждый мой настенный рисунок был старательно продолжен кем-то. И этот «соавтор» работал в стиле примитивизма, но того самого, который прочно утвердился на стенах общественных сортиров. К хорошему головкам моих «прерафаэлиток» были пририсованы тем же черным углем похабные и

уродливые женские тела. Свесив совершенно чудовищные сиськи и растопырив хилые рахитичные ножки, эти сортирные мадонны — особенно жуткие в своей порнографической выразительности из-за того, что лица у них были прекрасными, — демонстрировали свои утрированные, как на африканских скульптурах, мрачные половые органы. Таким образом мои старательные рисунки были изнасилованы и убиты, и тот злодей, чья рука поднялась на подобное дело, был скрыт в массе невидимого люда, имя которому — легион.

В общежитии строительных рабочих, где я прожил год, красоты тоже было маловато. Там вечерами после работы, в выходные дни или по праздникам мужики напивались, и тогда вспыхивали яростные, буйные драки... Помню самый первый день своего появления в общежитии. Я вселился в комнату о четырех койках уже к вечеру, там никого не было, люди еще не вернулись с работы, и подавленный какой-то смутной тоской, я улегся на свою койку в темноте раннего осеннего вечера, даже не зажигая электрического света. Вдруг за дверью в коридоре раздалась какие-то свирепые мужские голоса, топот ног, звуки тяжелой возни — дверь с треском распахнулась, и в комнату пал, спиной и затылком на пол, какой-то голый по пояс человек. Удар его тела о доски пола был столь полновесным и тяжким, что он, оглушенный, полежал несколько секунд на спине, едва ворочаясь. Но довольно быстро ожил, с внезапной резвостью вскочил на ноги и, грозно рыча, словно медведь, вновь выметнулся назад в коридор. Тогда я поднялся с койки и, прошлепав босыми ногами до двери, прикрыл ее и запер изнутри на защелку.

Вечерами холостая молодежь общежития порой устраивала танцы под радиолу, и это происходило зимою в обшарпанном вестибюле на первом этаже, а летом во дворе, на асфальтированном пяточке. Парни и девушки танцевали парами, обнявшись. Я тоже иногда танцевал, осмелившись пригласить какую-нибудь пахнущую дешевым одеколоном партнершу, но чаще всего стоял где-нибудь в сторонке и любовался издали.

Очень во многом наша жизнь общежитская была натуральной, как у диких племен, без особых правил морали. Но тогда получить возможность и для такого малоцивилизованного существования было, оказывается, не очень-то просто. Когда я прожил таким образом почти месяц, выяснилось, что местная милиция отказала мне в прописке. Я был принят на работу по протекции отца моей учительницы, меня устраивал в общежитие сам заместитель начальника треста Мотов, которому я лично передал рекомендательное письмо... Но я шел одиночкой, а не по линии организованного набора рабочей силы, и милиция сочла невозможным дать мне временную прописку. Я вновь поехал к Мотову, и он, седовато-серый, как матерый волк, чиновник с лысиною, сказал мне, потирая, по своему обыкновению, утомленные глаза рукою, что со своей стороны сделал все, о чем просил N.N. (отец моей учительницы), а в отношении милиции и прописки в паспорте он ничем помочь не может. И Мотов посоветовал мне обратиться в Главный паспортный стол Московской области.

В Москве-3

Мотов был среднего ранга бюрократ от строительной организации, он послал меня к более крупному бюрократу от областной милиции. Каково же было удивление, откровенно читавшееся на его сытом, чисто выбритом лице, когда я, отсидев много часов в приемной начальника областной милиции, попал к нему на прием. Мой вопрос был настолько мелким для него, что он даже вначале ничего не мог понять. Начальник не мог поверить своим ушам, слушая мое сбивчивое от волнения объяснение, потому и, наверное, какое-то время смотрел на меня с любопытством и даже с добродушным сочувствием в глазах. Но через минуту эти глаза перестали видеть меня и начальник велел мне обратиться непосредственно в Московский областной паспортный стол по адресу такому-то.

Я и направился по этому адресу и попал в учреждение, где в тревожном ожидании томились сотни людей. Поосмотревшись и потолкавшись среди них,

я узнал, что надо записаться в общую очередь, которая постепенно продвинет меня к заветным дверям канцелярии в другом зале, поменьше, куда пропускал дежурный милиционер. Номер моей очереди был 194, и я приезжал в присутствие и просиживал с утра до вечера два дня. За это время мне довелось услышать много житейских историй о прописке граждан в Москве и Московской области.

Передо мною в очереди находился пожилой мужчина, № 193, который несколько лет проработал где-то на Крайнем Севере, а теперь вернулся и не мог прописаться в свой собственный дом. За мной непосредственно была женщина с золотыми зубами, № 195, суть проблемы которой заключалась в том, что она выписалась из своей квартиры, на время прописалась в квартире матери, которую хватил удар и за которой надо было постоянно ухаживать. И вот мать поправилась, дочь вернулась на свою квартиру, но ее назад уже не прописывали.

По сравнению с этими ситуациями моя собственная показалась мне весьма несерьезной. Эти люди имели свое жилье, один — собственный дом, другая — квартиру, а я ничего такого не имел и хотел лишь получить временную прописку на год в казенном общежитии. И вроде мне незачем было особенно волноваться — я уже имел работу, имел *койко-место*, и дело было в каком-то досадном недоразумении, которое скоро выяснится.

И вот настал решительный день, наша очередь подошла к самым дверям канцелярии, и человек десять сразу было пропущено в следующий зал. Там нас разделили на несколько потоков — к разным чиновникам, — и вскоре я прошел в распахнувшуюся высокую дверь и предстал перед столом вершителя своей судьбы.

Им оказался какой-то маленький, незаметный человечек, который молча показал на стул, даже и не взглянув на меня. Затем он взял из стопки бумаг, лежащей перед ним на столе, один бланк, склонился над ним в унылой позе и принялся заполнять его, коротко спрашивая мое имя, фамилию, год рождения, место работы... Вопросов больше не последовало, и я, несколько удивленный этим, стал сам взволнованно и обстоятельно излагать ему суть своего дела. Но, даже не дослушав до конца, сей малый как-то злобно, судорожно зевнул и, все так же не глядя в мою сторону, прервал меня на полуслове: велел выйти в зал и там подождать... И когда я выходил, навстречу мне уже спешил следующий проситель.

В небольшом вестибюле канцелярии столпились люди, уже побывавшие, как и я, у «своих» чиновников, и в толпе я увидел и ближайших соседей по очереди: № 193, № 195. Я подошел, растерянный и обескураженный, чтобы поделиться с ними своими впечатлениями. Но на их лицах я увидел точно такую же растерянность и ту мрачную, безнадежную подавленность, которую ощущал и я в душе.

Мне вдруг не захотелось говорить ни с ними, ни с кем бы то ни было. Я мгновенно был захвачен тем проклятым чувством беспредельного межчеловеческого отчуждения, которое столь хорошо стало известно людям XX века.

Мы это чувство познавали, находясь во всякой безрадостной толпе, среди ближних своих, охваченных безнадежностью перед лицом беды, которая грозит всем, всем без исключения. Всяческие тоталитарные системы, возникшие в нашем XX веке, абсолютно подавляли человеческую особь, порождая в ней чувство бескрайнего отчуждения от другой особи.

Это чувство не может быть объяснено известным с древних времен положением: **человек человеку — волк**. Потому что, видя в другом человеке зверя, мы полагаем в нем все же другое живое существо. Абсолютное чувство отчуждения родилось у людей нашего века при подавлении их тоталитарностью. И оно может быть пояснимо другой формулой: **человек человеку — ничто**.

Когда человек оказывается перед организованными силами зла, которые для него абсолютно неодолимы, он вдруг чувствует, что он ничто. И ближний для него — тоже ничто. Тоталитарная угроза делает людей, попавших во всеобщую беду, существами абсолютно отчужденными друг от друга.

Немецкий писатель Франц Кафка рассказал об этом отчуждении — отчуждении человека в мире бюрократического тоталитаризма, — создав в своих книгах фантастический мир кошмаров. Через немецкий фашизм, создавший этот мир в реальности, мы узнали об абсолютном отчуждении людей, стоящих в очередях перед газовыми камерами. Вся мировая история, рассказывающая о тотальном подавлении или массовых уничтожениях людей, преподносит, в сущности, эту дьявольскую науку об абсолютном отчуждении человека от человека.

Мы в Союзе прошли через эту науку в одном из самых зловещих ее выражений. Тоталитаризм советский был самым могучим. Бюрократия наша была самой процветающей — она и по сей день остается такой.

И великой, всеобщей отчужденностью объясняется сегодняшняя политическая апатия народов России. Мы больны отчуждением — и настолько серьезно, что позволяем правящему классу делать с нами все, что ему заблагорассудится. Мы равнодушно смотрим на то, как он раздирает на части, разрушает и разворовывает государство. Мы не ходим на выборы, потому что нам абсолютно все равно, какие проходимцы и лжецы будут править нами и грабить нас. Сосредоточенный лишь на себе, каждый печется только о своем спасении — ближний нас не интересуется...

Наконец высокие двери почти одновременно раскрылись, и появились чиновные мужи, неся пачки бумаг. Мы кинулись к ним — каждый к «своему» — и вскоре держали в руках по совершенно одинаковому официальному *бланку отказа!* То есть пока я, попав в канцелярию, горячо излагал перед малосеньким чинушей суть своего дела, он, не слушая меня, заполнял уже заранее приготовленную форму отказа. И эту заполненную бумагу вместе с другими точно такого же содержания чиновник потом носил куда-то в неведомый кабинет какому-то вышестоящему начальству на подпись. Так сработали и другие канцелярские ребята. И все просители, которые ждали в приемной, получили заполненные и подписанные совершенно одинаковые отказы — № 193, домовладелец, и я, и № 195 — женщина с золотыми зубами.

Не знаю, что они стали предпринимать дальше, но я снова кинулся к своему покровителю Мотову. Тот долго тер — то одной ладонью, то другой — свои утомленные начальнические глаза, потом посмотрел на меня и довольно раздраженно молвил:

— Послушай, чего ты от меня хочешь? Я тебе работу дал? Дал. В общежитие устроил? Устроил... А пропуску я дать не могу! — закричал он. — Пропуску не я даю, понимаешь ли... И чего ты снова пришел ко мне?

Лицо у него покраснело, он привскочил с кресла и даже пристукнул кулаком по столу. Я совершенно смешался и почувствовал, что тоже краснею. Мне было стыдно, что обо мне думают, как о каком-то попрошайке.

— Не знаю, что мне делать, — тихо пробормотал я.

— И я не знаю! — развел руками Мотов.

С тем я и ушел, и больше к нему не ходил. И вообще никогда больше не встречал его. Но всяких мотовых за свою жизнь повидал много. Это люди начальственного ранга, которые если и делают кому-нибудь добро, то ждут при этом не благодарности, а только одного — чтобы больше их не теребили, оставили в покое и ничего не просили снова. А если это происходит, то мотовы считают просителя наглым вымогателем.

Добро по протекции — предмет разового потребления. И это вовсе не добро, пожалуй, а плата по предъявленному счету. И если уже заплачено по нему, то, спрашивается: какого рожна еще надо?.. Но я тогда не способен был понимать эту рациональную систему взаимных услуг — я готов был принимать добро и даровать его безо всяких расчетов, с провинциальными сердечностью и простодушием...

Как-то раз в эти дни, проходя по одной из улиц, я увидел над подъездом многоэтажного здания огромные рельефные буквы: ЦК ВЛКСМ. И внезапная счастливая мысль пришла мне в голову... Как же я не подумал об этом раньше?

Ведь я же был комсомольцем, как и всякий молодой человек в нашей стране, и куда же мне обратиться за помощью, как не туда! Ведь я оказался действительно в затруднительном положении: денег нет, чтобы возвратиться домой на Сахалин, работать и жить в общежитии без прописки не имею права.

Я вошел в подъезд, на котором была надпись: «Приемная ЦК ВЛКСМ». В приемной тоже была очередь, но не очень большая. И очередь эта оказалась не стоячая, как в областной милиции, а сидячая — притом сидели в глубоких, мягких креслах. Я тоже уселся рядом с тем, кто назвался крайним, — каким-то парнем в очках, с пухлыми белыми щеками, который углубленно вчитывался в газету «Комсомольская правда».

Я приготовился терпеливо ждать, но, к моему удивлению, очередь здесь продвигалась довольно быстро, и мне то и дело приходилось пересаживаться в освобождавшееся кресло, каждый раз ближе к двери кабинета, где и происходил прием посетителей.

В приемную вошел после меня еще один человек. Но что же это была за жалкая фигура! Парень с косматой, нестриженной головой, в плохонькой одежде, с потеками грязи на неумытом лице и, что было уж совсем поразительно, с босыми ногами! А уже стояла осень на дворе, сентябрь месяц! Я удивленно уставился на парня, а он обратился прямо ко мне: «Туточки будэ цека лэкасэмэ?» Я не сразу понял, что бедняга спрашивает про ЦК комсомола... Получив утвердительный ответ, сей лохматый бродяга, переживавший, видимо, довольно крутые времена в своей жизни, плюхнулся в кресло напротив и, заложив ногу на ногу, с тупым выражением на лице принялся чесать свою малинового цвета голую пятку... Ну что ж, подумал я, все верно: и этот малый пришел так же, как и я, за помощью в родной комсомол. А куда ж еще идти нам?

Прием посетителей вела молодая инструкторша, довольно упитанная, с улыбочивым, строгим лицом и хмурыми глазами. Эти глаза как-то сразу обескуражили меня, вмиг погасив мой радостный порыв, и я, поздоровавшись и присев перед инструкторшей на стул, не сразу нашелся, с чего начать разговор. Она же спокойно и не очень приветливо смотрела на меня через широкий стол и молча ждала. И опять я почувствовал, что лицо мое наливается жаром, значит, начинаю краснеть, и я низко опустил голову, словно был в чем-то виноват...

Рассказ свой я все-таки начал, хотя и совсем не так, как хотел. Я мигом понял, что здесь «комсомольское сердце» раскрывать не нужно, надо как можно короче говорить о деле. И я решил изложить самое главное: приехал в Москву учиться, не поступил, устроился на работу с общежитием, но не разрешили прописку, и теперь не знаю, что делать: ехать домой на Сахалин не на что, денег нет, жить без прописки в общежитии не разрешают...

Я еще не довел до конца своего рассказа, как на столе у инструкторши зазвенел один из двух телефонных аппаратов, и она подняла трубку. И вдруг на моих глазах лицо ее вмиг преобразилось! Она назвала какое-то мужское имя, и глаза ее засияли, голос стал мелодичным, глубоким, она даже кокетливо и весело засмеялась. Совершенно позабыв обо мне, она откинулась в кресле, села ко мне боком, удобно положив полную красивую ногу на колено другой, и, как-то очень ласково, чувственно прижимая трубку к уху, повела неслужебный разговор, полный таинственных намеков и интимных неясностей... Это продолжалось довольно долго, и я терпеливо ждал, чтобы завершить свой рассказ.

Не отрываясь от телефона, инструкторша, преобразившаяся просто в молодую гулькающую, как голубь, кокетливую бабенку, достала листок бумаги и стала на нем что-то писать. Закончив наконец разговор, она положила трубку и тут же протянула мне через стол испсанную бумажку.

— Вот, — сказала она, вернув на лицо прежнюю ведомственную хмуроватость, — поедешь по этому адресу, тебе там все сделают.

— Что сделают? — растерялся я. — Мне ведь надо работать, чтобы заработать хотя бы на дорогу. А прописку не разрешают...

Инструкторша решительно перебила меня, не дослушав:

— Я ведь сказала, что тебе все сделают? Вот и поезжай скорее туда.

Я поехал по данному мне адресу и довольно долго искал это место: Даниловский вал... Наконец я оказался перед сооружением, которое напонило мое московский Кремль. Длинные кирпичные стены с зубцами наверху, остроко- нечные башни по углам... Это был не дом, а целая крепость — Даниловский мо- настырь. Не сразу я нашел вход в то заведение, куда меня отправили. Этим вхо- дом оказалась малозаметная, но мощная дверь в крепостной стене — окован- ная железными полосами, она вела куда-то вниз, в подвальное помещение.

Тихо, безлюдно было на улице перед таинственной дверью. Но, когда я во- шел, шквал крикливых голосов, как на базаре или на вокзале, обрушился на меня. Огромное, длинное подземелье было набито людьми. С одного конца по- мещение было выгорожено железными тюремными решетками. Перед ними и теснилась шумная толпа, почти вся состоящая из женщин. Они были возбужде- ны, многие навзрыд плакали.

Я ничего не мог понять... Вдруг из толпы выбежала какая-то седая, худая, растрепанная женщина, упала на каменный пол и начала биться об него голо- вой. Глаза у нее закатились, в углах рта показалась пена... Следом подошла дру- гая женщина, тоже худая и седая, но желто-окрашенная, как поблекшая мимо- за,— в милицейском мундире и фуражке. Остановившись над той, которая упа- ла и билась на полу, милицейская женщина стала кричать, что та притворяется и хочет обмануть... Ответные крики из толпы заглушили ее голос.

Содом и Гоморра! Сумасшедший дом! Куда я попал?

И тут я заметил в толпе того самого лохматого босняка, с которым вместе был в приемной ЦК комсомола. Как к родному, кинулся я к нему. Уже никако- го растерянного, туповатого выражения не осталось на его лице. Наоборот, хлопчик выглядел уверенным, живым, заметно повеселевшим.

От него я и узнал, где мы находимся. Это был, оказывается, знаменитый Даниловский детский приемник, то бишь детская тюрьма, образованная на ме- сте старинного монастыря. Вместо братьев-монахов теперь здесь жили мало- летние преступники и бродяги. Долговязый, косматый брат «Лэкасэмэ» расска- зал мне, что инструкторша и его тоже отослала сюда. Здесь мы должны были добровольно отдаться властям и сесть на некоторое время в тюрьму, а затем нас постепенно, вместе с малолетними преступниками, отправят за казенный счет в наши родные палестины. Называется это, пояснил мне опытный бо- сьяк,— *отправить по этапу*. И все то неопределенное время, пока будут фор- мироваться этапные группы по «нашим» направлениям (мне — на Сахалин, ему — на Харьков), мы будем бесплатно жить в детской тюрьме, нас будут воспитыв- ать, кормить и выдадут казенную обувь и одежду.

Узнав все это, я был крайне возмущен, что толстомясая бюрократка из ЦК направила меня в детскую тюрьму. И, несмотря на блестящие перспективы, которые, по словам брата «Лэкасэмэ», открывались мне, предпочел немед- ленно расстаться и с ним, и с подземным двором Даниловской детской тюрьмы.

В Москве-4

Задетый за живое, я снова вернулся в Приемную ЦК комсомола. Уже был конец рабочего дня, никакого народу там не было, и давешняя инструкторша собиралась покинуть кабинет в ту минуту, как я дерзко ворвался туда, не посчи- тав нужным даже постучаться в дверь. Когда я путано, заикаясь, стал выражать свое возмущение по поводу столь бездушного и коварного ее решения, она ис- кренне удивилась:

— А чего же ты хотел?

— Хотел, чтобы вы помогли,— ответил я дрожащим, противным даже са- мому, тихим голосом.

— Как?

— Я не знаю...

— Ну и я тоже не знаю! Все. До свидания! — был ответ, женщина спешил- ла уйти с работы.

Итак, ответ бюрократов всех мастей может быть только одним: нет — если дело касается какой-то конкретной помощи человеку. Государственная бюрократия создана не для того, чтобы помогать людям. Бюрократизм создан как система организованной и упорядоченной борьбы государства с частными интересами граждан. По всей своей сущности бюрократизм является антигуманным образованием, и бюрократ человеку не друг, не товарищ, не брат. Результатом усердной деятельности бюрократов всех рангов является только одно: их личное благополучие, сытое кормление всего стада бюрократов, усиление этого класса паразитов до угрожающего для всего общества, для существования самого государства состояния...

Я решил плюнуть на все и, распроставшись с московской жизнью, уехать куда-нибудь на великую стройку коммунизма. В то время по Москве было разбросано множество контор по найму рабочей силы в разные края необъятной страны — вербовочные пункты, где оформлялись договоры, организовывалось переселение, выплачивались деньги на дорогу к местам различных «великихстроек». Я зашел в одну из этих контор.

Там было почему-то подозрительно безлюдно, и только агент по вербовке с унылым видом сидел за столом посреди пустой комнаты. Это был бедновато одетый молодой человек с потасканным, бескровным лицом, с неуверенными, убегающими в сторону глазами алкоголика. Признаться, меня разочаровал и даже несколько насторожил облик этого вербовщика, да и сам вид маленькой ободранной конторы как-то не соответствовал моему представлению о подобных учреждениях... Я ведь решил завербоваться на одну из самых грандиозныхстроек — на Сталинградскую ГЭС. Всесоюзная реклама о строительстве гидроэлектростанции на Волге была велика, еще в школе я читал и слышал о ней.

Но агент быстро рассеял мои сомнения. Когда он узнал, чего я хочу, то живо достал бланк договора и в минуту заполнил его. Затем показал, где надо подписаться, и потребовал, чтобы я сдал ему паспорт. Но паспорта у меня с собой не было — документ оставался у коменданта общежития, где я жил. Несколько разочарованный, агент посоветовал скорее принести паспорт, и тогда, сказал он, мне будет вручен железнодорожный билет до Сталинграда и выплачены суточные.

— А паспорт,— спросил я,— зачем сдавать?

— Чтобы,— ответил мне агент,— ты не сбежал с деньгами и с билетом.

— Договор же подписан! — напомнил я ему.

— Мало ли что подписан! — ответил он и широко зевнул, дохнув на меня густым смрадным перегаром и какими-то кислыми, скверными закусками.— Договор — филькина грамота. А паспорт будет понадежней. Без паспорта не сбежишь — ты его получишь по месту прибытия...

Я объявил на работе, что меня не прописывают в общежитие и поэтому я должен уволиться. В конторе управления ни на кого это известие не произвело особенного впечатления. Маленькая плотненькая женщина, кадровичка, выдала мне «бегунок», обходной лист, чтобы я обошел ряд кабинетов, материальный и инструментальный склад, общежитие и всюду от начальства получил соответствующие подписи. После этого меня и должны были рассчитать.

Когда я сдал подписанный «бегунок» в бухгалтерию, меня послали в кассу получить расчет... Все. Это был конец моей недолгой работы в строительном управлении. Стало даже как-то грустновато... В этот день как раз выдавали получку, и перед крошечным окошечком кассы выстроилась очередь. Я встал в нее и стал медленно продвигаться вперед. Паспорт был со мной, и я в тот же день хотел пойти в вербовочную контору, сдать его и получить железнодорожный билет до Сталинграда.

И тут возле очереди оказалась полненькая тетка-кадровичка, подошла прямо ко мне и спросила, получил ли я деньги за расчет.

— Нет еще,— ответил я.

— И не получай,— сказала она.

— Почему? — удивился я.

— Тебе разрешили пропуску.

Лидия Петровна, комендант общежития, оказывается, все сделала потихоньку. Прямая, сухощавая, с длинным бледным лицом в веснушках, с глубоко сидящими неулыбчивыми глазами, эта женщина никогда особенно ни о чем меня не расспрашивала, ничего я у нее не просил, и ничего мне она не обещала. Когда я забирал у нее паспорт, не помню, сказала ли она мне что-нибудь... Но именно она сделала то единственное, что мне помогло. Лидия Петровна вписала меня в лист с именами людей, которые прибыли по организованному набору и которым автоматически полагалось разрешение на прописку. Эту бумагу она носила в милицию и получила от начальника паспортного стола подпись — стало быть, я вместе с другими строителями, приехавшими в общежитие, получал право жить и работать в Московской области... И это случилось как раз в тот последний день, когда я должен был получить расчет и сдать паспорт агенту вербовочной конторы.

Словом, узнав о том, что прописка мне разрешена, я и не подумал спешить в контору к тоскливому агенту, а мысленно послал его куда подальше — вместе с его унылой физиономией и с его договором, «филькиной грамотой».

Сталинградская ГЭС... Несколько лет спустя, когда я попал в армию и служил в конвойных войсках, то от разных заключенных, которых мне приходилось сторожить, я узнал, что это была за «великая стройка». В основном гигантскую плотину возводили силами заключенных, согнанных из множества лагерей. Вся стройка, в сущности, представляла собою одну громадную зону с периметром в 20 километров, оцепленную колючей проволокой. Внутри этой зоны работали вместе и уголовники, и «вольняшки» — вольнонаемные рабочие. Большое рассеяние людей по громадной территории не позволяло органам охраны в достаточной мере контролировать режим содержания и поведения заключенных, они часто смешивались с вольнонаемными во время дневных и ночных смен. И было много несчастных случаев, когда уголовники терроризировали, насиловали и растлевали «вольняшек» — в особенности молодежь, девушек и парней, вчерашних школьниц и школьников, отправившихся по призыву комсомола на эту великую стройку коммунизма.

Бог избавил меня от этой опасности. Я остался на работе и продолжал жить в своем общежитии. В семнадцать-восемнадцать лет была в душе надежда, было жадное внимание к людям, были новые встречи и знакомства — не все оказывалось таким печальным, как представляется мне теперь, когда я оглядываюсь на свою прошлую жизнь.

Учеба

Благополучно отработав на московских стройках почти год, следующим летом я взял отпуск за свой счет, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в университет. Я решил подавать заявление в МГУ на исторический, как советовал мне в письмах отец. В июне мне исполнилось 18 лет, и свое совершеннолетие я встретил с сознанием того, что принял вполне правильное и трезвое решение насчет своего будущего. Оно рисовалось мне в ясных красках обыденности: получение высшего образования, затем работа в школе или в каком-нибудь государственном учреждении.

Тогда, весной, я часто после работы ходил гулять на Ленинские горы, к университету, благо он находился неподалеку от места моей работы. Со строительной площадки многоэтажного дома, где я работал, хорошо был виден величественный серый небоскреб МГУ, и я часто заглядывался на него.

Неторопливо гуляя возле университета, видел я за высокими железными оградками играющих в волейбол или в теннис студентов. Они были в ярких, нарядных спортивных костюмах, эти веселые девушки и парни, они были прекрасны и счастливы. А я шел мимо них в кирзовых сапогах, в которых обычно ездил на работу, и горячно мечтал о том, что когда-нибудь и я, может быть, окажусь среди них...

Словом, в июле я взял отпуск за свой счет, купил учебники и стал самым серьезным образом готовиться в университет. Рисование свое я давно забросил, стихи больше не писал.

Неудача на прошлогодних экзаменах и то отчаяние и стыд, что испытал я при этом, открыли мне некую опасность, которая всегда таится для тех, кто устремляется в искусство. Это опасность впустую потратить жизнь. Можно создать много картин и написать много стихов и поэм — и вдруг однажды выявится, что все это ничто, ничего не стоит, пустота. Или того хуже — станут смеяться над тобой и откровенно выражать презрение.

Однажды в общежитии женщина, убиравшая в нашей комнате, увидела в тумбочке мою черную тетрадь со стихами, сунула туда свой нос, а потом и унесла ее, не подумав даже испросить у меня разрешения. Уборщицу звали Адой, это была толстененькая, маленькая женщина, форменная бочка, но розовенькая, со свежей гладкой кожей, словно у младенца. Она была женой моего приятеля Славы, у них было двое детей... Ада вынесла тетрадь на общую кухню и там всенародно зачитала мои стихи о любви к некоей таинственной М. Т. — под веселый хохот растрепанных крикливых баб. Когда я выхватил у нее тетрадь и стал стыдить, она вполне искренне возмутилась: «Подумаешь, поэт какой нашелся! Такую чепуху написал. Еще и обижается!» И это был мой самый первый критик в жизни.

Может быть, именно после этой критики во мне родились глубокий страх и неуверенность за свои стихи — я так и не решился издать ни одной книжки стихов, хотя и мог бы это сделать, когда впоследствии стал членом Союза писателей и довольно известным прозаиком. Так и лежат мои поэтические сочинения где-то среди бумаг и старых рукописей, и я не знаю, что с ними делать...

Нет, нормальный человек не должен стремиться к тому, чтобы специально заниматься художественным творчеством, делать из этого профессию. Это должен делать лишь тот, кто иначе не может. Если внутри человека то, что гораздо сильнее его воли и разума, заставит писать книги и картины — что ж, тогда и твори, художник, тогда и рискуй, подвергайся опасности прожить жизнь, похожую на странный сон.

Все это в смутной форме, но достаточно ощутимо приоткрылось мне еще тогда, на пороге совершеннолетия, и я решил не заниматься искусством, а пойти по жизни проторенной дорогой. Я хотел выучиться и стать учителем, как мой отец, и это было мне вполне по силам.

Может быть, это и было самым правильным решением в моей жизни и я сейчас смиренно преподавал бы где-нибудь в провинциальной школе, дожидаясь скорого выхода на пенсию, увлекся бы рыбной ловлей на удочку, научился играть на мандолине или нашел бы какое-нибудь другое невинное занятие...

Но однажды я зачем-то вытащил из-под койки свой фанерный этюдник, весь покрытый пылью, открыл его и достал оттуда палитру. Она была в ярких пятнах засохшей масляной краски. Я поднес к самому лицу дощечку палитры и, закрыв глаза, вдохнул в себя ее запах. Я заплакал, а потом и рассмеялся. В комнате никого, кроме меня, не было. Я стал расхаживать взад-вперед, прижимая к груди корявую от присохшей краски палитру и говоря вслух: «На кой мне нужна история? К черту эту историю!» И, весело улыбаясь, я кому-то прощально помахал рукой...

С этого дня я снова начал готовиться к поступлению в художественное училище. Наш трест имел хороший Дом культуры в самом центре Москвы, что располагался в сером двухэтажном особняке на Волхонке, точно напротив Музея изобразительных искусств имени Пушкина. В этом ДК имелись всякие кружки и секции, в том числе и студия изобразительного искусства, куда я стал ежедневно ездить рисовать.

К тому времени, в июне-июле, кружки и студии прервали свои занятия в связи с летними отпусками. Я приезжал и работал в мастерской один, с утра до вечера — не разгибая спины, рисовал с натуры гипсовые шары, кубы и пирамиды, писал натюрморты. Иногда приходил поработать еще один человек, некто Сергей, большеголовый, маленький, приземистый мужичок, строительный

прораб, который занимался в студии уже давно, несколько лет, а в этом году вдруг решил поступать в художественное училище — в то же, куда поступал и я. Картины этого Сергея постоянно вывешивались на всех выставках изостудии ДК, здесь он уже давно ходил в корифеях. Но к тридцати пяти годам (пределный возраст для поступления в художественное училище) прораб вдруг решил переучиваться и снова стать студентом.

Тогда, на мой взгляд, Сергей уже столь хорошо рисовал и писал масляными красками, что ему незачем было и готовиться к экзаменам, да он и сам понимал это и посему в студии появлялся редко. Кудрявый, с головою, как говорится, с пивной котел, пучеглазый и ширококоротый, он удивительно был похож на морскую рыбу-бычка, но, несмотря на такую его «красоту», это был добрейший и симпатичный человек. Однажды после совместных занятий мы вместе с ним пошли до метро, и там, в длинном подземном переходе, я чуть было не свалился в голодном обмороке — Сергей подхватил меня под руку, когда я пошатнулся и, придерживаясь за мраморную стену, стал оседать... Узнав о том, что я уже давно ничего не ел и скрывал это, он начал меня ругать, обозвал мальчишкой и тут же повез к себе домой. Там он накормил меня тем, что у него было под рукой, оставил ночевать и впоследствии еще долго подкармливал.

Дело было в том, что я ушел в отпуск за свой счет и денег получил совсем немного, их не хватило бы надолго для самой скромной жизни. Но с беспечностью молодости я совершенно не беспокоился об этом и жил впроголодь, не думая о завтрашнем дне. И вот настал день, когда финансов осталось только на проезд до Москвы. Можно было бы попросить перевод из дома, родители тотчас бы прислали, но я чувствовал себя виноватым перед ними, потому что раньше в письме я им сообщил, что буду готовиться к поступлению в университет, а потом внезапно переменял решение... Я совсем не был уверен, что и на этот раз смогу поступить в художественное училище. И тратить зря родительские деньги мне было бы стыдно.

В то жаркое московское лето у меня голова кружилась не только от недоедания. В Москве тогда проходил Всемирный фестиваль демократической молодежи и студентов. Со всех концов Земли съехались в огромный город, в наш закрытый доселе мир, веселые представители самых диковинных народов. Душные улицы Москвы, ее широкие площади заполнились красочными манифестациями, танцующими и поющими толпами. Черные, коричневые, темноволосяные, смуглые люди Юга смешивались — в блеске и сиянии белозубых улыбок — с желтоволосыми, бледнолицыми гостями Севера. Звучала самая разнообразная, неслыханная музыка, гремели барабаны, бубны, в ночном небе с треском взрывались огни фейерверков. Впервые к нам, запертым в своем социалистическом лагере, ворвалась задорная молодая вольница мира. И впервые для меня стало ясным, что всеобщая жизнь людей потому интересна, что они разные, совсем не одинаковые, совершенно не похожие друг на друга. И в многообразии причудливых племен нашей планеты — суть праздничности бытия человечества.

Глядя на шествие музыкантов в клетчатых юбках, с волынками под мышкой, с мускулистыми волосатыми ногами или весело хлопая в ритм плясок ярких, как цветы, индийских танцовщиц, я чувствовал, что люблю их и восхищаюсь ими именно за то, что они совсем не такие, как я, — эти удивительные, таинственные существа...

Тем более было странно, печально и как-то очень беспокойно возвращаться в свою обыденную жизнь — после участия в каком-нибудь карнавальном шествии или всеобщего веселого танца в парке. Сместилось в душе представление реального: казалось, что реальность жизни там, на карнавальном площадке, а здесь, в вонючем общежитии, куда я возвращался, некая кошмарная призрачность дурного сна... Поздняя ночь, тускло горит одинокая лампа над входом в общежитие. Перед ним по асфальтированной дорожке ходит взад-вперед, словно заводная кукла, некая темная, толстая фигура. Это наша поселковая сумасшедшая старуха Егоровна, ее откуда-то привезли родственники...

Вступительные экзамены я на этот раз сдал хорошо. По рисунку и по живописи получил довольно высокие оценки, сочинение написал на «отлично», историю сдал также хорошо — и прошел по конкурсу! Но мой друг Сергей, к великому сожалению, не смог пройти именно по живописи. Непонятно было, почему его работу сочли плохой. С этой неудачей Сергей терял надежду поступить в художественное училище — ему уже было тридцать пять лет. (Впоследствии, уже учась в училище, я не прерывал дружбы с ним, ходил к нему подкормиться, оголодав в очередной раз. Сергей, будучи мастером на бетонном заводе, давал мне и подрабатывать — я писал всякие лозунги, производственные плакаты и делал надписи по технике безопасности. В более позднее время я написал рассказ «Душа золота», в котором прототипом героя является он, добрейший Сережа,— фамилии его, увы, я так и не могу вспомнить.)

Надо ли рассказывать, как я был счастлив тогда! Поступить в Московское художественное училище памяти 1905 года было очень нелегко. На экзаменах мне встретились абитуриенты, которые сдавали в прошлом году, как и я, и тоже не прошли. В этом году, увы, опять не всем им посчастливилось поступить. Училище в то время готовило художников-живописцев, педагогов и театральных художников-постановщиков. Я поступил на театральное отделение.

Располагалось училище тогда на старинной улице Сретенке и занимало незаметный древний пятиэтажный дом, справа и слева от которого, вплотную к нему, приросли другие такие же дома, образовав как бы единый жилой массив на весь квартал. Рядом со входом в училище были расположены кассы «Хроники», кинотеатра хроникально-документальных фильмов, а чуть в стороне, на стыке улицы и Сретенского бульвара, находился магазин «Галантерея».

В кинотеатре можно было посмотреть, купив самые дешевые билеты, какие-нибудь научно-популярные фильмы, политическую или спортивную хронику. Я любил ходить туда, большей частью один, и просмотрел много чего интересного: до сих пор помню, что в этом маленьком, душном зале видел я потрясающий фильм об извержении вулканов, фильм-концерт о бразильских музыкантах и танцорах, страшные киноматериалы о немецких концлагерях...

Сретенский бульвар был одним из звеньев малого бульварного кольца, которое опоясывает зеленым поясом центр Москвы. Повыше Сретенского бульвара располагался Чистопрудненский, пониже — Рождественский. Я очень любил гулять по ним. Однажды во время каникул я обошел полный круг. Это заняло целый день прекрасного и незабываемого путешествия.

Неспеша переходил я с одного бульвара на другой, в пути довольно часто останавливался и, сидя на длинной бульварной скамье, делал в альбоме быстрые наброски. О, я любил рисовать на московских бульварах: отдыхающих стариков и старушек, детей с их юными матерями, развеселые молодые парочки, всяких постоянных завсегдатаев бульварных скамеек — заросших бродяг и потрепанных пьянчуг, кайфующих теплым летним днем на лоне городской природы, вдали от своих жизненных неудач. Некоторые из этих рисунков сохранились у меня, и я со светлым ностальгическим чувством рассматриваю их.

Проголодавшись, я закусывал в одном из тех давно исчезнувших бульварных простейших заведений, в которых подавалось только два продукта: пиво да отварные сосиски. И что это были за времена! Кружка пива стоила копейки, а сосиски, хотя и были на вид неказисты, состояли из настоящего мяса и в горячем виде, с горчицей, были бесподобно вкусны — так и прыскали ароматным соком! А хлеб, представьте себе, был в то время бесплатным. То есть бери его и ешь сколько твоей душе угодно. Это и был мой русский хлеб ранних лет — ароматный, душистый и мягкий.

Учеба-2

В годы своей молодости я совершенно не понимал, что такое бедность. Мне и в голову не приходило, что я, в сущности, постоянно веду жизнь бедняка, что студенческие годы, затем служба солдатом в армии и последовавшие после этого долгие годы писательского становления были временем свирепой бедно-

сти и полунищенского существования. То есть я никак не мог осознать, что я самый элементарный и натуральный бедняк на этом свете,— такого взгляда на себя со стороны у меня не было и, пожалуй, не могло быть. И этот своеобразный ущерб сознания во мне был не результатом моей беспросветной глупости, социальной тупости или природной безалаберности, нет. Просто я был обычным человеком того общества, в котором вопрос бедности или богатства не стоял, не обсуждался и, значит, не мог быть предметом особенной заботы граждан.

Когда бывали голодные годы — ужасающее время всеобщего недоедания, мора и даже людоедства,— после революции, в гражданскую войну, в годы коллективизации, во время Великой Отечественной войны, в послевоенную разруху, люди были озабочены проблемой выживания. А я где-то вычитал или слышал, что необходимость выживания — это не жизнь. Это отчаянная борьба за жизнь, подобно тому как горячка с высокой температурой не является выходом здоровой энергии тела, а всего лишь — реакцией на опасный для этого тела недуг. Народ, подверженный слишком частым периодам жестокого выживания, постепенно теряет вкус к жизни, стремление к разнообразию житейских благ и обретает некую заскорузлую бедняцкую аскетичность существования. Далее хлеба насущного уже не простирается его социальное дерзновение. Не голодать, быть сытым — вот и все счастье.

Итак, моя живая память говорит мне о том, что когда-то в молодости *я действительно был бедным, но на самом деле не был бедным*. Я говорю о самоощущении моей души, а не о чувстве голода, которое мне приходилось частенько испытывать в свои студенческие годы. Ведя самую скудную жизнь, плохо питаюсь, едва-едва спасаясь зимой от холода под прикрытием дешевой одежды, мы не полагали, что живем неважно.

И я сейчас думаю: в чем же было дело? Почему бедность, в которой пребывал я, на самом деле не ощущалась мною как несчастье или даже просто как предмет для грустных размышлений? И почему богатство, которое теперь, при реставрации капитализма и частной собственности в нашей стране, стало вполне доступным для многих нуворишей, почему оно выглядит, как что-то отвратительное и глубоко неблагоприятное для нашей жизни?

Что было хорошего в том далеко оставшемся позади прошлом, что утрачено теперь?

Или все было ложным и призрачным? Или ничего, кроме горечи, стыда и печали, нельзя узреть в этом прошлом?

Училище было образовано вскоре после революции, а в тридцатые годы стало знаменито тем, что на железных перилах главной лестницы повесилось сразу несколько человек,— это была группа любителей поэзии Есенина. Они повесились после того, как их кумир точно так же покончил счеты с жизнью в далеком Петербурге. Самоубийство, так сказать, вослед — чисто самурайский, японский, вариант...

Занятия наши проходили в унылых, не очень-то светлых аудиториях-студиях, полы и стены в которых были измазаны самого разного цвета и оттенка пятнами масляной краски. Столь же пестро и жирно изукрашенные мольберты громоздились в этих аудиториях, чем-то напоминая пыточные станки в средневековых подвалах инквизиции, как их изображают в исторических кинофильмах. Учебные студии по живописи, проходившие в основном в осенние и зимние тусклые месяцы, проводились при искусственном освещении, так что на наших работах, натюрмортах, портретах, неизменно запечатлевался желтый-желтый, необычайно унылый, золотушный колорит.

Училище не имело большого студенческого общежития, по крайней мере мест в нем не хватало для всех, кто приехал учиться из провинции. И на первых порах, год-два, приходилось где-то снимать комнату или угол. О, сколько переменял я этих углов и комнат по московским малофешенебельным старым домам — в новых и добротных домах никто на постой студентов не брал, там жили люди, не нуждавшиеся в этом особом квартирном бизнесе — сдаче жильцам

углов, комнатушек и выгороженных самыми легкими перегородками клетушек. Это делали москвичи, как правило, сами малоимущие, а иногда и попросту существующие в фантастической, вопиющей бедности.

Первая же квартира на знаменитой Трубной улице осталась особенно для меня памятной. Это была довольно большая комната на верхнем этаже двухэтажного зданьяца, старинной постройки мещанского дома. Низ его был кирпичным, верх — деревянным, это была обычная инженерия при возведении небольших частных домов в Москве. Наверх вела обшарпанная и выщербленная до лунок в деревянных ступенях лестница, внизу вход был отдельный, и жильцы этой нижней части дома остались мне неизвестными, кроме двух красивых сестер полукитайенок, которые бегали к нам, студентам, посидеть вместе и пообщаться.

Верхняя половина, где в одной из комнат обитали мы, вначале трое, а потом и четверо студентов первого курса, была вся разгорожена на отдельные комнаты, и их было такое множество, что с трудом верилось, что все они действительно могли разместиться на втором этаже этого маленького домика. Тут было что-то мистическое, в духе Михаила Булгакова. Пять-шесть семейств ухитрилось жить на этом пространстве. В каждую загадочную коммунальную нору, где обитала отдельная семья, вел темный узкий коридор, похожий на проход в катакомбах. Все эти коридорчики выходили на общую кухню, где в зимнее холодное время денно и ночью горел на плитке газ, обогревая неотапливаемое помещение кухни.

Дом был старый, с печным отоплением. В каждой суверенной комнате была печь, таковая имела и в нашей комнате. Но квартирная хозяйка, жившая в другом доме неподалеку от нас, на Рождественском бульваре, не обеспечила нас на зиму дровами, и мы не могли топить свою печь. Так что холодина в зимнюю стужу в комнатухе нашей была изряднейшая — спать приходилось иногда, надев меховые шапки с опущенными наушниками, завязав тесемки на подбородке.

Для того чтобы хоть немного прогреть комнату, мы открывали дверь на кухню, чтобы оттуда шло к нам тепло. Но вместе с теплым воздухом, пропитанным кислым запахом газа, к нам устремлялись жирный пар семейных супов и облака самых заблазнительных запахов, поднимавшихся над сковородками и кастрюльками соседей. А подобная «газовая атака» для нас, частенько пребывавших в течение длинных зимних вечеров совершенно голодными, была весьма опасной и мучительной — можно было и сойти с ума.

Однажды случились праздничные дни и мы все четверо — Ваня Копыткин, Гена Белов, Женя Маркин и я — остались дома. Деньги у нас полностью отсутствовали. Мы никуда не выходили, только по нужде в туалет, и все дружно голодали, лежа на своих кроватях одетыми. На какой-то день ближайшая соседка наша, старушка маленькая, рыхлая, однако с грозным голосом воинственной скандалистки — тетя Граня, как ее все звали, что-то заподозрила и вошла к нам для разведки.

Тетя Граня жила в узенькой и длинной, как пенал, соседней комнате, выгороженной от нас тонкой деревянной стеной, сквозь которую легко проходили все звуки, производимые у нее, а равным образом — и тепло от ее печки. Вот за эту утечку тепла в нашу выстуженную комнату тетя Граня не раз устраивала нам грозные баталии, справедливо полагая, что она тратит свои дрова и для отопления нашей комнаты. Но мы, «голытьба ср-р-раная», как со свирепым рычанием определила нас старушенция, игнорировали ее прямые атаки и, как только тетя Граня принималась ругаться, молча исчезали в глубине своей нетопленной комнаты.

Мигом определив, почему уже два дня нас не видно и почему мы валяемся на кроватях одетыми, тетя Граня, сама голодавшая за свою жизнь не раз, выскочила на общую кухню и устроила там грандиозный митинг солидарности с голодающим студенчеством. Соседи все всполошились, разохались и кинулись устраивать для нас продовольственную гуманитарную помощь из своих праздничных припасов. В пять минут был собран большой поднос, уставленный пи-

рогами, студнем, винегретом и всякими прочими закусками. Торжествующая тетя Граня внесла этот поднос к нам в комнату, шваркнула на стол и произнесла своим громоподобным голосом: «Ну, подымайтесь, идите жрать! У, команда беспортошная!» Вконец уничтоженные подобным великодушием соседней, подавленные и пристыженные, мы продолжали молча лежать на своих кроватях. И только после того, как ушла восвояси тетя Граня, самый практичный из нас, Гена Белов, первым поднялся потихоньку и, пристроившись к подносу, осторожно зачавкал. Вслед за ним потянулись к столу и остальные...

Кроме двух полукитаянок, в гости к нам хаживала еще одна молодая особа, пригожая и дородная, налитая свежими соками пышно взошедшей женственности соседка Валя, с огромными глазами, загнутыми ресницами, с круглой родинкой на бело-розовой щечке. Признаться, она мне нравилась, хотя и была, на мой взгляд, слишком простовата, интеллектom не блистала. Но ей-то нравился Женя Маркин, высокий и стройный, курчавый и румяный, как это полагается, и весьма самолюбивый и самовлюбленный молодой человек...

Через много-много лет я встретился случайно с Ваней Копыткиным и узнал, что он давно женат на одной из сестер-полукитаянок. Значит, дом этот на Трубной улице для одного из нашей компании стал судьбой. Но самого дома к этому времени уже не существовало: его снесли, как и много других домов рядом, и на этом месте были выстроены бездарные типовые крупнопанельные дома.

Были затем и другие квартиры — искать перед началом каждого учебного года очередное пристанище стало для меня привычным делом и даже своего рода увлекательным занятием. Это было очень интересно — толкаться в густой толпе на одной из Мещанских улиц старого московского района, вблизи Марьиной рощи, где было место уличной биржи по найму и сдаче квартир, пытаться свою судьбу, расспрашивать, записывать адреса, рядиться с хозяевами сдаваемых комнат.

Уличные биржи, эти своеобразные базары жилплощади, были особенностью московской жизни, которую хорошо знали разные пришлые в столицу люди, временные ее жильцы, как-то: студенты, молодые офицеры, разного рода специалисты, командированные в Москву на долгий срок, разведенные супруги, желающие пожить отдельно от своих бывших семейных партнеров...

Вот вспоминается переулок между улицами Щепкина и Гиляровского, где-то недалеко от проспекта Мира — узкий безликий переулочек, на котором все стены домов и заборы залеплены маленькими бумажками объявлений: кто-то хочет снять комнату, а кто-то хочет сдать... Кому-то непременно нужна отдельная квартира, а кто-то ищет жильцов, желательно семейную пару или, наоборот, одинокую незамужнюю женщину для проживания вместе со пожилой хозяйкой в ее квартире со всеми удобствами...

Бумажки объявлений были приклеены только по верхнему краю, а внизу ножницами были нарезаны свисающие полоски — бумажная лапша с номерами телефонов. Иногда какие-нибудь озорники поджигали эти многобровые бумажки, и тогда по заборам и стенам переулочка бежал веселый злобноватый огонь, слизывая начисто все вверенные объявляющим тревожные надежды, мелкие расчеты, корыстное честолюбие, тайную мечту о ветре перемен в своей затхлой жизни...

В художественном училище собирался народ все же особенный, и атмосфера нашей богемной жизни отличалась от студенческого житья-бытья в аудиториях и общагах других учебных заведений. Нам зубрить особенно много не приходилось, гранита науки мы не грызли. Мы рисовали, писали красками, сочиняли композиции, делали домашние и уличные наброски, бегали по музеям и выставкам. История искусств, история костюмов, пластическая анатомия человека, театроведение да история архитектуры — вот, пожалуй, все основные предметы, которые мы проходили. Изучать все это было нетяжело и довольно интересно, тем более что в московских богатейших музеях и библиотеках было вдоволь всяких необходимых книг и материала...

Но было и что-то специфически тяжелое, необъяснимо гнетущее в душевном настрое нашего училища, нашего небольшого общежития в Алексеевском студенческом городке, вблизи ВДНХ. Недаром во время ежегодного медицинского осмотра и диспансеризации среди нас обнаруживалось немало психически нездоровых людей...

Искусство, занятие им, уже предопределяет, что у того, кто этому предается, несколько иное — измененное — сознание, нежели у нормального рационально мыслящего прагматика. Необходимость создания картины (внешнего предмета) на основании фантазии и воображения (феномена внутреннего) ставит душу художника перед необходимостью пребывать в постоянной раздвоенности. И, находясь в этом состоянии, безостановочно путешествуя из одного мира в другой, точно не ведая, где же граница между ними, художник пребывает в зыбкости сознания, в размытости твердых ориентиров на этом белом свете... А представить себе, что юному существу надо изо дня в день, по многу часов, в течение пяти лет обучаться жить в размытости сознания и постоянно упражняться в раздвоении души! Трудно ли — долго ли тут и на самом деле залезть в шизофрению!

К тому же как мучила нас свирепая нищета! Стипендии в училище были почему-то самыми низкими из всех существовавших тогда студенческих стипендий. Наших денег не хватало даже на скудную, самую скверную еду в нарпитовских столовых. И я думаю, что многие из тех, что оказывались психически нездоровыми, впадали в эту беду из-за нашей угнетающей, мрачной нищеты. Это были в основном ребята из провинции вроде меня... Трое из моих соратников пытались покончить жизнь самоубийством, один из них умер... И все это были талантливые ребята.

Но ведь что-то было и хорошее в той нашей студенческой жизни! Не все же одно только мрачное и отчаянное, как теперь мне вспоминается. Была радость постижения красоты и искусства. Было чудо, волшебство раскрытия тайн мастерства, и первые ощущения своего таланта, и мечты, неистовые мечты о будущем творчестве. Все это также было...

Разлом судьбы

Это случилось совершенно для меня неожиданно и внезапно; как катастрофа. В моей жизни происходило несколько серьезных разломов судьбы. После них вся тщательно выверенная последовательность житейского хода нарушалась, события дней и грядущих лет приобретали совсем иной, чем прежде, характер, и я сам с удивлением следил за тем, что же со мною происходит.

На этот раз волеизлияние рока проявилось в том, что на меня внезапно обрушилось желание писать. Ранее мне доводилось потихоньку сочинять стихи, но вся эта любовная лирика и стихи о море, о Сахалине были совсем не то... Вдруг — в озарении моего внутреннего катаклизма — открылось душевному взору нечто совсем иное. Мир художественного слова внезапно предстал передо мной как новая вселенная, в которой только и могло проходить мое подлинное существование.

Началось все это зимой 60-го года, на третьем году обучения в училище, в дни зимних каникул.

К тому времени я уже получил место в студенческом общежитии, в двухэтажном бараке казарменного вида с желтыми, с полуосыпавшейся краской, оштукатуренными стенами. Подобный яично-желтушный цвет был почему-то самым распространенным при покраске казенных зданий той эпохи. По всей стране можно было увидеть тогда одинаково желтые сооружения, эту унылую социалистическую недвижимость: рабочие и студенческие общежития, солдатские казармы, районные дома культуры, дома для престарелых, дома для сумасшедших, больничные корпуса... Прожить жизнь, гуляя среди таких желтых домов, было можно — но зачем нужна человеку столь унылая жизнь? Подобный риторический вопрос мог возникнуть, конечно, но не возникал тогда, потому что я был молод, любил жизнь, искусство, милых девушек, и мне было в

этом мире в общем-то хорошо, хотя временами — по непонятной причине — становилось неимоверно печально.

К началу тех зимних каникул я опять оказался совершенно без денег, и, когда студенты разъехались по домам, во всем общежитии остались только два человека — комендант да я. Комендантом общежития был совершенно неподходящий, на мой взгляд, человек: капитан первого ранга в отставке, бравый моряк с красивой сединой на висках, все еще продолжавший ходить в черной морской форме. Он приехал откуда-то с южных морей. Выйдя на пенсию, *каперанг* захотел подучиться в искусстве живописи — с тем и прибыл в Москву. Но в училище его не могли принять по возрасту, и тогда он устроился работать комендантом общежития, чтобы, значит, быть поближе к искусству. Такая преданность живописи и великое смирение капитана вызывали невольное уважение. Ведь подумать только — после того как он командовал морскими кораблями, теперь ему приходилось распорядиться лишь сотней ватных матрацев да парой сотен комплектов постельного белья! Однако рисовал и писал красками капитан безнадежно плохо, то есть он мог чистенько «вылизать» рисунок и применял в своей живописи самые яркие, слащавые цвета, и все это осуществлялось в пределах абсолютного дилетантизма. Однако сам он был искренне удивлен тем, что его картины, намного более приятные и красивые, по его собственному мнению, чем работы студентов, ими не признаются и лишь вызывают у них насмешливые или снисходительные улыбки..

Поначалу у меня к коменданту было точно такое же отношение, как и у других, но со временем я стал думать о нем совсем по-другому. Когда мы с капитаном остались в общежитии одни, я мог чаще встречаться с ним и лучше присмотреться к нему. И на его примере я впервые открыл для себя такую важную и ответственную вещь, как необходимость сомнения в самом себе.

Мне отдаленно представлялось, какой значительной, богатой событиями и человеческим содержанием была прошлая жизнь *каперанга*, сколько в ней горело творческой страсти! И какую пустоту, какое жалкое плебейское эстетство и мещанскую претенциозность выражали его пейзажи, портреты и натюрморты! То, каким молодцом мог быть капитан в морской своей судьбинushке, живо предугадывалось и теперь. Сухощавый, стройный, с подкрученными усами и орлиным взором, он был самым ярким воплощением мужества, успеха, власти... И при всем этом его дешевенькие любительские картины... Невольно становилось грустно при мысленном сравнении двух начал его жизни: «морского» и «живописного».

Одновременно с этим я примерил сию одежду на себя — и обнаружилось, что в моей жизни дело обстоит немногим лучше. Пускай я и рисовал профессионально, и вкус у меня был развитым, но ведь давно уже я чувствовал, что все, переживаемое мной во внутренней жизни, намного значительнее и несравнимо больше того, что я мог бы выразить в своих рисунках и живописных работах!..

Капитан-комендант предложил мне отремонтировать печи в общежитии — оно отапливалось дровяными печами, как при царе Горохе. Эти кирпичные нагревательные приборы, занимавшие немало места в казармах нашего общежития, растрескались и сквозь трещины нещадно дымили, отчего беленые печные стенки были изрисованы лохматыми следами черной копоти. Комендант предложил мне чем-нибудь замазать щели, я сходил на ближайшую стройку, выпросил у рабочих ведро раствора и заделал трещины.

За эту работу мне выплачено было капитаном столько денег, что я смог взять железнодорожный билет третьего класса и поехать в общем вагоне пассажирского поезда в город Сталинск (теперь Новокузнецк), где жила старшая сестра и вместе с нею мой младший брат. Родители в это время еще жили на Сахалине.

Старшая сестра, уже закончившая институт, работала инженером в железнодорожном ведомстве, распределившись после учебы в этот сибирский город. С нею жил младший братишка, моложе меня на четыре года. Он тогда решил работать, а школу заканчивать вечернюю и устроился куда-то учеником слесаря.

Сестра и братишка уходили на работу рано, я оставался в комнате один (сестре выделена была служебная комната в трехкомнатной квартире), мне было скучно. Вот я и решил пойти в местный театр художником-практикантом без зарплаты. Дело в том, что к концу каникул студенты театрального отделения училища должны были пойти на практику в назначенные для этого театры Москвы. Я же практику решил провести в Сталинском театре. Телеграммой попросил на то разрешения у начальства училища, получил это разрешение и вскоре каждый день стал ездить на трамвае в старый центр города, где располагался драматический театр.

В этом провинциальном сибирском театре и произошел внезапный разлом моей судьбы. Однажды во время какого-то спектакля... Впрочем, суть происшедшего для меня столь значительна и таинственна, что надо бы рассказывать об этом не так буднично, как я начал... Но как по-другому? По-другому рассказ не идет... Уж пусть будет так, как началось. *Однажды во время какого-то спектакля...*

Театр в этом пролетарском городе не пользовался, скажем прямо, огромной популярностью. Может быть, оттого, что зимою было очень холодно и лютый сибирский мороз не располагал жителей к прогулкам по вечерам. Они предпочитали сидеть дома, в кругу семьи, и рано ложиться спать. Театральные спектакли шли не только без аншлагов, но порой бывало и такое, что зрителей в зале виделось гораздо меньше, чем участников спектакля на сцене. А бывало, что даже на премьере оказывалось занято зрителями всего четыре-пять самых передних рядов, да и то были приглашенные с бесплатными билетами, родственники, друзья и знакомые артистов. Обычно зрительский состав на спектаклях формировался по линии профсоюзной нагрузки: какому-нибудь предприятю через райком профсоюзов принудительно навязывались билеты. Профком эти билеты выкупал, а потом уже бесплатно распределял среди членов профсоюза...

Город был сугубо промышленный, угледобывающий и металлургический, со множеством дымящих труб в панораме урбанистического пейзажа. Снег на сугробах, наваленных вдоль широких улиц, был как бы покрыт копотью — припорошен сверху тонкой угольной пылью. При виде этого подкопченного снега ощущение свирепого сибирского холода делалось еще более невыносимым. Явная дисгармония и дикая нелогичность проявлялись в том, что смутным белым призраком горело зимнее солнце сквозь пелену смога, сверкали гребни чумазных снежных сугробов, осыпанных угольной крошкой, яростно дымили сотни заводских труб — и при этом беспощадно мерзли лицо, руки и ноги, слезились глаза на сорокаградусном морозе. Впрочем, может быть, попросту не было у меня тогда теплой зимней одежды, хорошей шапки, надежных перчаток, башмаков на меху, и поэтому сибирский холод казался особенно невыносимым на фоне дымного индустриального пейзажа...

Итак, *однажды во время какого-то спектакля* я стоял в кулисах и безо всякой увлеченности следил за ходом действия пьесы, которую разыгрывали уже хорошо знакомые мне артисты... Я третий год пребывал в художественном училище, увлеченно занимался живописью, прочитал много книг о художниках. Я все глубже погружался в мир искусства и никак не мог предположить, что когда-нибудь сверну с избранного пути. Но пришла минута — и это случилось.

Я услышал голос актера, который обычно играл героя-любовника... Не помню, какую пьесу давали в тот вечер, не знаю, чья это была реплика, но знаковый актер произнес следующее:

— *Ребенок принес мне горсть травы и спросил: «Что это?..»*

Дальше я ничего не запомнил. И о чем до этого шла речь в пьесе — не знал.

О том, что эти слова из стихотворения великого американского поэта, мне еще не было ведомо.

Но именно одна эта строка перевернула все мое представление о поэзии. И открыла мне новую вселенную прекрасного. До этой минуты поэзия представляла в моем сознании как звучащая стихотворная речь. Теперь же — благодаря всего одной строчке — я оказался вовлеченным в безграничное пространство поэзии, наполненное красотой и гармонией.

Здесь, очевидно, проявилось таинственное воздействие неведомых сил, которые заключены в словах и словесных образах. Не думаю, чтобы на каждого человека эти слова произвели бы такое же роковое впечатление. Но в моем случае это произошло: одна строка стихотворения, случайно услышанная мною, изменила всю мою судьбу.

А может быть, и не изменила — утвердила эту судьбу? И вернула меня на ее законную стезю? Поэтическая фраза из книги Уолта Уитмена «Листья травы» явилась волшебным лучом, по которому я в одно мгновение пролетел сквозь пространство и время — от морозной индустриальной Сибири до сосновых лесов средневековой провинции Квансо в Корее. Ибо там в XV веке бродил по горам мой предок Ким Си Сып, великий поэт и прозаик, и это его неутоленность жизнью и жажда литературного творчества вновь пробудились во мне!

Моя художественная практика в сибирском театре благополучно закончилась, и к весне я снова вернулся в Москву, продолжал ходить на занятия в училище. Но мне стало нелегко целыми днями и ночами постоянно существовать в людском окружении, в казарменной тесноте общежития и в училищной толчее.

Новое чувство, пробудившееся в душе, заставляло меня искать уединения, прочь отталкивало от житейской рутины коллективного существования. Мои друзья, приятели и приятельницы, педагоги, натурщики и натурщицы, бессменная гардеробщица тетя Груня, военрук Яников — вся великая московская толпа и весь непостижимый в своей множественности род людской вдруг стали для меня невыносимы.

По ночам я стал плакать, недвижимо лежа в своей постели, окруженный со всех сторон спящими в темноте, посапывающими и похрапывающими товарищами. Кончилось все тем, что я снял комнату возле Рижского вокзала, стал жить один. И начал писать стихи.

О, какие это были странные даже для меня самого стихи! Я никогда раньше не писал такие... Поначалу я даже сам не считал их стихами. Я ничего не сочинял — просто записывал слова, которые приходили ко мне.

Из холодного узкого переулочка
я вышел на широкую улицу.
Солнце тысячью ласковых рук
ударило меня по глазам.
И я улынулся.

* * *

Черные утки
плавали у берега,
потом куда-то уплыли.
Светлые рыбки
приплыли потом
и стали резвиться в воде.
Ну и что,
что утки уплыли?

И так далее... Почти все первые свои стихи той далекой весны я потерял — вспомнились случайные. Мне писать их было так легко, и приходило их столько много, что я вовсе стихов тех не ценил. Стихотворствовать было все равно, что дышать. А разве дыхание ты ценишь, если дышишь всей грудью и воздух чис-

тых полей вливается в твою грудь, а затем растекается прохладными струйками по всем жилам?

Дыхание начинаешь ценить, когда вдруг заболеешь и навалится на тебя припадок удушья. О стихах юности своей начинаешь тосковать, когда подступит старость, и чем дальше, тем холоднее в мире, тем ниже солнце, и все стихи твои улетели с Земли, как осенние перелетные птицы.

Какое странное счастье испытал я в ту весну, когда жил совершенно один в хибарке у Рижского вокзала! Впервые в жизни мне пришлось квартироваться одному, вход в мою комнату был отдельным, в противоположной стороне от хозяйского входа в дом. В необычном месте находился он — среди железнодорожных путей, позади платформы для пригородной электрички, на длинной травянистой полосе.

Этот узкий клин ничейной земли, с двух сторон оплетенный стальными лентами железнодорожных рельсов, давно уже жил на полной свободе, вдали от всяких жадных притязаний московских огородников, и постепенно на славу зарос травой самого дикого вида, как в африканской саванне. Правда, по краям, у самого полотна, роскошные лоснистые травы были заляпаны нефтью, покрыты пылью. Но посреди этой железнодорожной саванны, окруженной сталью, просмоленными шпалами и замасленной землей, располагался счастливый оазис — на зеленом отлогом холмике покрашенный синей краской одноэтажный деревянный дом!

Это был частный дом — хозяином его являлся мясник Жора, по национальности карел, но окончательно обрусевший. А хозяйкой была Лида, завхоз нашего училища. Это от нее я узнал о возможности снять совершенно изолированное жилье, а ее муж охотно пустил меня квартирантом, потому что узнал, что я кореец, а это почти что, по его мнению, карел. И он меня постоянно уверял:

— Анатолий, ведь я тоже карелец! — Так он называл свою национальность.

— Но я, Жора, кореец... — пытался я внести некоторую ясность.

— Правильно! А я что говорю?! — торжествовал Жора. — Ты тоже карелец! Значит, земляки мы с тобой.

И при этом крепко хлопал меня по плечу своей тяжелой мясницкой рукой. Он был чернявый, курносый, здоровенный мужик, а жена его Лида была не менее здоровенная, с широченной сутуловатой спиной, белокурая — совершенно рубенсовская баба. Двое детей у них имелось — старший мальчик, полный и белый, как мамаша, и очень на нее похожий, и черноглазая девочка лет пяти, курносая, крепенькая, вся в отца.

Эта была очень добрая, здоровая семья, превосходно откормленная на мясе. Жора любил меня как «карельца», Лида благоволила ко мне, словно родная тетка, — жить они мне не мешали. И вправду — я провел в их домике счастливое время. Недаром мне всю остальную жизнь изредка снится этот Лидин-и-Жорин дом. (Странноватый, правда, сон: будто бы я купил этот дом, и в нем неожиданно оказалось очень много лишних комнат, о которых раньше, оказывается, я вовсе не знал! И теперь, в связи с покупкой дома, я решил наконец самый болезненный жизненный вопрос — проблему своего жилья...)

Стоило мне зажить одному, начать писать стихи и потихоньку пробовать прозу, как стали слетаться ко мне в мою смешную кособокую комнату «разные девицы женского пола» — по выражению Жоры. Очевидно, у этих девиц был особый нюх на молодых писателей, начинающих свой одинокий путь. И задачей их было овладение молодым гением, чтобы, значит, спасти его от гениальности...

Последние каникулы

Я не запомнил ее имени, оно было заурядным, из очень распространенных, — буду называть ее попросту Рысью.

В небесной канцелярии, где составляются частные человеческие судьбы, в том году произошла, очевидно, какая-нибудь путаница. Или некий чиновник, наскучившись рутинной заурядных дел, решил поразвлечься и подпустить каверзы в дело моей судьбы. Бывает так, что поэт зажигает в своей комнате лампу, чтобы всей душой погрузиться в творчество, а в раскрытое окно влетает ночная бабочка, приняв светоч его вдохновения за призыв к веселому, безумному танцу вокруг огненного алтаря. Бывает, вслед за первой бабочкой влетает вторая, а затем и третья... Шутливая каверза небесного чиновника заключалась в том, что он напустил тогда на меня не двух бабочек и даже не трех, а целых шесть или семь экземпляров. Они врывались в мою бедную келью, трепеща своими молодыми крылами...

В училище Рысь была известна тем, что ее писали обнаженной на старших курсах. Студенческие работы, где масляными красками было изображено ее молодое, сильное тело бледно-серебристого оттенка, мне приходилось видеть на выставках-развесках старшекурсников. На нашем третьем курсе она еще не позировала. И я как-то столкнулся с нею в коридоре училища. В перерыве между занятиями она вышла, накинув халатик на свою «обнаженную натуру», из соседней аудитории, увидела меня и попросила сигарету. Я как раз стоял в коридоре и курил. Так мы и познакомились.

Вскоре Рысь как-то незаметным образом перебралась ко мне. То есть стала приходиться ночевать в мою комнатушку после того, как целыми днями бегала неизвестно где по своим охотничьим делам. Рысь ночевала у меня, примостясь на самом краю единственной моей железной кровати, согнувшись пополам, спиной ко мне, а наутро вскакивала и снова убегала в московские джунгли. Нет, она не стала для меня ни женой, ни любовницей. Хотя именно рядом с Рысью я впервые испытал всю суровую подлинность мужской страсти. Но она с самого начала сказала мне, что беременна и находится на пятом месяце. Что муж, негодяй, пьяница, выгнал ее из дома и ей негде жить. Что если я очень «хочу», то она лучше приведет свою подругу вместо себя. А сама она вовсе «не хотела» и крепко засыпала в ту же минуту, как только пристраивалась на краешке постели.

Я в те дни писал свой первый в жизни фантастический рассказ. Помню, назывался он «Мимозы и черная оспа». Там речь шла о том, что весной в Москве началась эпидемия черной оспы, вывезенной кем-то из Индии, а на улицах бойкие южные торговки продавали охапками цветы желтой мимозы. Такие события происходили и на самом деле в сырую, холодную весну того года — и черная оспа, и торговля мимозами. Но на этот реалистический сюжет я набрасывал совершенно фантастическую ткань с фигурами оборотней, колдунов, колдуний, моей Рыси, зловещей мадам Черной Оспы. И в конце некий бедный художник, разумеется, должен был умереть от этой заразной болезни.

Впрочем, точного конца этого своего рассказа не помню, как не помню и того, каким образом Рысь покинула мое логово. Эпидемия черной оспы в Москве была подавлена силами Министерства здравоохранения: все население гигантского города было подвергнуто тотальной превентивной вакцинации. Нам, студентам художественного училища, тоже делали эти уколы под лопатку. Рысь исчезла из моей жизни внезапно, как и появилась, но оставила в ней неизгладимый след. Я не имею в виду рассказ — он исчез, так и не состоявшийся... Я говорю сейчас о том чувстве стыда, обиды и мужского возмущения, которое эта грубоватая рыжеватая женщина с низким лбом, покрытым веснушками, оставила во мне на всю жизнь. Как говорится — на добрую память. Потому что только через много лет, когда я уже был женат и у меня появились дети, я узнал, как выглядит женщина пяти месяцев беременности. А в ту далекую весну женщина впервые обманула меня и преподала урок того, как можно коварно посмеяться над благородством мужской страсти и крепко спать, похрапывая, рядом с мужчиной, от которого она не только не опасается никаких поползновений, но которому она как бы сама вложила в руки — для охраны своих женских сокровищ — самое надежное оружие: нежность, сочувствие, жалость к ней... Словом, одурачила мужика.

В начале лета приехал ко мне младший брат из Сталинска (Новокузнецка), чтобы подготовиться и поступать в институт, и тогда прекратились всякие испытания и свидания у меня на дому. Постель была у меня одна, на ней мы стали спать вместе с братом, места больше не было. Стол письменный был у меня в комнате тоже один, за него с утра садился брат, обложившись книгами, а я уходил куда-нибудь побродить, чтобы не мешать ему.

Я вписывал новые стихи в записную книжку, которая одновременно служила мне и маленьким альбомом для набросков. Теперь, гуляя по городу, я на одних страницах альбома рисовал, а на других писал стихи. Дни были большие, жаркие, шли летние каникулы, мои последние летние каникулы... Но я об этом не знал — что они последние. Не знал и о том, что в жизни моей очень скоро все переменится.

Однако сердце что-то предчувствовало. Я метался по Москве, по жарким и душным ее улицам, синим от выхлопного дыма машин, бродил по бульварам, делал там рисунки, обедал в закусовых, где давали одни сосиски и пиво, ездил на многолюдные московские пляжи.

Иногда я отрывал братца от занятий и водил его развлекать. Мы ходили в кино, иногда ездили вместе на пляж, купаться в Москве-реке. И вот однажды, возвращаясь с какой-то прогулки, я вдруг совершил то, чего и сам не предполагал буквально за пять минут до этого. Дело происходило на трамвайной остановке у Крестовского моста, что за Рижским вокзалом. Я достал из кармана кошелек, торопливо пересчитал все деньги, которые там были, разделил пополам — и половину сунул брату в руку, ничего ему не объясняя. Затем, увидев подошедший и остановившийся трамвай, я бросился к нему, успев только крикнуть брату:

— Прощай!

— Куда ты? — отчаянным голосом завопил мне вслед братишка.

— Я поеду! — ответил ему уже с подножки трамвая.

— Куда?!

— Не знаю.

Трамвай тронулся и загудел по рельсам, я только рукой помахал растерянному, ничего не понимающему брату.

Но дело в том, что я и сам не понимал, зачем я все это сделал и что будет дальше. Я ехал в полупустом трамвае, не зная даже, куда он направляется. И с каждой минутой во мне все более укреплялась мысль, что так и нужно было поступить: надо немедленно куда-то поехать.

Смею надеяться, что я тогда не сошел с ума. До сих пор мне трудно решить, есть ли у человека заранее predeterminedенная судьба или нет ее. Но все, что случилось со мной тогда, — это, несомненно, сама судьба. И все люди, которые встречались, были *посланы* навстречу мне. Все события, которые происходили вокруг, были специально для меня *подготовлены*. Все мои поступки и решения, которые я принимал, *диктовались* по велению моей судьбы.

Неизвестный трамвай дошел до своей конечной остановки — это оказался Южный порт на Москве-реке. Я выпрыгнул из вагона, уже зная, что мне делать. У людей вокруг спросил, где кассы на пароходы. Мне показали, и я побежал к кассам. Там перед окошечком никого не было, ни одного человека! Я нагнулся к полукруглой дырочке, в которую видно было большеносую, в круглых очках, кудреватую кассиршу, и попросил у нее билет на ближайший пароход. Она спросила, до какого места. Я ответил, что до самого конца маршрута. С плацкартным местом или без? Я сказал, что с местом. И тогда она выдала билет, взяв у меня 120 рублей, что составило почти половину всех моих наличных денег... И вскоре я уже вбежал на колесный пароходик, который отправлялся в плавание через несколько минут.

Так началось это удивительное для меня путешествие. Оказалось, что я попал на пароходик, который шел сначала по Москве-реке, затем продолжал путь по реке Оке, далее плыл до впадения Оки в Волгу — где находился конечный пункт рейса: город Горький (Нижегород).

Не имею никаких претензий к небесному канцеляристу, который курирует мою судьбу. Маршрут того путешествия был составлен великолепно. Это была поездка по самому сердцу России и главным водным артериям: Москва-реке, Оке, Волге. До города Горький пароходик от Москвы должен был дочапать за несколько суток, я уже не помню, за сколько. Однако времени было предостаточно для того, чтобы спокойно, не спеша созерцать прекрасные приокские ландшафты срединной России, всматриваться в особенности пассажирской жизни на маленьком колесном пароходе, допотопном, с клубами черного угольного дыма над трубой.

Я рисовал, делал дорожные записи. Мимо бортов суденышка проплывали пристани с удивительно звучащими былинными названиями: *Коломна, Рязань-пристань, Касимов, Елатьма, Муром...* Древние русские города на высоких берегах, в темной зелени садов, с остроконечными куполами церквей и старинных монастырских башен.

Пассажирский люд на пароходе был самый разный, пестрый, подвижный и многошумный. Там были загорелые крестьяне, мужики и бабы, с неизменными мешками, корзинами, связанными сумками — чтобы можно было их таскать, перекинув через плечо. Там были цыгане своим смуглым, пахучим табором — седобородые морщинистые мужики с суровыми глазами, в жилетках, изпод которых торчали полы длинных рубах. Темнолицие цыганки в пестрых платках, повязанных на самые глаза, в длинных до щиколоток развевающихся юбках, с замурзанными полуголыми детьми на руках. Там были солдаты с оружием, со скатанными шинелями, с подвешенными на пояс короткими саперными лопатками, потные и молчаливые, под командованием краснолицего молодого офицера. Были какие-то нарядные, весьма привлекательные девушки, едущие куда-то, откуда-то со своими аккуратными чемоданами и красивыми сумками, стоявшими на палубе рядом с их стройными ножками.

Одним из первых, с кем я разговорился и познакомился на пароходе, был синеглазый отец многочисленных дочерей, небольшого роста человек, который сел на судно вместе со своими детьми в каком-то приокском городке. Дети его, все девочки, были возрастом от двенадцати лет и меньше — целых шесть штук одинаково белобрысых, вертлявых, синеглазых, как и отец, дочерей. Мы с отцом разговорились, курая на верхней палубе, а в это время старшая дочка — единственно не вертлявая, серьезная, толстоватенькая, в круглых очках — рассаживала сестричек на длинном красном деревянном рундуке — то был пожарный ящик с песком. И этот синеглазый отец вдруг рассказал мне, как он после войны и послевоенной службы в Германии возвратился в Россию-матушку с одним только желанием: немедленно жениться, народить детей. Это желание в нем было настолько велико, что он так и не успел добраться до родных мест и женился по дороге к дому. И вот он народил детей — и все вышли дочери. Но отец не горевал: он считал, что девочки — не материал для войны. «Не для войны работаю», — сообщил он мне, подмигивая. (Рассказ этот впоследствии был написан мною и назван «Дети солдата».)

Произошла встреча на пристани с золотисто-смуглой девушкой, которую я называю Никой (в письмах к ней я так и называл ее). Ей было восемнадцать лет, она училась в техникуме, была кандидатом в мастера спорта по велосипедному спорту, у нее были каникулы, она помогала отцу, который был матросом на пристани, принимала чалки с пароходов, поэтому была одета в полосатый матросский тельник и тренировочное трико, плотно облежавшие ее юную крепкую фигуру спортсменки. Такою я ее и увидел на пристани.

Оказалось, что от этой пристани она возвращается на том же пароходе, на котором я плыл, к себе домой, на пристань под названием Досчатое, где и находился дом ее отца. До Досчатого было всего около часа-полтора плавания на этом самом тихомодном в мире пароходе, но за этот час-полтора мы с Никой успели выяснить, бегая рука об руку по безлюдной верхней палубе, что страшно любим друг друга и что нам надобно решить, как быть в будущем. Договорились, что она сойдет в Досчатом и начнет подготавливать дома почву, а я сойду через несколько остановок в городе Муроме, проведу там два дня, рисуя окре-

стные пейзажи, а потом вернусь в Досчатое, чтобы прийти к Нике в ее родительский дом и сделать там предложение по всей форме. (Что из всего этого получилось — написано в рассказе «Забывая станция».)

Следуя этому плану, я слез с парохода в Муроме, пролонгировал билет на два дня и поселился в дешевой местной гостинице. Там я познакомился с одним командировочным человеком из Сормова, лет, я думаю, сорока — сорока пяти, ничем не примечательным, с лысиной на макушке и красноватым помятым лицом пьющего человека. Я почему-то очень ему понравился. Вообще в ту поездку я нравился людям, многие распахивали душу и сердечно привязывались ко мне. Мой новый знакомец предлагал выпить с ним дешевого красного вина, плодово-ягодного портвейна, который назывался на языке выпивох «ударом по печени». Я пить не умел, но, чтобы не обидеть нового друга, с трудом одолевал стаканчик липкого сладкого пойла. Он научил меня, что надо закусывать чем-нибудь жирным, тогда не опьянеешь. И он дал мне адрес своего дома в Сормове, чтобы я обязательно остановился там, если буду в городе, и даже написал письмо жене, на тот случай, если я попаду в Сормово раньше, чем он вернется домой из командировки...

В Муроме я много рисовал. Переходил по плавучему понтонному мосту Оку и жарился под солнцем на желтоватых песках дикого пляжа. Там в это время народу почти не было — уже наступил август, и считалось, что Илья-пророк напустил ледку в воду. В русской провинции в августе не купаются. Иногда только какие-то молодые ребята вроде меня выбирались на пустынный пляж и купались, загорали на светлых холмах песчаного карьера, который был расположен на дальнем краю пляжа. Моему долготу и полному уединению никто не мешал.

Сколько я тогда написал стихов? Неизвестно. Куда я их подевал? Неизвестно. Почему случилось так, что те дни, проведенные на берегу Оки возле Мурома, стали самыми счастливыми в моей жизни? Я питался тогда одним хлебом, душистым свежим хлебом, который можно было бесплатно брать в райпитовских столовых. К хлебу единственной закуской были помидоры — баснословно дешевые, громадные, уродливо покореженные владимирские помидоры розового цвета.

На Оке и на Волге

Через два дня я приехал, как и обещал, обратным катером в Досчатое. Ника встретила меня на пристани, одета девушка была в какую-то популярно-модную куртку, в короткую юбку, от нее пахло дешевыми духами. Пришла на пристань она вместе с подругой, которая нужна была, как я догадался, чтобы поддержать дух Ники в первые минуты встречи со мной. Девушке было неловко на глазах у знакомых людей, заполнявших просторную деревянную платформу пристани, встречать какого-то молодого черноволосого парня явно нерусской национальности. Подойдя ко мне откуда-то со стороны в то время, когда я растерянно озирался, стоя в толпе пассажиров и встречающих, она подала мне руку вполне по-комсомольски: для товарищеского пожатия. И тут же представила подругу — тоже с крепким рукопожатием...

Я должен сказать, что подобная встреча меня несколько обескуражила, а сама Ника в своей стандартной куртке и со слегка подкрашенными губами показалась мне менее интересной, чем она же в полосатой матросской тельняшке, в тесно облегающем велоночном трико до колен, как я ее увидел впервые в Елатье. Но ничего! Встрече все равно мы были рады, и, помявшись немного, Ника предложила мне пойти к ней домой. Признаться, до этой минуты я вообще не знал, что мне делать.

Так я попал в этот русский дом, в исконном русском краю, в неизвестном мне русском поселке, расположенном на берегу широкой русской реки Оки, которая течет-извивается в самом центре средней Руси. И дом был обычно-русский, деревянный, с верандой и двумя комнатами: передней-кухней, где находилась большая русская печь, занимавшая половину помещения, и горницей-

спальной — попросторней, чем передняя, разгороженной ситцевыми занавесками на отдельные закуточки, где стояли убранные кровати с подушками, перинами.

Я был представлен матери Ники и толпе многочисленных ее братишек и сестренек. Уж не помню, сколько их было, но все они оказались на одно лицо и очень похожими на мать. Сама она, добродушно-веселая, очень крепкая, плотная, подвижная женщина небольшого роста, выглядела в толпе русоголовых детей скорее старшей сестрой, нежели их матерью. И только Ника была потемней да глаза у нее были не круглые, светлые, любопытно-веселые, как у остальных, а чуть припухлые, с внимательным прищуром — впрочем, также добродушно и весело поблескивавшие сквозь черные пушистые ресницы. Была она, должно быть, похожа на отца, который в этот день отсутствовал, нес свою матросскую службу на речной пристани. Отсутствовала, как сказали мне, и старшая сестра Ники, которая тоже была на работе.

Меня немедленно усадили обедать за общий стол, в большой и шумный круг братьев и сестер Ники. Сама она подавала еду и села последней с краю стола. Я был первый раз в этом доме, в этой семье, и вначале испытывал некоторое стеснение, но довольно скоро почувствовал себя совершенно своим. Я ел вместе со всеми что-то очень вкусное, сытное, очень домашнее, усердно работал дешевой алюминиевой ложкой, вместе с другими потел за кружкой чая с вареньем, чем и завершился этот развеселый обед.

После обеда вся детвора и их родительница постепенно куда-то разбрелись из дома, и мы с Никой остались одни. Она мыла над тазом у печки посуду, время от времени подымая голову и с улыбкой взглядывая на меня. Я сидел на лавке возле открытого окна и курил. Придя с пристани домой, Ника переоделась и теперь была в синей тренировочной рубашке, на спине которой было выведено аршинными буквами: «*Мастер спорта СССР*».

Я рассказываю сейчас о том, как по велению судьбы поменял свой жизненный путь, сошел со старого и пошел по новому, и о том, что со мною происходило на самых первых порах этого пути. Я, потомок поэта Ким Си Сыпа, из рода Каннингских Кимов, должен был стать русским писателем — и Русь стала приоткрываться мне. Я вошел в нее как бы через парадные ворота: широкие створы Оки. Я проплыл на маленьких пароходиках по этой многоводной реке через несколько самых древних российских губерний: Московскую, Рязанскую, Владимирскую, Нижегородскую.

Река Ока очень извилиста по всему своему течению, поток ее вод быстр и бодр на перекатах, плещется и рябит на солнце. А на просторных плёсах течение почти незаметно, там царит спокойствие и сверкает зеркальная водная гладь. На крутых поворотах, где течение ударяется в холмистый берег, вода подмывает землю, обрушивает ее, и образуются отвесные глинистые обрывы. Противоположный берег отлого сходит в воду светлой песчаной косой или скатывается низким заливным лугом, поросшим кудрявыми зарослями зеленой ивы.

Ока изобильна рыбой, и множество рыбаков пытается свою удачу на ее пустынных берегах. Проплывая на пароходе, можно увидеть, как где-нибудь в стене глиняного обрыва, ярко освещенной полуденным солнцем и испещренной черными точками норок береговых ласточек, вырыта большая нора. В этой глиняной пещере сидит и дремлет одинокий отшельник с удочкой в руке. Очнется он и дикими глазами уставится на проплывающий мимо него белый пароход, и по всему его виду, по выцветшей на солнце брезентовой одежде, по загорелому дочерна лицу, по одичалым глазам можно понять, что сей счастливец, убежавший от тревог цивилизованного мира, ведет пещерную жизнь уже много дней и ночей.

Огибавшая какую-нибудь низкую песчаную косу река за нею виднелась как полоска звучной синевы, немногим гуще, чем небесная синь. Чистая, просторная коса светилась, вся осиянная солнцем. И над этим длинным клином белого песка чернела горизонтальная палочка, а на ней торчала другая — ма-

ленькая вертикальная. Это были лодка и рыбак на ней, видимые вдали за косой, замершие на тихой воде. И по неподвижной, словно деревянная чурка, одинокой фигуре рыбака также было видно, что это очень счастливое существо на этом свете...

Переночевав на маленькой веранде гостеприимного дома, я на другое утро отправился дальше попутным пароходом. Предложения на законный брак я почему-то так и не сделал. Совершенно не помню, провожала ли этим утром меня до пристани Ника, не помню, как мы распростились... Ведь с того времени нам больше не пришлось встретиться, и образу этой славной девушки суждено было остаться в моей жизни лишь только в воспоминаниях да в рассказе «Забывтая станция». Воспоминаний об этой стремительно-мимолетной встрече немного... Вспоминается только, что вечером мы были в парке на танцах, а потом оказались почему-то сидящими рядом, на краю какой-то темной травяной ямы, спустив туда ноги. Потом мы откинулись на спины, лежали в траве, широко разбросив руки, и смотрели в небо, где было страшно много звезд... Вспоминается, что ночью, когда я уже засыпал, уложенный хозяевами на короткий диванчик, кто-то невидимый пробрался ко мне на веранду и, нежно, тяжело навалившись на меня, запечатлел на моих устах, как говорится, самый страстный поцелуй. А когда я, вмиг очнувшись, хотел силой удержать в объятиях эту ночную тень, она легко, энергично высвободилась и исчезла так же тихо, как возникла. Я ни в чем не виню эту тень и сам не считаю себя перед нею виноватым за то, что из нашей прекрасной встречи ничего не вышло и мы никогда уже не были вместе...

Ока после многих своих эпических выкрутасов впадает в широкую Волгу, а Волга, как известно, впадает в Каспийское море. И та и другая реки явились в геополитическом теле великой Руси главными артериями истории. Или по-другому: Волга — матушка, а Ока — ее дочь...

Итак, пароходик благополучно вывез меня по лону вод своенравной дочери на просторы грандиозно-величественной матери.

Ох ты, Волга, мать-река,
Широка ты, глубока...

Так поется в известной старинной русской песне. И, глядя на Волгу, вдруг постигаешь, что Волга и есть сама песня — мощная, протяжная, красивая песня всей русской истории. Становится ясным, что, пока жива великая Волга, будет жива и Россия, будет звучать в мире ее могучая песня.

Однако, забегая намного вперед, скажу, что сегодня Волга сильно подпорчена, больна, и страшный урон ее здоровью нанес самый скверный советский вирус, называемый *гигантоманией*. Мелкий, жалкий человек с партийным билетом в кармане возомнил, что он сможет покорить Волгу, построив на ней ряд огромных гидростанций, создав цепь искусственных морей. Много лет спустя, разъезжая по разным делам по Волге, я видел своими глазами, как изуродовали ее. Я видел громадные площади заболоченных лесных берегов в зоне затопления вблизи Саратовской ГЭС. На этих гиблых берегах стояли мертвые деревья, миллионы мертвых деревьев с сухими, обломленными, сгнившими сучьями, как призраки со скрюченными руками, хватающие небеса корявыми пальцами-ветками. Я видел огромное Балаковское водохранилище возле старинного городка Хвалынского: бетонными плитами обложенные берега, облепленные скользкими гниющими водорослями, так что к воде и не подобраться, и сама вода, циклопический бассейн безжизненного раствора бутылочного цвета, в котором не плещется рыба, где не купаются люди и где не видать ни одного паруса, ни одной лодчонки.

Но тогда, в то далекое лето, ничто не напоминало мне о грядущих бедах Волги. Она открылась своим колоссальным водным простором плёса между Сормовым и Горьким, стоявшими на противоположных берегах; разлив водного зеркала между ними был широк, сверкал под солнцем, и далекий левый бе-

рег, снизу белеющий длинной и узкой полосой песчаной косы, был покрыт зарослями зеленых кустов и деревьев. Левее этих зарослей и пустынной косы виднелись крыши, трубы и дымы рабочего поселка Сормово. В нем я и остановился сначала.

Я нашел по адресу, данному мне в Муроме моим гостиничным соседом, его дом на тихой улице, с видом на Волгу. Я пришел туда и вручил жене этого человека письмо, запечатанное в обычный почтовый конверт. Не знаю, что он написал, но я был встречен хозяйкой как самый дорогой, долгожданный гость. Меня поместили в отдельной комнате, устроили праздничный стол в мою честь, хозяйка раскрыла мне всю свою душу, часами рассказывая о делах семьи. В доме были хозяйка и ее взрослая дочь, лет двадцати, которая тоже отнеслась ко мне очень радушно, однако в первый же вечер призналась мне как брату, что у нее есть жених, что он очень ревнивый парень, поэтому она не может уделять мне слишком много внимания, и ушла почти на всю ночь на свидание с женихом. И так стало происходить каждый вечер, пока я жил у них...

Они обе, мать и дочь, работали где-то, и я рано утром поднимался вместе с ними, разделял их завтрак, а потом выходил из дома и до вечера гулял на свободе. Денег к тому времени у меня почти не осталось, но я сообщил брату телеграммой, где нахожусь, и попросил его сделать мне срочный перевод, когда родители пришлют деньги с Сахалина. В ожидании этих денег я преспокойно разгуливал по городу Горький, по поселку Сормово, по набережной Волги, по бульварам и паркам, по тем кривым и горбатым улочкам, по которым когда-то бродил будущий знаменитый писатель, чьим именем станет называться город в течение нескольких десятилетий советского периода России...

Совершенно не помню, был ли там мост, — разумеется, должен был быть мост, соединяющий Сормово с Горьким, но в памяти моей он почему-то не остался. Хотя, припоминается, я вместе с одной симпатичной девушкой проплыл на лодке под аркою огромного моста... Там ли это было? Но ведь как-то приходилось мне перебираться через Волгу из Сормова в Горький! И еще смутно припоминается, что на этом мосту, кажется, я покупал теплые жареные пирожки с мясом по пятьдесят копеек и пара пирожков составляла весь мой обед на этот день.

С высокого холмистого берега, на котором располагался прославленный город, с дорожек старинного липового парка, разбитого над набережной, далеко просматривался волжский плёс. Сквозь липы парка, между их стволами, видна была грандиозная глыба мутной синевы, словно длинный кусок неба, разложенный по земле за деревьями. И по всей плоскости воды, вправо и влево, темнели продолговатые коробочки далеких барж, барок, катеров, застывших на якорях пароходиков.

Мимо них по широкому фарватеру реки проплывали огромные пассажирские пароходы, призрачно мелькая между деревьями парка, словно передвигаясь по земле. Иногда широкий пережат между правым берегом и левым наискось пересекала быстроходная лодка на подводных крыльях — стрела с острым клювом, летящая по воде, оставляя позади себя длинные, ровные, все шире и шире расходящиеся водяные усы...

По вечерам в парке играл духовой оркестр, шло народное гулянье, молодежь толпилась на танцплощадках, работали аттракционы и летние кинотеатры. Но я не принимал участия во всех этих развлечениях и увеселениях, потому что у меня не было денег на билеты. И еще потому, что за две недели своего путешествия я изрядно поистрепался и выглядел, как бродяга. Я отправился в путешествие только в той одежде, которая была на мне, весь багаж мой состоял из альбома для рисования да коробки акварельных красок. Штаны мои были испачканы краской и черными чернилами, которыми я и рисовал, и писал стихи, волосы мои отросли и свисали на затылке косицами. В таком виде я не мог, разумеется, показаться на танцплощадке перед разряженными нижегородскими красавицами.

Но я вовсе и не рвался к этим развлечениям. Днем, пообедав парю пирожков с мясом, я оказывался где-нибудь за городом, обязательно на берегу Волги.

Проходил август, иногда шли теплые дожди с грозами, и ненастье застигло меня где-нибудь в открытом поле. Я промокал насквозь, затем высыхал под солнцем, появлявшимся в небе вслед за грозой на прояснившимся приволжскими просторами. Мои рисунки и начерно записанные стихи иногда намокали под дождем и безнадежно портились, но я не переживал из-за этого. Я мог нарисовать еще много рисунков и написать новые стихи.

Великая ясность наступила у меня в те дни. Теперь я стал понимать, для чего я бросил брата в Москве, *поехал туда, не знаю куда, стал искать то, не знаю что*. Я совершил свое неожиданное путешествие ради того, чтобы оказаться там, на берегах Волги, и обрести ту ясность души, какая пришла ко мне. Вся жизнь впереди, которую мне еще предстояло прожить, предстала в ясновидении тех дней. Мой путь должен был пролечь через просторы бескрайней России и привести к тем неизвестным стихам, рассказам, повестям и романам, которые я напишу когда-нибудь.

В те дни я окончательно понял, что хочу *писать свою душу* словами, а не красками. Моя страстная любовь к живописи была, стало быть, обречена...

Пришли деньги от брата, и вместе с этим он сообщил о своем поступлении в институт. Это была большая радость. И большое облегчение: я очень тревожился, что ничем, в сущности, не помог ему, наоборот, бросил одного в Москве... Но обошлось, слава Богу. Только брат, кажется, так и не простил мне той невольной боли и обиды, что нанес я ему тогда, бросив одного посреди московской улицы у трамвайной остановки за Крестовским мостом.

Не мог я объяснить ни ему, ни другим, что многие важнейшие решения, поступки и выборы исходили не от меня, а как бы от какого-то чужого, неизвестного мне волевого начала. Порой я совершал важный новый шаг в жизни не по своему желанию, а даже вопреки ему — глубоко переживая, мучаясь и раскаяваясь при этом. И тогда я никому — и прежде всего самому себе — не мог с уверенностью сказать, что я прав, что принятое решение единственно верно и послужит моему благу. Я просто шел навстречу тому, что меня ожидало, никому ничего не объясняя, но с твердой верой в душе, что все это нужно не для маленькой, скверной моей выгоды и пользы, а для какой-то высшей работы, которую я должен был совершить. И это чувство тайной, таинственной ангажированности моей судьбы я ощутил еще в раннем детстве, о чем и пытался рассказать в этой откровенной автобиографической повести.

В армию

Вернувшись в Москву из своего путешествия, я нашел брата в самом радостном настроении, какое бывает только в молодости у тех, кто поступает после школы в университет или институт. Дорога в будущее открыта! Жизнь начинается с большой удачи! Я и сам был счастлив за него и гордился им. Ведь он с ходу, с первого раза, «взял приступом» Москву! Столичный Первый медицинский институт являлся, пожалуй, самым престижным из медвузов страны!

Наступил сентябрь, время начала занятий во всех учебных заведениях. Мы с братом по-прежнему жили в домике возле Рижского вокзала. Он еще не получил места в общежитии, но мы пока не беспокоились по этому поводу, потому что в Москве стояли теплые дни, и в нашей хибарке жилось нам привычно и весело.

Брат стал ходить в институт, а я снова задумал не на шутку. Первого сентября я не пошел в училище, потому что сидел дома и писал повесть. Чтобы никто меня не отвлекал и чтобы самому не соблазняться, я просил брата, чтобы он, уходя утром на занятия, запирал меня в комнате на всякий замок. И он навешивал на дверь этот большой замок, и уезжал в институт, и приезжал только вечером, а я, стало быть, целыми днями писал, находясь дома в добровольном заточении.

Так прошел весь сентябрь. На занятия в училище я за это время ни разу не выходил. На сердце у меня камнем лежало тяжелое беспокойство, чувство не-

благополучия, которое я старался подавлять и забывать в упорной работе над повестью. И чем дольше длился мой прогул, тем беспокойство все нарастало.

Повесть была наконец завершена. И я впервые прочитал ее вслух в присутствии одного человека, старшего брата моего друга Валерия Костионова. Этот человек, Геннадий, почему-то воспринял мое сочинение с крайним раздражением, с удивившим меня возмущенным видом, как будто я нанес ему какое-то личное оскорбление. Он чуть не плевался, высказываясь о моем несчастном опусе, и называл его попыткой ничтожного сопляка распутить перед всеми свои сопли! Более удивительного критического отзыва мне трудно было бы и ожидать.

Тем более что Геннадий был обычно человеком мягким, очень деликатным, ко мне относился хорошо, хотя и несколько покровительственно, но на то у него были основания, потому что он был лет на десять старше меня, женат, имел ребенка, жил не в общежитии лимитчиков, а в отдельной квартире. И хотя он был простым рабочим, безо всякого образования, но тянулся к культуре, к искусству: читал много, собирал пластинки с классической музыкой, вырезал по дереву портреты великих композиторов, вытачивал из бронзы красивые электрические светильники, наборные люстры, дверные ручки. Словом, это был классический русский «рабочий-аристократ», разлива шестидесятых годов. Человек непьющий, не ругающийся матом, не устраивающий мордобой своей жене. Тем не менее в своих увлечениях и занятиях искусством такой «аристократ» обречен, увы, всегда быть только любителем и дилетантом.

Его отзыв на мое первое прозаическое сочинение и явился, пожалуй, тем обычным выражением отрицания и неприятия моих сугубо личностных начал, какое испытал я впоследствии со стороны многих рецензентов, редакторов, коллег-писателей. Их всех, как и Геннадия, раздражало в моих сочинениях слишком откровенное желание раскрыть какие-то потаенные уголки своей души. Но что делать, если твое обнажение души не нравится людям? Первая повесть невольно несла в себе самые искренние чувства моего молодого, сумбурного сердца — тем и была неудобственна и неприлична, как бывает неприличным поведение человека, не знающего этикета в обществе и ориентирующегося только на свою искренность и откровенную исповедальность... Словом, что бы там ни было, но первая моя попытка создать более или менее крупное произведение не увенчалась признанием и успехом. Эта повесть ушла в небытие, никогда не увидев печатного станка и не узнав больше ни одного читателя!

Тем временем пришла по почте повестка из военкомата. В прямоугольной бумажке розового цвета возвещалось, что я на основании Закона о всеобщей воинской повинности подлежу в этом году призыву в Советскую Армию.

По положению я, студент четвертого курса, мог получить отсрочку от призыва вплоть до окончания училища. Для этого мне нужно было только сдать повестку в деканат, а уж оттуда последовало бы ходатайство в военный комиссариат, и меня оставили бы в покое.

Но я решил идти в армию.

Решение это было для меня отчаянным. Ничего я тогда не боялся больше, чем армии. В то время служили солдатами три года, а матросами на флоте — четыре. Что за жизнь в армии, что за порядки, какие «тяготы и лишения» приходится там претерпевать, я хорошо знал по рассказам тех же братьев Костионовых, которые оба в положенное им время отбыли срочную службу.

Были и другие мои знакомые, приятели по строительному общежитию и студенты училища более старшего, чем я, возраста, которые уже отслужили в армии. Ничего, кроме отвращения, похоже, не вынесли они из своего армейского опыта. Что армия, что тюрьма, считали они. Только в тюрьму человек попадает за какую-нибудь провинность, а в армию загребают всех подряд и три года держат там в жестокой неволе ни за что ни про что.

Сейчас мне трудно объяснить, почему я решил пойти на этот шаг. Но хорошо помню то давнее чувство неотвратимости и обреченности, что охватило меня в те дни. Опять я совершал нечто, чего мне вовсе не хотелось делать, что

даже было для меня страшным и отвратительным и что приносило и мне, и всем тем, кого я любил и кто любил меня, одни только страдания.

И опять я никому не мог объяснить, что действовал так не потому, что желал себе блага или какой-нибудь выгоды, — о, нет! Какая тут выгода, какое там благо! Смертельная тоска наваливалась на меня — идти в эту армию... Может быть, опять проявилось суровое, непреклонное повеление судьбы и я покорно подчинился. Может быть, решительная перемена живописи на литературу глубоко ранила мою душу и я просто решил бежать от всего подальше, глубоко погрузиться в мутные, холодные волны жизни и плыть к свету какой-то новой истины. А может быть, попытавшись написать первую книгу, я и на самом деле почувствовал всю слабость своей души и недостаточность ее содержания для того, чтобы совершать писательский труд, и надо было мне «идти в люди», по выражению Максима Горького, в родном городе которого я недавно побывал.

В эти ясные, прохладные дни осени, я много гулял по Москве, иногда с братом. Я пока что ему не говорил, что скоро должен уйти в армию. Острая жальность обжигала мне сердце, когда я, глядя на своего юного, изящного брата, думал о предстоящей разлуке. Он так был привязан ко мне, и я так его любил! Брат был совершенно счастлив, что по моему совету приехал в Москву, по моему же совету поступил в медицинский институт и теперь жил вместе со мной и предвкушал самые счастливые дни. Я был в то время для него всем — опорой и надежным вожатым в этом мире, в этом громадном незнакомом городе. И мне тоже было радостно сознавать, от какого лиха московского одиночества я могу уберечь его благодаря тому, что я рядом с ним, что через все это уже прошел на своем опыте — и тем самым как бы все взял на себя... Могу уберечь, да видно, не уберегу теперь.

И ему так нравились мои стихи! Пока что он был единственным человеком, которому они нравились. Однажды мы шли с ним по дорожке Александровского сада, мимо кремлевской стены, и брат на ходу тихонько насвистывал какую-то мелодию. С высоких деревьев облетали сухие листья, падали на дорожку, застилая асфальт, и тихо шелестели под ногами. Я вдруг остановил брата, тронув его за плечо, отошел в сторону, присел на садовую скамейку, достал записную книжку и записал новое, только что родившееся стихотворение. Затем я прочитал стихотворение брату, и юное корейское лицо его засветилось в наивной и чистой радости восторга. А когда я сообщил ему о скором своем уходе в армию, это же лицо мгновенно исказилось от испуга и горя.

Перед самой отправкой в армию я зашел в училище попрощаться. Я попал прямо на урок рисунка, на котором сокурсники трудились над портретом бородатого натурщика, и весьма буднично, в несколько минут, распростился со своими товарищами. Никто из них не успел выразить ни удивления, ни сожаления или сочувствия по поводу моего ухода в армию. Шел урок, преподаватель был в аудитории, отвлекаться от дела было некогда, к тому же я слишком скоро попрощался и удалился. словно торопливо бежал от всех. Но и за те несколько минут, что пробыл я с сокурсниками, по их лицам, ставшим мне привычными за три года совместной учебы, я понял, что уже стал для них чужим.

Рано утром ко мне приехали мой друг Валерий Костионов и его жена Алена — проводить до сборного пункта. Валерий, старый солдат, соорудил мне из наволочки и куска веревки что-то вроде вещмешка, куда я уложил хлеб, колбасу и по совету друга еще и зеленую эмалированную кружку с алюминиевой ложкой. Одевшись в старое, драное пальто и самые плохие свои штаны, я вместе со своими провожающими вышел из дома, простился с хозяевами, ждавшими меня на дворе, и зашагал впереди своего маленького отряда к трамвайной остановке.

На площади у ВДНХ уже шумела большая толпа, взвизгивала гармошка и стояли в окружении провожающих такие же наголо остриженные, как и я. и также одетые в старое дранье отбывающие новобранцы. Невыносимая тоска стиснула занывшее сердце, когда я увидел все это. Заплаканных мамаш и «невест». («Эх, невесты! Эх, курносые!») — кричал, бодрясь, синеглазый новобра-

нец.) Эти кривые улыбки натужно веселящихся рекрутов, их тоскливые, испуганные глаза, оттопыренные уши на стриженных головах, бугристые серые затылки... Отныне я становился одним из них — скоро должен буду шагнуть в эту оборванную толпу и смешаться с нею...

До последней минуты я старался держаться достойно, шутил с Аленой и даже завел с Валерием какой-то книжно-философский диспут. Я очень страдал за брата, которому было, может быть, хуже, чем мне. У него было нежное сердце, могущее любить и привязываться к человеку с необыкновенной силой... Но почти до самого конца и брат держался превосходно, о чем-то живо разговаривал с Аленой, перебрасывался шутками с Валерием, громко, залившись хохотом, как это мог делать только он... Но вот красноглазый офицер, еще не просохший, очевидно, после вчерашней пьянки, вышел перед толпой и приказал призывникам проходить за железные барьеры на территорию сельхозвыставки. И они друг за другом потянулись туда, оборачиваясь, прощаясь издали с родными. Я тоже засобирался — обнялся с Костионовыми, потом подошел к брату...

— Ну, прощай,— сказал я ему, стараясь улыбнуться.

И тут он вскрикнул — как маленький ребенок, как раненый заяц. Не заплакал — мгновенно взорвался отчаянным плачем. И сквозь рыдания закричал:

— Почему «прощай»? Ты это зачем — «прощай»? Ну, куда ты, старый? Куда?!

Я кинулся к нему, обхватил его за плечи, стал трясти, что-то невнятное бормоча. И тут братишка мгновенно изголовился и нанес мне в корпус, точно в солнечное сплетение, такой мощный хук, что я мгновенно задохнулся и согнулся пополам. И в таком виде — полусогнутый, с разинутым ртом — я и направился к железным барьерам. Оглянувшись напоследок, я увидел, как Валерий крепко держит, прижав к себе, моего маленького брата, который рыдал, спрятав лицо на его плече.

Он занимался боксом, выступал в весе пера, достиг высоких спортивных разрядов и даже участвовал в межреспубликанском турнире среди юношей в Минске... Классный удар он нанес мне, хотя и был слеп от слез! Чуть не нокаутировал меня... И я вполне заслуживал этого. Он звал меня «старик, старый».

За воротами сельхозвыставки, перекрытыми железными передвижными барьерами, в укромной боковой аллее стояли автобусы, поджидавшие призывников. Подтянутые сержанты встречали нас возле них и по счету запускали в раскрытые передние дверцы.

Я влез в один из автобусов, нашел себе место у окна и там, уткнувшись в руки, дал волю слезам. Притихшие новобранцы молча смотрели на меня. Никто из них не плакал, только я один... Всех их провожали подвыпившие родные, разряженные «невесты» и многочисленные друзья-приятели. Меня провожало всего три человека. И никакой невесты — только брат.

Автобусы привезли нас не в воинскую часть, а, к моему удивлению, обратно в центр Москвы и прямехонько к зданию военкомата на улице Кирова. Всех призывников выгрузили, погнали в здание и заперли в огромном пустом зале, где не было никакой мебели. Там продержали нас без обеда до самого вечера, а потом явился давешний красноглазый офицер и зачитал список фамилий, среди которых оказалась и моя. И этот угрюмый с похмелюги старший лейтенант согнал всех зачитанных в один угол зала, как бы отделив овнов от козлиц, и объявил торжественно, что мы будем проходить воинскую службу в одном из важнейших родов войск, в замечательном воинском подразделении, в прославленном, прекрасном городе на юге страны.

В ту же ночь сержанты Каминский и Андриюшенко повезли всех отобранных — вновь на автобусах — в город Орехово-Зуево, где нас заперли в какой-то клуб — со сценой, с занавесом, с рядами ободранных фанерных кресел. И этой же ночью, очень поздно, там состоялся не то митинг, не то торжественное заседание — голодные лысые новобранцы сидели в зале, а со сцены какие-то чинуши произносили патриотические речи.

Армейская школа

Я прослужил в армии три года. Служба мне выпала особенная и, как мне кажется, наиболее неприятная из всех возможных. Хотя и надо полагать, что приятной солдатской службы вообще не бывает. Я попал во внутренние войска, предназначенные для обеспечения охраны мест заключения. Попросту говоря — в конвойные войска.

Чтобы стать писателем, мне пришлось много учиться. Собственно, вся моя жизнь до выхода первой книги в 1976 году была долгим периодом этой учебы, а из всех школ жизни самой тяжелой была армейская. Но она была и najważнейшей — пройдя эту школу и уцелев, я уже мог ничего не бояться. Судьба устроила так, что через армейско-конвойный опыт я познал все самое худшее, самое тяжкое в существовании человека. Жизнь в неволе под угрозой смерти, рабский, каторжный труд, выживание в лагерях, погибель без всякой надежды на спасение и милосердие стали самым главным экзистенциальным опытом нашего народа. *От сумы и от тюрьмы не зарекайся* — каждый мог пройти через такой опыт существования. Я через него прошел, попав в конвойный полк МВД Ростова-на-Дону.

Кроме обычных всеармейских испытаний — казарменной муштры, шагистики на плацу, скотской беготни в строю, при полной боевой выкладке, службы в караулах и кухонных нарядах, учебных боев, стрельбы, штыкового боя и т. п., конвойный солдат испытывал и другой гнет — мрачной действительности лагерей, которые он должен был охранять.

Эта действительность содержала в себе одно трагическое качество, о котором мало кто знает, не побывав в условиях тюремно-лагерной системы. Речь здесь идет о двуединстве стража и заключенного — охранник и зек находятся в одинаковой цепи, солдат и охраняемый им заключенный смотрят друг на друга далеко не дружественными глазами. Нет в мире людей более страшных взглядов, чем те, которыми порой обмениваются узник и его страж.

Рисовать картин армейской жизни не буду. Нет никакой на то охоты. Изображать посредством художественного слова мне хочется только то, что красиво, или то, что волнует сердце загадочной тайной бытия. Армейская же, солдатская жизнь — вся от самого начала и до последнего часа — представилась мне безобразной, и в этом безобразии не было, увы, никакой загадочности. Одна только тупость и примитивная власть насилия безликой системы над человеческой личностью...

Но армия — это человеческая жизнь, солдаты — это всего лишь молодые люди в возрасте 18—20 лет. И, согнанные в казармы, поставленные в воняющие портянками и сапожным кремом шеренги, тысячи и тысячи молодых солдат в армии живут своей жизнью, которая еще напоминает детскую игру, похожую, правда, на жестокие шутки не очень добропорядочных мальчишек.

В отличие от лагерной неволи армейская располагает одним спасительным фактором, которого нет и не может быть в среде заключенных. Там невозможны горячая дружба и глубокое доверие к другу. Там человек человеку и на самом деле — волк. Там скудный хлебный паек — *кровная пайка* — выдается каждому отдельно, и зек сам должен съесть ее, ни с кем не делясь. Иначе он не сможет выжить.

Солдатская же дружба выявляет лучшие качества молодости и поистине становится спасительной в том, чтобы человек сохранил душу в условиях жесточайшей неволи. Солдаты едят из общего котла и кашу делят, не глядя с ревностью и ненавистью на того, кто раскладывает ее по мискам. И нарезанный кусками черный хлеб лежит на солдатских столах кучей, на широких блюдах, как и во времена домашних семейных трапез.

Чтобы солдатам подружиться, многого не нужно — достаточно молодости и необъяснимого чувства взаимной симпатии. Она возникает самым неожиданным образом и по самым разным причинам.

Я уходил в армию уже почитав Шопенгауэра, Спенсера, понимая живопись импрессионистов, постимпрессионистов, страстно любя картины Ван-Гога, то есть был уже в какой-то мере молодым философом и эстетом. Но это не поме-

шало мне крепко подружиться с Санькой Трубановым, деревенским парнем со Владимирчины, который, может быть, вообще ни одной серьезной книги не прочитал в жизни. Дружба эта началась еще в товарном вагоне эшелона, в котором везли нас, призывников, из Орехова-Зуева в «прославленный» полк на юг.

Перед посадкой нас привели строем от клуба, где происходил ночной митинг, к железнодорожной станции и остановили рядом с поездом. И тут пришлось простоять в строю довольно долго.

Тускло освещенная редкими фонарями, колонна призывников подавленно молчала, и лишь голоса сержантов, сопровождающих новобранцев, резко и грубо звучали в темноте, когда те подавали команды своим подопечным. В нашей колонне кто-то спереди, не стерпев нужды, изготавился и начал мочиться, не выходя из строя. Глядя на него, рядом еще несколько нуждающихся расстегнули штаны и стали звучно поливать пристанционную землю. Тут на них соколом налетел сержант Каминский.

— Отставить! *Ви што?* — закричал он яростно и возмущенно.

— *А ми што?* — передразнивая сержанта, произнес кто-то.

— Как што? Стоит в строю и *ссит!*

— А что делать? Может, х... на узел завязать, товарищ сержант? — приторно-озабоченным голосом произнес тот же смельчак из колонны. Хохот разнесся по ней после слов новобранца.

Это и был Санька Трубанов. Мы с ним оказались в одном вагоне. Осенние ночи были уже холодными, и поэтому посреди вагона на полу была поставлена железная печка, жестяная труба выводилась в вагонное окно, сбоку от раздвижной двери. Печка топилась, и пламя, колеблясь, освещало стенку вагона, по которой двигались большие черные тени. Я изрядно промерз в своем стареньком пальто, к тому же устал от впечатлений прошедшего дня и ночи. Свернувшись прямо на полу возле теплой печи, я пригрелся и уснул.

Мне приснилось, что я лежу на пляже, где-то на Оке-реке. Припекает жаркое солнце, я переворачиваюсь на песке с боку на бок, но становится все горячее и горячее. Наконец спина моя загорелась, задымилась — я проснулся и увидел, что и на самом деле загорелся оттого, что лежал очень близко к раскаленной докрасна печке. Пальто мое на боку протлело круглой дыркой, от едкого дыма щипало глаза, новобранцы вокруг хохотали надо мной, а Санька Трубанов хлопал меня по спине, по огненной дырке, и тушил тлеющий вонючий огонь.

Наутро, когда наш эшелон сделал остановку Бог знает на какой станции и в какой стороне, были раздернуты вагонные двери, и публика попрыгала из вагона вниз. Я последовал за другими, полагая, что все рванулись из вагонов немного пройтись, размяться. Но тут заметил, что новобранцы из нашего и из других вагонов бегом понеслись куда-то в одну сторону. Меня подхватил под руку Санька Трубанов и коротко бросил на ходу:

— Буфет открыт!

Я мгновенно понял его, и мы побежали вместе в направлении видневшегося вдалеке вокзала, крашенного в яично-желтушный цвет всех казенных образчиков советской недвижимости. Но еще на полпути к вокзалу мой новый друг, бежавший впереди в густом потоке новобранцев, вдруг приостановился, дождал меня, а затем потащил за рукав куда-то в сторону. Ни о чем не спрашивая, я последовал за ним. Мы пришли к маленькому ларьку, стоявшему на отшибе, у самого края привокзальной площади, и там обнаружилась, несмотря на ранний час, копошившаяся в тесноте дощатой будки продавщица! Ничего особенного в ларьке не оказалось — только один плодово-ягодный ликер, удивительно дешевый, правда. Мы с Санькой взяли по пол-литровой бутылке и, довольные, побежали назад к вагону.

Я никогда не мог пить как следует: таков мой организм. Тогда, в молодые годы, я почти в рот не брал вина, водки или каких-нибудь других крепких напитков. Но в то студеное октябрьское утро, разжившись на каком-то безвестном полустанке бутылкой дешевого ликеру, я выпил его весь, из горла, запро-

кинув голову, подняв посудину вверх дном. Этот прием лихо продемонстрировал мне новый дружок, и я постарался от него не отстать. Как же этот тягучий, сладкий и почему-то обжигающий ликер трудно шел в мою глотку! Но я пропихивал его в себя, чуть не помирая, и пропихнул-таки все до капли. После этого не помню, как и где я свалился с ног и не то проспал, не то был в беспамятстве до самого конца поездки, то есть почти сутки. Меня еле растолкал перед выгрузкой тот же Санька Трубанов, сероглазый, лобастенький, невысокий, стройный и крепкий владимирский паренек.

Когда нас вывели с платформы на площадь, мы с Санькой Трубановым оказались почему-то в самом первом ряду большой колонны оборванцев-новобранцев, которая после построения двинулась от вокзала по широкой улице. Здесь было очень тепло, деревья стояли еще зеленые, навстречу по улице семенил ножками серый лопоухий ишачок, тащил за собою двухколесную телегу. На ней ехал и дремал, свесив голову на грудь, какой-то старый человек.

Ишачья повозка приблизилась к нам, я стянул с себя пальто, бросил в тележку и попал точно — пальто упало прямо перед носом у старика. Он только глаза вылупил, очнувшись, но даже головы не поднял на нас. Колонна зашумела, загоготала; последовав моему примеру, новобранцы стали скидывать свою верхнюю одежду старику на тележку и мигом навалили целую гору тряпья, над которой едва возвышалась голова растерянного погонщика ишака.

Нас не сразу привели в воинскую часть, а сначала препроводили в городскую баню. Никогда раньше не знаящий, что такое казенное коллективное мытье, я испытал настоящее потрясение. Говорят, что театр начинается с вешалки. Я скажу, что армия, концлагерь — всякая государственная неволя — начинаются с бани. Таков порядок во всех пенитенциарных учреждениях тоталитарных систем. Баня, дезинфекционная камера («вошебойка»), парикмахерская — три первых ступени при входе в лагерь.

Городские бани в определенные дни обслуживали только воинские части. В эти дни должны были быть вымыты все, сколько бы ни оказалось солдат в подразделении. И в банный день полка, если баня была не очень большой, а солдат в полку было много, начинался для нас веселый ад. Голые, мокрые мельтешили в тумане влажного пара шумные, мускулистые грешники.

Те, кому доставались тазики, пристраивали их на широких моченных скамьях или же прямо на полу, в проходах между скамьями, и торопливо намывливались кусочком серого хозяйственного мыла. А те, которым тазиков не хватало, ждали, когда они освободятся, теснясь рядом и устраивая поистине адскую возню и разного рода банные шуточки. Самыми популярными и невинными среди них были: стащить тазик, когда товарищ намывливал голову и оказывался с закрытыми глазами, или же, когда тот нагибался над тазиком и споласкивал голову, попытаться поставить ему клизму с помощью упомянутого кусочка мыла, размяв его и придав ему удобную для процедуры форму.

Никаких мочалок для мытья солдатам не полагалось, и они натирались, мыли друг другу спины руками. Для этого времени много не требовалось, да и очередь за тазиком подгоняла, шумно требовала пошевеливаться, и, торопливо намывлившись разок, голый воин окатывался горячей водою и затем пулей вылетал из туманной преисподней моченой в прохладный предбанник. Там его ждали старшина или каптерщик возле стопки чистого белья...

Первая моя солдатская баня осталась в памяти на всю жизнь. Тогда же я впервые прошел через так называемую санобработку. Здоровенный медбрат в белом халате ждал у выхода из моченого отделения, держа в руке палку с рогожной кистью на конце. Эту кисть он сначала окунал в ведро с вонючим дезинфекционным раствором, потом, приказав поднять руки, очень ловко и точно тыкал ею мне в подмышки и в лобок. Весь этот процесс означал одно: отныне я становился государственной скотиной, чья доля известна: ни о чем не думать, жрать то, что тебе дают, делать то, что велят, и бежать туда, куда тебя гонят.

После банно-санитарной обработки нам выдали белье и обмундирование. Его привезли прямо в баню и вручали голым новобранцам сержанты и старослужащие солдаты, беря из ровно сложенных стопок новенькие зеленые при-

ятно пахнущие гимнастерки из х/б, кривые штаны-галифе, белые нательные рубахи и кальсоны... С последними у меня с самого начала службы пошли конфликты. Их не выдавали по размерам, да и неизвестны были нам эти размеры, и мне почему-то всегда доставались такие огромные, что они не держались на моей тонкой талии и, если подтянуть их до конца, приходились мне в самые подмышки. Но я с первого же раза приспособился: оторвал снизу у кальсонных штанин тесемки и пристроил их наверх, туда, где была пуговица над шириной, — получились надежные завязки...

Затем я получил на руки такие ценные и необходимые для солдата вещи, как новые портянки, кирзовые сапоги, широкий ремень с огромной латунной бляхой, посреди которой была изображена пятиконечная звезда, зеленую пилотку. Остальное положенное нам обмундирование и боевую экипировку мы дополучили уже в воинской части, куда нас отвели строем после этого судьбоносного банного процесса.

Началась так называемая «учебка» — процесс обучения молодых солдат, который длился два месяца. Это был, пожалуй, наиболее тяжелый период солдатской службы. За это время молодых парней из деревни и города, из разных краев «нашей многонациональной родины», должны были из стихийного народного полуфабриката превратить в готовый к использованию военный продукт.

О том, что воинская служба у нас особенная, нелегкая и опасная, мы узнали в первый же день после «учебки», когда молодых солдат распределили по батальонам и ротам. В этот день заключенные одного из лагерей вблизи Ростова — в поселке Гниловская — подняли вооруженный бунт, и наш батальон подняли по тревоге и отправили на машинах в лагерь для подавления мятежа. «Вооруженный бунт» состоял в том, что зеки, недовольные чем-то, вышли из повиновения на территории жилой зоны, повыгоняли оттуда всех надзирателей и, наделав из стальной арматуры острых пик, вооружились ими и засели в круговую оборону. Чтобы подавить бунтарей, поначалу батальон войск охраны был запущен в лагерь без оружия, солдаты вошли с одними ремнями, на концах которых мотались тяжелые бляхи. Но зеки быстро расправились с батальоном: частью прогнали обратно к воротам, частью рассеяли по лагерю и кого-то убили, кого покалечили, а кого-то просто избивали до беспомыслия и выбросили на запретку под конвойные вышки...

В те годы, о которых я сейчас вспоминаю, во времена Хрущева, было объявлено о ликвидации лагерей с политзаключенными, но «контингента» в исправительно-трудовых колониях стало, пожалуй, не меньше. Резко увеличился тогда поток «бытовухи»: скандал, драка в семье, пьяные выходки, мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка или «правил санитарии и гигиены в общественных местах» — за все это граждан стали в спешном порядке судить и на недолгие сроки отправлять в лагерь.

Высшие государственные чиновники быстро поняли, должно быть, что освобождение политических заключенных грозит тем, что машина насилия останется без топлива — миллионных масс лагерных рабов, и было дано, наверное, указание свыше, чтобы подача этого топлива не прекращалась. Милиция и суды заработали со всем возможным усердием. Чтобы человеку оказаться в тюрьме, достаточно было одного лишь заявления в милицию от жены на пьяного мужа. «Бытовухи» в большинстве своем состояли из незадачливых мужей или сожителей, вдруг оказавшихся за решеткой по злобности своих благоверных или любовниц: за синяк, поставленный под глаз, или даже за «изнасилование» своей многолетней сожительницы, которой чем-то не угодил ее любовник. Быт и нравы простого народа и в те годы не отличались высокими этическими нормами, пьющих было немало, мелких нарушителей закона не счесть, и для пополнения тюрем и лагерей «бытовуха» открыла неиссякаемые источники. Пришлось даже открыть новые лагеря. В одной только Ростовской области наш полк обслуживал 12 ИТК и тюрем, среди них один женский ла-

герь. Громадное большинство сидельцев составлял простой народ: деревенские мужики и представители славного рабочего класса.

Незабываемы первые впечатления моей конвойной службы. После «учебки» и недолгих занятий по специальной подготовке нас, молодых солдат, разбросали по ротам и стали натаскивать на практике, отправляя с боевым оружием в различные конвойные наряды. Вместе с опытными старослужащими под командованием сержантов мы стали ходить на вышки в зонах (*караульная служба*), в специальных машинах доставлять с вокзала в ростовскую тюрьму прибывающих из других мест зеков (*встречный конвой*), обеспечивать вооруженную охрану подсудимых в залах суда (*судебный конвой*), а также в спецвагонах, почему-то называемых «столыпинскими», возить в разные города по железной дороге этапированных зеков, сдавая их на станции и принимая новых, словно почту (*плановый конвой*). Кроме этого, принимая в тюрьме заключенных для планового конвоя мы должны были делать генеральный обыск зеков — производить *шмон*, как говорится на тюремном жаргоне.

Скажу, что момент моего перехода из эстета, почитателя Шопенгауэра и Ван-Гога, из художника и поэта в *мента, понку, вертухая* — как называли зеки конвойных — был для меня весьма сложным и болезненным. Когда меня впервые нарядили в ростовскую тюрьму и там я должен был произвести шмон, то есть раздеть догола заключенного, обшарить всю его одежду и белье, затем заставить три раза присесть и встать, я испытал подлинный шок и буквально оцепенел... Мой напарник-ефрейтор отстранил меня от шмона, снисходительно и презрительно молвив: «Эх, салага! Молодой еще...»

Внешний вид заключенных в разные времена и у разных народов имел свои отличительные признаки. По многим американским, итальянским и прочим заграничным фильмам мы можем составить себе представление, как выглядят зеки у *них*. По хронике военных времен и по фильмам о немецких концлагерях мы представляем, как выглядели узники Освенцима, Дахау. Полосатая одежда, исхудалые лица с трагической обреченностью во взгляде... У *наших* отечественных зеков внешнее обличие прежде всего характеризуется крайним убожеством и нищетой. Слово исходя из преднамеренной цели, наша родная пенитенциарная система создала облик зека, какого больше нет нигде в мире. Изуродованные обязательной стрижкой «под нулевку» головы, черные и серые одежды примитивного лагерного покроя и, главное, ватные телогрейки, одни и те же на все сезоны года...

В русской литературе есть такие замечательные книги, как «Записки из мертвого дома» Достоевского и «Остров Сахалин» Чехова, романы и памфлеты Солженицына, «Колымские рассказы» Шаламова. Государственная неволя, содержание людей под стражей, бесчеловечная каторга, чудовищные по жестокости межчеловеческие отношения — все это стало не просто темой для книг, но и обстоятельным и суровым исследованием особенной судьбы России, где тюрьма и острог (лагерь) составляли и составляют существенные компоненты государственности.

Подобные исследования пенитенциарных систем России выявили главные характеристики ее имперского менталитета. Первым по значению признаком является непрерывная, постоянная, беспощадная вражда между властью и народом. Государство как бы находится в состоянии вечной войны со своими гражданами. В этой войне народ только изредка достигал временного успеха (бунты, восстания, революции), а в большей части исторического времени государство брало верх, успешно истребляя сотни тысяч, миллионы своих граждан (опричнина Ивана Грозного, репрессии Петра I, репрессии Сталина) или забирая их огромными массами в плен в качестве политических и уголовных заключенных.

Обо всем этом я тогда еще не думал, разумеется, только начинал постигать науку неписаной, подлинной истории страны и учился отличать правду от внушаемой нам огромной лжи. Она заключалась в том, что нас с пеленок убеж-

дали: мы живем в самой счастливой стране, наш образ жизни — самый лучший в мире...

Но вот по утрам, часов в шесть, стоя на караульной вышке с автоматом на груди, я наблюдал такую картину... Ночь прошла, только что отзвенел сигнал побудки в лагере — резкие частые удары по подвешенному куску рельса, надзиратели пошли отпирать двери барачков, где находятся зеки... Вот серые, сторбленные фигурки их появляются на дорожках жилой зоны, между бараками. Многие из них торопливо направляются к деревянному сортиру, что стоит под самой вышкой, на которой неподвижно торчу я, «попка» с автоматом.

Посетив зловонный сортир, зеки столь же торопливо, зябко горбясь, спешат назад к баракам. На ходу они быстро и безучастно оглядываются на меня. Если среди них попадается знакомый, то махнет мне рукой или кивнет мимоходом. А вот и лагерные доходяги появились у мусорной помойки. Две-три жуткие фигуры копошатся в вонючих отбросах, что-то там выбирают и тут же на месте пожирают... Это лагерные парии, конченые люди. Все человеческое им уже чуждо. Они смердят, гниют заживо. Им жизнь эта вроде бы уже ни к чему. Но и умереть они также не хотят и не могут.

Я стою на вышке и далее наблюдаю пробуждение жилой зоны. За сортиром на крохотном пустыре появляются иные фигуры. Это уже не доходяги — выглядят бодрее, в их движениях заметны некая целеустремленность и точность. Каждый из них припускается на корточки и что-то там колдует. И вскоре на пустыре вспыхивают огоньки маленьких костров. Между двумя поставленными набок кирпичами горят щепки, на кирпичах стоят закопченные банки из-под консервов, в которых варится «цифир».

У меня заряженное оружие в руках. Передо мной «запретка» — огороженный с внутренней стороны колючей проволокой длинный коридор вспаханной и разрыхленной земли. Снаружи лагерь охватывает трехметровая ограда с колючей проволокой, прибитой в несколько рядов на наклонные козырьки. Если кто-нибудь из заключенных (впрочем, любой человек) окажется на запретке передо мной, я должен крикнуть: «Стой! Стрелять буду!» — затем, если тот не остановится, сделать предупредительный выстрел вверх и затем уже «бить на поражение».

Зрелость

По окончании средней школы я получил документ с многозначительным названием: «Аттестат зрелости». Стало быть, усвоив некоторую часть общеобразовательных наук, я был аттестован государственной экзаменационной комиссией на человеческую и гражданскую зрелость.

Но я уверен, что подлинный аттестат на человеческую зрелость я должен был бы получить по службе в армии. Сама жизнь жестоко и круто ставила там вопросы, ответив на которые так или иначе я и заработал бы аттестационные баллы от самой небесной экзаменационной комиссии.

Итак, какие вопросы ставила передо мною судьба и как я ответил на них? Самым первым и самым трудным вопросом был такой: *убивать или не убивать?*

Казалось бы, все ясно — сказано ведь: *не убий*. Но главная христианская заповедь за двадцать веков изжила себя, и на вопрос о том, может ли, вправе ли человек убить человека, уверенно ответила сама человеческая история с ее мировыми войнами, концентрационными лагерями, массовым геноцидом, со взорванными над двумя японскими городами ядерными бомбами. Ответ был положительным: да, вполне может. Пацифизм был с презрением отвергнут нашим веком.

На занятиях конвойной службы мне командирами было внушено, что убивать не только можно, но что это мой воинский долг и гражданская обязанность. Невыполнение же воинского долга — преступление. Итак, убивать надо, необходимо, но — врагов народа, врагов государства. Зеки, являющиеся врагами общества и государства, должны быть застрелены при попытке к бегству, и

называлась сия воинская акция во всех уставах и инструкциях «*применение оружия*».

Узаконенное разрешение на убийство из табельного оружия могло быть реализовано в условиях *правильного* применения оружия. А это означало, что ты мог пристрелить зека только при его попытке к бегству или при нападении, но сделать это надлежало после предупредительного окрика «Стой, стрелять буду» и холостого выстрела вверх. Если все эти формальности будут соблюдены и ты уложишь на запретку бегущего зека, то честь тебе и хвала. Ты получишь какую-нибудь награду, ценный подарок (обычно именные часы) или внеочередной отпуск домой.

Мне хочется думать, что на самый главный вопрос я ответил достойным образом. Потому что никого не пристрелил, «правильно» применив оружие, и нет на моей совести человеческой жизни. Однако что произошло бы, если в один из служебных моментов вдруг выбежал бы заключенный на *запретку* и оказался прямо передо мной?

И хотя мне припоминается, что я как-то однажды самым серьезным образом обдумал это и решил, что убивать не буду, лучше отсижу в тюрьме или два года дополнительно проведу в штрафных батальонах, *не знаю, что сделал бы я на самом деле, случись при мне побег заключенного.*

Но если мне пришлось бы пристрелить человека, действуя от имени государства и вполне *правильно* применив оружие, я никогда не стал бы ни художником, ни писателем. Тому, кому Бог дает милость создавать художественные образы, нельзя убивать, вычеркивать из живой книги бытия людей, существа, созданные по образу и подобию Божию. За одну только душу, вычеркнутую твоей дерзновенной рукою, ты навеки лишишься возможности художественного творчества.

Я убежден, что любой художник является человеком уступающим, а не человеком забирающим. Жертвой, а не карателем. Художник уступает свое подлинное место под солнцем другим — многочисленным и бесконечно обольстительным образам своих произведений.

Осознание такой позиции художника подвело меня и к осознанию цели всей моей жизни на этой земле. Очевидно, не случайно появившись на ней, как и всякий человек, я должен был стремиться к такому образу жизни, каковой и делает меня самим собой. Угадать жизненным инстинктом или осознать разумом свое предназначение и потом стараться следовать этим путем, не изменяя призванию, — такое состояние духа и можно назвать, наверное, достижением полной зрелости человека. К этому состоянию я пришел именно в годы служения в армии, и Бог был милостив ко мне, и решимость идти предначертанным путем не покинула меня и по сей день.

Я думаю, что судьба и Тот, Кто стоит за ней, почему-то берегли меня от излишних тягот и экстремальных испытаний.

Так, во время событий в Новочеркасске, когда наш конвойный полк был поднят по боевой тревоге и отправлен на подавление народного восстания, я находился в госпитале и потому не участвовал, как другие солдаты, в расстреле мирной демонстрации на площади перед зданием райкома партии. Там в основном стреляли из автомата по толпе какие-то вояки с черными погонами, с черными петлицами, они ранили и убили множество людей. Но в самом здании Новочеркасского райкома были в охране наши, краснопогонники МВД. Туда ворвались штурмующие граждане, и стреляли по ним из автоматов трое из нашего полка: командир части, «батя», один лейтенант, полковой комсомольский секретарь, а также малый из хозяйственной роты рядовой Азизов. Они *правильно* применили оружие и впоследствии получили награды...

Что было бы со мною, найдись и я там с заряженным автоматом в руке? Сейчас мне невозможно вспомнить, было ли это событие до того, как я принял решение *не убивать*, или уже после...

Неизвестно, как бы я повел себя и в другом случае, когда из нашего конвоя, снаряженного на строительство свинарника в совхозе, сбежал заключен-

ный Нечипуренко. В день побега он подошел ко мне под вышку и стал со мной *трёкать*, то есть завел некий разговор с умыслом.

Сначала он спросил у меня, кто я по национальности: не якут ли? Я ответил, подчинившись стилю «трёканья», что точно, я и есть самый настоящий якут. На что последовал следующий вопрос: уж не охотник ли я? Разумеется, охотник — был мой ответ. И, когда зек спросил, хорошо ли я стреляю, я сделал, как мне тогда представлялось, натуральное «якутское» лицо и со степенным видом ответил: «Однако белке в глаз попадаю». «Ах ты, собака!» — почему-то выругался зек и вскоре отошел от меня...

Он бежал через другой *периметр*, который находился под наблюдением второго охранника, — нас двое было на вышках, расположенных по противоположным углам квадратной строительной зоны. Каждый из часовых смотрел за двумя полосами запретки, сходявшимися углом к его вышке.

Нечипуренко совершил побег через запретку рядового Маргеева, осетина, и скрылся, не оставив на разрыхленной земле никаких следов. Для этого ему понадобилось преодолеть проволочный забор «в 16 нитей», бросить на запретную полосу доску, перебежать по ней, вытянуть ее за собою уже с другой стороны и оттащить подальше от зоны, чтобы она не вызвала никаких подозрений.

Бедняга Нечипуренко отчаянно рисковал жизнью, совершая побег через запретную полосу, охраняемую не мною, а Маргеевым. Я-то имел обыкновение писать стихи, находясь на конвойной вышке, и почти не наблюдал за своим поднадзорным участком. А порой, глухими зимними ночами, я просто укутывался в караульный тулуп, ложился на пол вышки лицом к небу и любовался звездами. Все эти безответственные действия мои были вполне сознательными: я уже к тому времени пришел к решению, что в любом случае не буду стрелять в человека.

Побоявшись меткой пули «якута-охотника», Нечипуренко подставил свою голову опасности несравнимо большей. Ибо мой напарник был настоящее кровожадное чудовище. Маргеев спал и видел во сне, что когда-нибудь зеки попытаются во время его дежурства совершить побег, и уж тогда-то он не растеряется! Просто удивительно, почему этот смуглый, чуть полноватый красавчик, похожий на сладкоглазого киногероя какого-нибудь расхожего индийского кинофильма, в тот раз столь оплошал и прозевал свое счастье...

Маргеев был известен всей нашей роте и всему Суховскому лагерю тем, что он стал как бы своим, домашним, экзекутором-любителем. Когда надо было особенно жестоко избить какого-нибудь зека, насадить на него наручники, нагнать на него страху, начальство всегда вызывало на вахту Маргеева. В конвойной роте у него было и свое особенное служебное положение — он был приставлен к караульным собакам, должен был на ночь выводить их на запретную полосу и сажать на цепь, которая со звоном ходила на железном кольце по длинной проволоке, натянутой вдоль забора жилой зоны. На собак полагалось дополнительное мясо, и собаковод частенько им не докладывал, часть варил для себя или устраивал шашлык для своих земляков-кавказцев. И еще Маргеев добровольно брался резать ротных свиней и кастрировать поросят, делая все это с явным удовольствием. Так же охотно он стриг и брил солдатские головы, орудуя той же сверкающей бритвой, которой холостил кабанчиков... Для чего-то он однажды взял да и выхолостил громадных, свирепых караульных псов, Япона и Джульбарса. И те разом потеряли свою свирепость, стали толстыми, ленивыми, совершенно перестали нести службу и ночами напролет дрыхли, свернувшись в клубок где-нибудь посреди запретки...

И перед таким жутким конвоиром Нечипуренко осмелился бежать. Видно, жажда воли у него оказалась сильнее страха смерти.

Но весь этот риск оказался ни к чему — зек не убежал далеко. Отчего-то он на следующий же день сам сдался, заявившись в соседнем совхозе Малая Орловка на партийное собрание. И, когда привезли на совхозной машине в зону, несчастного Нечипуренко потащили по приказу начальника лагеря в его кабинет. Вели его под руки, словно больного, подталкивали в спину, пинали на ходу

под зад сопровождавшие его свирепой стаей возбужденные «земляки» во главе с Маргеевым. Смертельно бледный Нечипуренко только умоляюще переводил глаза с одного конвоира на другого и жалким, неубедительным голосом просил: «Только не бейте меня, ребята! Не бейте меня, ребята!»

Но его завели в кабинет начальника лагеря и, видимо, так избили, что впоследствии, увидев однажды Нечипуренко в зоне, я едва узнал его. Раньше это был длинный, «мотыльной», как говорили в лагере, усатый и «базлаистый» малый, то бишь любитель шумного разговора на публику. А теперь передо мной брел, покачиваясь, костлявый и сутулый старик с пергаментным лицом, который глухо кашлял на ходу и как-то очень страшно, чахоточно плевался в землю, зябко горбясь под серой телогрейкой. Нечипуренко был каюк — он стал доходягой.

Я вернулся из армии невеселым, недоверчивым человеком, в душе своей сходным со всеми горестными людьми моего века, которым пришлось пройти через лагерную жизнь. Я находился по другую сторону колючей проволоки, но все равно это была лагерная жизнь. Она оказалась лишь чуть иною своим ощущением меньшего гнета на душу всей этой концлагерной пакости, меньшей беспросветности личных унижений, чем это было у заключенных. Потому что в наших руках частенько бывало заряженное боевое оружие, из которого можно было стрелять, когда подтолкнет тебя к крайней черте. Стрелять в того, кто дьявольски унижает в тебе человека. Стрелять в себя, в свою грудь или в голову, если ты не сможешь одолеть дьявола. И я думаю, что каждому солдату нашей доблестной армии, проходившему обязательную службу, хоть раз хотя бы и мимоходом приходила в голову мысль о самоубийстве.

Но что бы там ни было — в армии впервые я ощутил большое дыхание поэзии. Было немало написано стихов, значит, было немало счастливых минут в жизни. Свои стихи, тщательно отработанные и переписанные набело, я отправлял своему брату. К концу второго года службы я получил из Москвы известие, что мои стихи прочитал знаменитый тогда поэт и драматург Назым Хикмет, турецкий эмигрант, живший в Советском Союзе. Оказывается, брат смог каким-то образом передать ему подборку моих верлибров. А вскоре я получил и личное письмо от Назыма Хикмета. Оно начиналось так: «Брат! Я не знаю, давно ли вы пишете, но ваши стихи мне очень понравились...»

Это было самым первым дуновением ветерка мне в лицо из чудесного мира поэзии и литературы.

Стень

Благодаря письму Назыма Хикмета, которое пришло в конце второго года службы, я получил солдатский отпуск сроком на десять дней и смог съездить в Москву. Совпало это как раз с тем временем, когда произошел побег заключенного Нечипуренко из моего конвоя, и мне бы не видать никакого отпуска, если бы я не догадался показать письмо командиру роты, старшему лейтенанту Багратяну. Тот, в свою очередь, показал письмо командиру полка, подполковнику Малютину. И когда случился побег и ранее объявленный мне отпуск был отменен, «батя» отдал личное распоряжение, чтобы мне отпуск все же дали — вопреки приказу его заместителя по политической части, подполковника Хохлова, который и отменил мой отпуск. Произошел этот беспрецедентный для армии случай потому, наверное, что Малютин оказался более культурным, а может быть, попросту более тщеславным, чем Хохлов, — командиру части было лестно, что его солдат получил письмо от прославленного поэта Назыма Хикмета, а комиссару, видимо, на этого Хикмета было наплевать. Или Хохлов просто лучше знал меня как солдата и как человека: я был никудышный солдат и совершенно ненадежный для государственной системы человек.

К тому времени окончательно утвердилось во мне сознание, что вся наша жизнь держится на чудовищной лжи и откровенном трусливом лицемерии. Я созрел. И я сделал выбор: не буду служить данной системе порядка, останусь по

отношению к ней навсегда в положении чужого, постороннего. На долгие годы я выбрал жизненную позицию «внутреннего эмигранта». Сейчас, когда «Союз нерушимый» развалился, очень многие любят трепаться на публике, что они всегда ненавидели коммунистический режим, хотя и вынуждены были ему подчиняться. Мне не хочется, чтобы меня приняли за одного из таких лицемеров.

Во время службы в армии я ясно определил свои отношения с государством, с обществом, с социумом. Во мне в полную силу проявился синдром отчуждения человека XX века. В *нашем* веке, который уже заканчивается, главным человеческим конфликтом является столкновение индивидуального с тоталитарным, личностного начала с государственным, единичной, частной судьбы со всеобщим историческим явлением. При столкновениях маленького человека с *беспредделом* тоталитарного режима, или с финансовым чудовищем капиталистической корпорации, или с военной мощью сверхдержав происходит с человеком то же самое, что произошло с неизвестным прохожим на мосту в Хиросиме во время первого взрыва атомной бомбы — он превратился в неясную тень, в пятно, оставшееся на каменной плите.

Синдром отчуждения одинаково делает всех несчастными теньями, и несчастье людей нашего века совершенно особенное, не похожее на все ранее известные виды человеческих несчастий. Внешне существуя вполне даже благополучно, выглядящий самоуверенным, наш брат, жилец XX века, порой отсутствует душой в той реальной жизни, в которую брошен волею судьбы.

Например, как бы я мог, невольно оказавшись свидетелем действий своих современников, душевно соучаствовать с ними, если на моих глазах тот же Маргеев, смуглый, с черными бархатными глазами, тоненькими усиками, с пистолетом на боку, избивал возле спецмашины огромного, скованного наручниками зека, кулаками бил его по лицу, ногами старался попасть в пах. Тот протяжно выл и стонал, сгибаясь под ударами, но не смел сделать и шагу от машины, зная, что в этом случае конвоир тут же его и застрелит. («*Шаг влево, шаг вправо, прыжок вверх — считай, побег.*») Наказывал его Маргеев за то, что у зека оказались слишком длинные ноги и он никак не мог поместиться в крошечной кабинке одиночной камеры, куда надо было посадить его, «*особо опасного преступника*», при этапной перевозке на спецмашине. У зека торчали наружу из узкой кабинки его огромные, костистые колени, и дверцу малой камеры нельзя было закрыть, как бы несчастный ни старался поджать под себя ноги...

Закончился этот эпизод тем, что Маргеев снова загнал в камеру зека, заставил его задрать колени вверх, чуть ли не к самому подбородку, и в таком виде притиснул его дверью, нажал на нее изо всех сил снаружи, уперевшись ногой в противоположную стенку кузова, и с трудом набросил рукоять запора на скобу. Отчаянные крики заключенного перешли в сплошной рев, Маргеев еще раз саданул по двери ногой, обутой в тяжелый сапог. Затем вмиг успокоился и даже улыбнулся, обаятельно, белозубо, словно пресловутый герой индийского музыкального фильма. С этой «индийской» улыбкой он и отъехал — машина стронулась с места и отправилась в дальний этап, сопровождаемая дикими криками запрессованного в малую камеру зека.

Нет, я не смог бы или не захотел бы жить, если бы окончательно ощутил себя безнадежным пленником своего времени, своей эпохи — страшной, великой, завершительной, неимоверно печальной. Не захотел бы «быть в бедламе нелюдей», как написала Марина Цветаева, и отказался бы «выть с волками площадей». Но я научился тогда уходить из своего времени — с открытыми глазами весь уходить в сон, переноситься в *страну поэзии* — прекрасную, как обещанное Новое Царство. В те самые трудные годы моей жизни я написал много стихотворений — и каждое из них было *моей* попыткой побега из концлагеря жизни.

Чтобы оказаться в своем историческом времени, человеку попросту надо в нем родиться. Но, чтобы стать *человеком своего времени*, надо прожить в этом времени достаточно долго, чтобы сформироваться и созреть как личность. Я стал человеком XX века в советском варианте. Иным я стать не мог.

Правда, во мне текла корейская кровь, древняя, ни с чем другим не смешанная, тревожная кровь, которая текла и в жилах средневекового поэта Ким Си Сы-па. И это обстоятельство придало некоторую особенность при формировании моего варианта «хому советикуса».

Как человек последнего века тоталитаризма, безжалостно подавляемый им, я скрыл, увел свою душу в глубины внутреннего мира. Как человек Востока и как кореец, несущий в этой душе древний *хан*, некую философскую печаль, я внес ее в строки стихов и страницы прозы, осуществленных мною на русском языке.

Широкая ровная степь, полынная, горько-соленая орлиная степь за Сальском, где прошел последний, третий, год моей армейской службы, стала для меня наглядным образом — символом отчужденности моей собственной души в этом огромном мире. Над этой степью в широком и высоком небе реяли призрачные миражи. Может быть, их видел только я один. В причудливых картинах, возникших над безжизненно ровным горизонтом, брезжили и медленно истаявали огромные великаны. Впоследствии они должны были появиться на страницах моих романов и повестей, на моих живописных полотнах.

Жаркая, словно раскаленная печь, огромная степь подавляла своим величественным одиночеством. Летний простор степи был вымазан библейской желтоватой глиной, присыпан *прахом*, из которого был когда-то вылеплен и человек. К осени этот прах темнел, как бы от усталости долгого беспощадного зноя, и тогда над ровным, словно отрезанным по линейке, краем степи поднимались колоссальные пыльные вихри. Они тоже были замешаны на том же прахе, что и любой человек, что и я сам.

О, как ясно видно в степи, что громадная Земля тоже существует в одиночестве, что ей нет дела до всех остальных далеких небесных тел — звезд, лун и планет! И мне не было дела до скопления солдатских душных тел в казарме, до их грубых шуток, звонких голосов и тяжелой матерщины. Находясь ли в строю, в походной ли колонне, томясь в духоте крошечной караулки для сменных часовых, прыгая на утренней физзарядке вместе с товарищами своими, я существовал один, неизменно один, выпав душою из окружающей атмосферы всеобщего армейского энтузиазма.

Да, действительно моя душа оказалась похожа на пустынную степь. По ее просторам были разбросаны отдельные курганы и небольшие поселки людей, протянулись оросительные каналы. По проселочным дорогам катили машины, поднимая пыль до небес, в небе плавно кружили орлы. Но все видимое вокруг пространство мира было одним-единственным тихим, задумчивым существом. Да, степь вошла в мою душу и постепенно, окончательно завладела ею.

И до того было беспокойным для меня это поразительное сходство полупустынной Сальской степи с беспомощно припавшей к сухой земле моей душою, что я решил как-нибудь найти способ побыть наедине со степью. Это было равносильно тому, чтобы я встретился с самим собой — и одновременно ушел, оторвался бы от странного мира чужаков, какими были для меня все эти люди из хорошо организованного, грубого, ожесточенного мира: солдаты, офицеры, лагерные надзиратели, стриженные под машинку заключенные в черных рубашках, конвойные собаки, шустрые крысы у лагерной помойки, начальник лагеря майор Алтухов.

Место, где находился лагерь, называлось *хутор Сухой*. Это был унылого вида глинобитный поселок, укрытый в запыленной зелени сливовых садов, с белеными хатами и мазаными желтыми амбарами, крыши которых были сделаны из глины, смешанной с соломой, — в виде горбушек на хлебных буханках.

В стороне от хутора, через широкий пустырь, располагался наш лагерь, окруженный высоким забором серого цвета — того естественного, унылого серого цвета, какой образуется на поверхности некрашенных деревянных сооружений. По углам периметра, на стыках стен этого классического ансамбля русской каторжной архитектуры, торчали вышки для часовых, похожие на ветхие избушки, поставленные на куры ножки.

Около тысячи человек было согнано к этому сооружению, чтобы одни там мучились в неволе и совершали подневольный труд, а другие охраняли их с оруjem в руках, чтобы они не разбежались.

В суховский лагерь я был переведен на третьем году службы. Если говорить правду, то я сам все устроил так, чтобы меня перевели служить сюда. Уже не имеет значения, как я это сделал. Но причиной было то, что Суховская ИТК являлась самым отдаленным подразделением и самым тяжелым по условиям службы. И я решил пройти испытание лагерем именно в этих крайне тяжелых условиях. Я поступил, словно спортсмен, решивший на тренировке пройти через необычайно большие нагрузки. Да, я знал, что наступило время самых серьезных испытаний, при которых выяснится, на что я окажусь способен в предстоящей — еще более трудной, чем сейчас, — жизненной битве.

И действительно, то, что мне пришлось преодолеть, чтобы стать писателем и дотерпеть до того времени, когда мир признает меня писателем, — те огромные, вполне высотой, горные кражи неуверенности и отчаяния мне не удалось бы преодолеть без армейско-лагерной выучки и закалки. Одиночество должно было бы убить меня еще на самых ранних подступах к литературе, если в свое время мне не открылось бы, что только великое одиночество даст мне возможность осуществиться как писателю. И впоследствии, после армии, когда подступало черное лихо, я ни разу не дрогнул, не испугался, ни на минуту не усомнился в том, что все делаю правильно.

15 июня 1963 года наступил день моего рождения, и я подошел к командире роты Багратяну с необычной и довольно нахальной с моей стороны просьбой: предоставить мне увольнение на двое суток. Командир относился ко мне хорошо и увольнительную дал, но полюбопытствовал, куда это я задумал пойти на эти два дня. Я честно признался, что и сам не знаю, просто решил погулять. Он усмехнулся, понимающе глядя на меня, и молча кивнул головой...

В одном из своих рассказов я назвал его «маленький лейтенант». Он действительно был миниатюрен, с бледным красивым лицом обрусевший армянин. Он оказался хорошим человеком, справедливым офицером. Несмотря на явное честолюбие, самолюбие и горячность характера, Багратян обладал подлинной добротой и пытливым вниманием к человеку. Идиотизм армейской жизни, видимо, угнетал его, и он неоднократно пытался уволиться из армии, подавал рапорты. Но армия его не отпустила... Он как-то признался мне, что хотел бы быть журналистом. К моим опытам в поэзии командир отнесся с большим сочувствием... Багратян сильно пил, часто появлялся в части вдрызг пьяным, смертельно бледным — он бледнел при опьянении, — свесив на грудь бессильно мотающуюся голову без фуражки... Спустя много времени я услышал от одного бывшего своего сослуживца, что Багратян дослужился до генерала, был командующим округом где-то далеко в Сибири — и умер от сердечного приступа при очередном запое...

Не знаю, как он понял тогда мои намерения, но я действительно был отпущен прямо после конвойно-караульной службы в хуторе Дальнем, что находился в тридцати километрах от хутора Сухого, где была наша часть. В совхозе Дальнем зеки работали на строительстве коровника — так и назывался в конвойных разнарядках данный охраняемый объект: «коровник». Туда рабочую силу доставляли от лагеря на открытых грузовиках со специально оборудованными для перевозки заключенных кузовами. И эти машины со «станками», деревянными скамьями, на которых рядами сидели серо-черные заключенные и перед которыми лицом к ним стояли два конвоира с автоматами на груди, — грузовики с зеками и их охраной уехали, поднимая за собою густые клубы пыли. Я остался на дороге один.

И вот я иду сначала по безлюдной дороге, затем по степной целине. Под моими сапогами звучно трещат стебли степной колкочки, словно это не трава, а высохшие рыбы кости. Мне 24 года, одет я в солдатскую полевую форму, в гимнастерку и штаны из выцветшей почти добела от частой стирки и от солнца хлопчатобумажной ткани. На моей голове — солдатская панама с широкими прошитыми полями. Чуть заметный прохладный ветерок, поднявшийся к

вечеру, холодит мой висок, осушая там протекший из-под надвинутой на глаза панамы солдатский пот. Я иду по вечеряющей степи — свободный и вольный, как этот ветер.

Наконец произошла эта встреча. Я иду по степи один. Я встретился с самим собой.

Впереди завиднелись высокие, узкие силуэты степных *раин*, пирамидальных тополей, там был хутор Дальний. Никого в нем я не знал, никто меня не ждал. Но я спокойно, уверенно шел к незнакомому мне поселку человеческому, потому что вдруг почувствовал полную уверенность в истинности избранного пути. Мне не надо было больше ни в чем сомневаться, мучиться от страха переоценить себя в этой единственной жизни и пожелать себе судьбы, которой я окажусь вовсе не достоин.

Я окончательно убедился — и успокоился, что и на самом деле моя душа — это степь, широкая, густо населенная сухими травами, посвистывающими сусликами и скорыми, как скачущие лошади, быстродействующими пыльными вихрями. Было огромное количество — бесконечное число признаков живых самостоятельных существ на этой земле, и всегда по несколько орлов сразу кружилось в высочайшей глубине неба, распластав свои крылья. Но степь всегда одинока. Так и должно было быть. Такова была ее судьба.

И прямо оттуда, из той степи, я неспешным шагом вышел сюда, в это время, в эту минуту, когда пишу сейчас вот эти самые строки.

Май 1995 г. Корея, Деримдонсан.

(Окончание следует.)



Владимир САЛИМОН

Вокруг расхожего сюжета

* * *

Всеобщая история берет —
в трущобе у Казанского вокзала,
в чащобе заболоченной — начало.
Тропинка в сад.
Калитка в огород.

В окне вагонном с севера на юг
столетье за столетьем протекают.
Я чувствую — что ноги промокают.
Я знаю — что описываю круг.

По незнакомой местности кружу
день изо дня, но нет конца и краю
коровнику, свинарнику, сараю,
сколоченному наспех гаражу.

Околица бурьяном заросла,
однако продолжает расширяться.
Делиться. Удлиняться. Округляться.
В конец купе уехал край стола.

Реальность отошла на задний план,
и сквозь ее завесу проступила
чужая, сверхъестественная сила,
как силосная башня сквозь туман.

* * *

Запасец неприкосновенный —
брильянтовый и золотой —
остаток от одной шестой.

Ну разве что — Кривоколенный,
Потаповский или Сверчков.
Шаг в сторону — и был таков.

У Веневитинова после
тебя отыщут пьяным в дым,
вконец измученным, больным.

На простыню уложат возле
приотворенного окна.
Капель. Распутица. Весна.

Единственное время года,
когда здоровье не беречь
и смыслом — лучше пренебречь.

В подушку врезаться плечом.
Совсем не думать ни о чем.
За исключением ледохода.

* * *

Сперва раздался стук окна,
а следом — скрежет двери.
Потом на собственном примере
я убедился — жизнь скучна,
печальна участь, ночь черна.

Дорога, проходя сквозь лес,
подобно нитке сквозь иголку,
напоминает самоволку
на землю грешную с небес,
как если бы попутал бес.

И райским кущам предпочесть
я отчий край почел за честь,
я выбрал заново отчизну
на полдороге к коммунизму.

На полпути не повернул,
но углубился в лес дремучий,
когда в чащобе гад ползучий
мне плод запретный протянул.

Невыносимая жара
тогда стояла,
и мякоть слабо защищала
тонюсенькая кожа.

* * *

Что крысы составляют большинство,
что верховодят между прочих тварей
на всех концах обоих полушарий —
не есть ли здесь природы торжество?

Пример наглядный и особый случай.
Вдруг на себе ловлю я взгляд колючий.
Невыносимо страшно мне
с самим собой наедине.

А тут еще приходит участковый.
Он спрашивает — как? и почему?
Но нечего ответить мне ему,
хотя я не настолько бестолковый,
забитый и запуганный вконец.

Нет, я, напротив,— молодец.
Лоб — толоконный...
Язык — суконный...

* * *

Похолодание свело
на нет все наши начинанья —
затеи, чаянья, дерзанья.
Похолодало, как назло.

Дождь, как нарочно, зачастил.
«СССР — куриной лапой
поди попробуй нацарапай —
оплот миролюбивых сил».

Я посмотрел по сторонам,
чтоб грешным делом не увидел,
чтоб бранным словом не обидел
грядущий Хам.

Которому уж тем перечу,
что сам плыву ему навстречу,
удерживаюсь на плаву
тем, что живу.

* * *

Страсти-мордасти по тому,
живущему не по уму,
не по расчету,
законченному идиоту,
что выбрал посох и суму.

Во славу Божью покори
моря и горы,
но веры истинной опоры
в моей душе не утвердил.

Сомнений непосилен груз.
Ужасно бремя.
Народ. Страна. Россия...
Плюс —
эпоха. Время,

нестойкое, как аромат
дешевого одеколona,—
все нарасхват —
для стадиона.

* * *

По капельке за воротник.
Капля за каплей...
Газета пусть послужит паклей,
чтоб дождь внутрь дома не проник.

Дождь отступил на самый край
картофельного поля.
На все есть Божья воля.
У всякого — свой ад и рай.

А до райцентра полчаса
проселочной дороги.
Но, если — руки в ноги,
минут пятнадцать — за глаза.

Сквозь пелену дождя видны
ближайшие пятиэтажки.
Стук двери, ставни,
звон упавшей чашки —
ничто не нарушает тишины.

* * *

В другом конце.
На противоположной —
обратной — стороне
мне истина, которая в вине,
покажется такой же непреложной.

Как если бы я родом был из Кимр.
И никуда оттуда не стремился.
Чуть свет вставал.
Работал и учился.
Один, как перст, средь мымриков и мымр.

Снусмумриков — с мечтой о колбасе
Черкизовского мясокомбината.
Но, Господи, — она не виновата.
Все дело в нем одном — в «Альб де Массе».

В «Альфреде де Мюссе» — заплесневелом,
замызганном, залитом сургучом...
Я не жалею больше ни о чем...
Ну разве мимоходом, между делом,

случайно обнаружу, что Земля
действительно — шарообразна,
несоразмерна, несуразна
и вовсе непригодна для жилья.

* * *

В церковной ограде
юродивый Христа ради
в мае — пускает слюни,
глочет соплю — в июне.

В июле — листва густая
чуть только дойдет до точки,
приснится мне Русь святая.
Ангелы и ангелочки.

Они надо мной закружатся,
над смятой моей постелью,
над детской моей колыбелью,
едва лишь начнет смеркаться.

А на рассвете трубный
глас гудка заводского
вспугнет их снова и снова,
прервав мой сон непробудный.

Жалобно,
палки отведая,
собака пролает,
как по слогам прочитает:
«Да здравствует власть Советов!»

* * *

По ходу действия герой
становится антигероем.
Актер, страдающий запоем,
конец найдет в земле сырой.

Бессмысленная суета
вокруг расхожего сюжета.
От гардероба до буфета
шагов не более полста.

Достаточно — перемахнуть
с одной ступеньки на другую.
Осилить лестницу крутую.
Довольно — руку протянуть.
Дверную ручку повернуть.

Для верности поддать плечом
дверные створки
и... вывалиться на задворки.
И оказаться ни при чем.



Записки из-под сапога

РАССКАЗЫ ИЗ «СТЕПНОЙ КНИГИ»

ПЕТУШОК

Прошло уже много лет, а я все помню эту историю — про Петушка. С годами бестолковый, с матом смешанный рассказ, что слушал я одной ночью в черной казарменной яме, то и дело проваливаясь в сон, а под конец и вправду уснув мертвецки, делается все неотступней и зримей. Отчего-то покоя не дает этот Петя-Петушок. С каждым годом чего-то жду... Летом, когда призвался я и попал служить в конвойный карагандинский полк, прокатился по лагерным ротам слух, что казахи забили насмерть и порезали на куски близ городка Абай, в какой-то шашлычной у карагандинской трассы, русского солдата. Болтали и у нас. Никто не знал ни фамилии, ни какой он был роты, этот солдат, ни деталей убийства. По воскресеньям отпускали до полудня в увольнительную, но из роты никто не уходил. Страшились слуха, хоть Абай был от нас километров за сто. Этот месяц летний, когда не развеялся еще страх, помню хорошенко. До полудня по воскресеньям солдатня маялась. Бродили по казарме, по двору и зверели. Через этот чужой страх проклятый лишился и я однажды зуба. Потом только, на втором году службы, вставил бесплатно в госпитале железный зуб.

Уже я дослуживал, живой и невредимый, как в роте появился Чумаков — отсидевший в дисбате шоферюга. После дисбата ему оставался еще год срочной службы. В роте не отыскалось у него ни земляков, ни одногодков, и хоть красовался наколками да сыпал свысока дробным воровским матерком — снова проштрафился, разозлил у нас бывалых сержантов и солдат, так что шкурку эту бластную пушистую с него чуть не заживо ободрали. Шоферня в дисбат заруливает по-известному — на бензине воровал или человека сшиб, а таких на срочной бояться не будут, пришлось и ему родине послужить. Про себя Чумаков оставался злым да крепеньким — словом, сукой. Перевоспитывал его в роте не я, а потому то ли он заискивал передо мной, то ли доверял. Охота была и ему излить уже без прикрас душу. А рассказал-то Чумаков о том лете, о том солдате, о той шашлычной на трассе, под Абаем. И заныл железный мой зуб.

«Петушком» вместо Петра, нежно так, солдата поминал сам Чумаков, да с ухмылкой — окрестил никудышного деревенского паренька, как кличут на зоне пидоров. Но при всем при том имел любопытство и ловко выпотрошил из него душу. Петушок был родом из Сибири, Чумаков рассказал — тот поселок городского типа, где он родился, звался то ли Бычуган, то ли Мычуган. Отец, тракторист, зарубил у него на глазах мать, а когда опомнился, что убил, побежал и повесился в бане — так Петушок в одночасье осиротел и с десяти годов жил в том же поселке у единокровной своей, тоже пьющей и никудышной тетки. Образование его было «неполное среднее» со справкой — в школу еле-еле отходил до седьмого с половиной класса. Окончил курсы трактористов и работал до армии в родном лесхозе, а за мелкое воровство у граждан — лазил в погреба — состоял на учете в милиции.

Чумаков шоферил в хозвзводе. Другие пахали по Караганде и области на автозаках, из тюрьмы в суды, из судов в тюрьму. Осваивали бронемашину и после не вылазили из-под них, похожие на чертей — озлившиеся, с ног до головы покрытые сажей и копотью. Кто возил начальство — драили по-моряцки командирские авто и умывались до блеска самоварного, даже чистили зубы, чтобы изо рта не пахло. А Чумаков процветал в гражданской приемной хозчасти, где с утра он и экспедитор Цыбин, молодой опущенный солдатами лейтенант — прямоходящий коротышка с крысиной мордочкой, — ждали по полдню, куда отправит хозяин, зампотыла. Зевали, развалившись в списанных из штаба мягких креслах. Пахабничали с вольнонаемной Веркой-секретаршей, что хихикала дурочкой из-за конторки, будто б не понимала: Цыбин звал ее в офицерское общежитие «покушать секса с изюмом», одного и того же. В день только и делали ходку — на строительный комбинат в область, то за кирпичом, то за черепицей или железом, а по дороге калымили да прожирали деньги в столовых, кафешках, шашлычных, в засаленных придорожных ресторанах. Зампотыла держал эту бригаду больше для своих нужд, по-родственному закрывая на многое глаза, но если наказывал, то запирал двери от посторонних и сам лупил Чумакова с Цыбиным резиновой милицейской дубинкой. Был в этой бригаде и грузчик — солдат, которого отобрал-подобрал хозяин, но уже без снисхождения, точно б скотину: взял из хоззвода послушного работающего деревенского парня, уже забитого там нерусской солдатней.

Чумаков с лейтенантом катались в кабине. Место у Петушка было в жестяном кузове, который задривался наглухо снаружи, и, чего б ни возили, куда б ни ехали, терпел в этой утробе всю дорогу, сидя без воздуха и света на голых досках, как под землей слыша их гогот и вопли магнитофона.

Когда калымили, то надрывался за всех Петушок, а Чумаков с Цыбиным даже друг с другом не умели поделиться, и потому прожирали все деньги. Стопорили фургон на сколько попало времени, сами тишком уходили, так что Петушок, захлопнутый на засов в кузове, ждал по часу их возвращения, не сознавая, куда ж заехали и что происходит вокруг. Раздавались их довольные веселые голоса — фургон трогался. А бывало, Чумаков громыхал засовом и звал его, горланил: «Выходи, Петушок, освобождай хату!» Он послушно по-быстро-му спрыгивал. Чумаков недолго обхаживал любовницу — помогал ей вскарабкаться. Кидал в темень бушлатик, оглядывался по сторонам и пропадал. У обочины топтался Цыбин и ждал своей очереди, от нетерпежу косясь на задраенный кузов. Петушок отходил подальше, не зная, куда себя девать. После этого дела Чумаков, как сам хвалился, «любил покурить». Добрел, угощал сигаретой, звал в кабину послушать музыку и, гогоча, пересказывал молчаливому Петушку, что делает там лейтенант, за их спиной. Спустя время показывался одеревенелый помятый Цыбин и, нагоняя на себя строгости, командовал визгливым нервным голосом: «Чего развалились, вашу мать, тоже мне, солдаты! Поехали!» «А ты не матюши, старшой, она, гля-ка, не тебя, короткого, рожала!» — огрызался Чумаков и шагал тоскливо проверить девку. Пуская на волю эту попутную, отделанную, он еще нешутейно раздумывал, подначивал прятавшего глаза Петушка: «А ты, братуха, хочешь ее попробовать? Ну?! Ну, не хошь, как хошь, сказала вошь».

В тот день фургон хоззвода отбыл из Караганды, как только рассвело, в долгую командировку в Джекказганскую область, в неизвестный — или в неизвестную — Андырь: ехали, знали, что на металлический завод — за оборудованием для ремчасти. Достигли этого места, когда уж остывал летний знойный день, и оно встретило их громадной дырой неба, пустошью рыжей черепастой земли. Люди здесь не жили, а работали. Степной воздух поник едким бесцветным дымом. Следы гусеничные тракторов выпирали даже из зарослей репейников, как и обломки труб, арматуры. Завод отыскиали по этим и другим следам. Двор у распахнутых настезь ворот какого-то цеха, куда загнали фургон, походил на заброшенное футбольное поле. Петушку, после того как отсидел всю дорогу запертым в кузове, двор этот виделся еще огромней, так что захва-

тывало дыхание, и он с уважением оглядывал чужое новое место, будто б очутился в гостях. Цыбин деловито пошагал внутрь безмолвного цеха, уже запасшись накладной, которую читал, бубнил на ходу, опущенный с головой в клочок бумаги. Чумаков, развалившись у фургона, угрюмо лыбился сквозь зубы: «Ну, ну... Поглядим, чего он там словит, на рубль или на два...» — Все измеряя на километры, давно он решил про себя, что погнали их на край света не за пустяковиной, а за чем потяжелей. Поэтому он был такой угрюмый, волком огрызал сигаретку, которую только от злости и закурил. Спустя время выбежал, как на свободу, радостный вертлявый Цыбин, размахивая судорожно рукой, чтобы поворачивали в цех. «Вот, сука, чего у него там, хрен, что ль, достал слоновий? Слышь, Петушок, я мараться не буду, ты даже не жди. Грузи сам, надоели вы мне...» Больше он не вылез из кабины грузовика. В гулком холодном цеху копошилось у верстаков несколько рабочих. Цыбин нетерпеливо ждал у поддона с забитым досками небольшим станком. «Есть где подъемник? А почему не вижу, где лебедка?» — покрикивал он вдаль на рабочих, и они дружно замерли неживыми у верстаков. Припугнувши, Цыбин кинулся на Петушка, стоящего перед неподъемным для одного ящиком: «Чего встал? А ну давай мне, как хочешь! А где Чумаков? Рядовой Чумаков!» «Поди у слона отсоси... — с гулом докатился голос. — Я водила, мне за баранкой положено... Вона, Петушка запрягай». Лейтенант растерялся, но через миг спохватился и заорал на Петушка, багровея: «Товарищ солдат, приказываю начать работу!» Тот навалился одиноко на затаренный станок. Поддон заскрежетал и чуть сдвинулся. «Вот так! Вот так!» — упрямо погонял Цыбин, не желая понимать, что солдат в одиночку не справится. «Эй, ты чего развоевался-то? Ты чего это? Ты это здесь кончай! Угробишь парня!» — заволновался кто-то из рабочих. «Да кому ты говоришь, это ж мудака в фуражке! — загудел цех. — Давайте, ребята, поможем! А ты иди отсюда, крыса, а то будет тебе лебедка, так вот за мотню и подвесим!» Цыбин заглох и живо скрылся с глаз. Рабочие отыскали крепкие широкие доски и по ним, как по полозьям, поддон со станком тягали в машину — двое рабочих из кузова подтаскивали на лямках, Петушок с еще одним, пожилым, толкали муравьями наверх. Когда ж рабочие, пошатываясь от усталости, ушли, лейтенант подбежал поближе, волнуясь, что они бросили помогать, но станок был загружен и закреплен канатом. Мордочка лейтенанта просияла, он повеселел и даже засмеялся, довольный и будто б сытый.

Обратно несло фургон, как по ветру, и еще не прожитый день, казалось, сгинул в памяти. Чумаков наугад съехал с трассы, чтобы не давать кругалю, а срезать по степи. Загудел одиноко ветряка. Потянулись пышущие боками сопки, испеченные зноем, точно пирожки. Галдели и развлекались в кабине музыкой, как вдруг Чумаков заметил вдали катящийся меж сопок шерстистый белесый ком. «Гля-ка, Цыбин, шашлык бежит!» «Да, шашлычком бы побаловаться...» — помечтал пьяненько, в никуда, забывшийся на миг лейтенант. «Да я ж не вру, вона, целое стадо!» Цыбин встрепенулся, и у него вытянулась от удивления шея. Неповоротливые тучные овцы бежали. Их гнали серые, похоже друг на дружку собаки. Лейтенант разглядел трех, бежавших поодаль от стада, — тощих, всклокоченных, куцехвостых. Они задыхались, свесив из пастей размоchenные слюнявые языки, и гнали овец прямо на фургон. «Давай задавим! — вскрикнул Чумаков. — Наедем, как случайно, гля-ка, никого ж близко нету, а подальше-то забаваем шашлычка!» Цыбин, которого терзала такая же мыслишка, что стадо никем не управляется, только скуксился от удовольствия и забормотал: «Эх, и правда, пожрать, пожрать!» Когда Чумаков сорвался со степной гладкой стежки и погнался за стадом, лейтенант почти зажмурил глаза, чтобы ничего не видеть. Напуганные, овцы кинулись в страшной давке от мчащегося на стадо, ревущего фургона. Вой, истощенное бляенье смешались в воздухе, ставшем удушливым. Овцы на острых копытцах карабкались по склону сопки, падая с нее, скатывались под копыта напиравших других. Цыбин что-то беспомощно прокричал в этом гуле, но Чумаков обрушил машину в их гущу. Овцы сдавили обездвиженный фургон со всех боков, приросли, точно мясо к

костям, и казалось, что уже не вырваться из этого живого, сомкнутого намертво круга. Чумаков пнул дверцу и свесился, глядя под колесо: «Есть! Попались!» А потом выхватил из-под сиденья саперную лопатку, прыгнул и без удержу принялся выбивать из овечьих шкур пылицу. Так растратил он все силы и разогнал овец шагов на десять от фургона. Закашлялся. Поволокся в кабину. «Цыбин, вылазь. Если жрать вместе, то и мараться вместе». Лейтенант, не помня себя, прыгнул на землю. Вдвоем они вытащили из-под фургона раздавленную овцу и понесли, как мешок, сгибаясь от тяжести. «Петушок, вылазь! — навзрыд, не своим голосом заорал Чумаков и загоготал: — Жрать будем!» Когда кузов распахнулся, Петушок, который думал, что это конец пути, выглянул, виновато улыбаясь, но от увиденного непонимающе замотал головой. «И этот баран — не понимает. Чего мотаешь, не видишь — шашлыка надыбали? Теперь жрать всем не пережрать. А ну, прими!» Они поднатужились и завалили к нему наверх сочащуюся кровью тушу. Цыбин хотел тут же бежать, но Чумаков цепко схватил его и не отпускал: «Куда, сука?! Столько добра — и бабая оставлять?» Он схватил и Петушка и заставил всех работать. Но вдруг обуяла его мысль, что всего мяса не надо, и он с ходу надумал рубить подавленным овцам только ляжки. Туши стали снова бестолково вываливать на землю, топор же всегда имелся у него в запаске. Шатаясь, как пьяный, ничего не желая слушать, Чумаков пошагал за топором.

А овцы разбежались по степи и бродили. На месте давки, где теперь было свободно, валялись затоптанные их детеныши с черными углубинами животов. Раненые, выставив разорванные бока, дрыгали под себя копытами, точно хотели убежать со всеми. Когда успокоилось, объявились неожиданно те собаки. Они возвратились — за овечьими тушами. Одна стащила затоптанного овчаренка. Добыча эта была тяжеловата для нее; она урчала и, упираясь лапами, как бы пятась, тащила добытое за копытце. Уволакивая овчаренка, она отчаянно озиралась на людей у армейского фургона. А собаки из ее шайки только кружили вокруг, поскуливая, но не осмеливаясь подобраться к нему так близко, как смогла она, которая чуяла страшную бензиновую гарь, — и ползла, да еще на виду у этих чужих людей. Когда ж она отволокла свою добычу от грузовика, то и вся шайка бросилась на овчаренка, раздирая его в драке на кровавые ошметья. Растащив куски, разбежавшись, точно в их урчащую от удовольствия свору швырнули камнем, собаки заглатывали каждая свой кусок, жадничали, оскаливались по первому шуму за спиной. А потом опять собрались и погрызлись уже за нежные розовые косточки, торчащие из овечьего остова... Казалось, и они гнали овец — охотились, пожирали, как звери, добычу, но отчего-то не прятались от людей.

Чумаков побродил над овцами, приглядел себе одну — и схватил за ногу, дергая, точно б думал ногу просто оторвать. А овца волочилась, и тогда, бросив ее, он схватил за ногу другую овцу. Своя же нерешительная возня с овцами его разозлила. Со злости он замахнулся топором и как попало ударил. Овца, казавшаяся мертвой, стала биться — она еще не умерла. Чумаков, будто выдергивали у него эту овечью ногу, принялся тянуть изо всех сил на себя да рубить ее уже безжалостно в ошметья. Петушок зябнул за его спиной на ветру без дела. Цыбин спрятался, забился в кузов.

А невдалеке из-за сопки показались люди. Они тащились на заморенных кобылках, сильно отставая друг от друга. На глазах Петушка один из них свалился. Тогда другой навьючил его на лошадь и, с трудом забравшись на свою клячу, тут же свалился с нее сам. Упав с лошади, он ухватился за кобылью гриву и кое-как поднялся. Задрал пьяную башку в небо и опять свалился. Поднявшись с земли и на этот раз, он, не пытаясь больше взобраться на свою кобылу, ухватил ее с той второй конягой, на которую навьючил еще раньше бездыханного дружка, за поводья и поволокся неотвратимо к фургону, точно его оттуда окликнули. Столкнувшись с фургоном, уставился на него равнодушными с самого рождения глазами. Затем оглядел свои замаранные портки, утерся. Почувяв передышку и то, что земля наконец не ходит под их смолоченными копыта-

ми, лошади задремали, то окуная под себя, то вздергивая мохнатые войлочные головы. Обе кобылы, казалось, долго пролежали зарытыми в земле. На них не было никакой упряжи, кроме веревок на истертых в кровь шеях. Вместо седел на спинах их были перекинуты ватники, стянутые под животами теми же веревками. Рукава ватников свешивались по раздутым кобыльим бокам и болтались при ходьбе, точно обрубки крыльев.

Чумаков, покуда они приближались, забросил в кузов топор, порубленную овечью ногу — и кинулся заводить фургон.

Как ни орал он, ни звал — Цыбин прятался глубоко в кузове, где валялись, позабытые, еще две овечьих туши, и не решался из него выползти, будто на выходе его ожидал конвой. Он заходил дрожью от одной мысли, что они натворили, и жалел себя навзрыд, так что даже мычал. Эти двое, которые застигли их в степи, пьяные пастухи, казались лейтенанту здоровыми и опасными. Петушок остался стоять на их пути, не зная, куда бежать, но и чувствуя, что нельзя бежать, бросать остальных. Чумаков же резко подал фургон назад, и тот увяз в суглинке, истошно ревел и буксовал, пойманный, будто в капкан.

Пьяный пастух поглядел сквозь Петушка и чего-то замычал, потребовал, обведя кругом скрюченной рукой.

«Это не мы, дядечка... — заскулил боязливо Петушок. — Это они сами нам под колеса...» Казах, заметив под ногами дохлых овец, свесил голову и долго глядел будто в землю. Мужик он был крепкий, мордастый, но блеклые больные губы, глаза даже не старили его, а мертвили. Под куцей и прожженной местами солдатской шинелью, которая подпоясана была внахлест нагайкой, виднелся самовязанный грубый свитер, добротная и домашняя из всего его одеяния вещь. На голову была нахлобучена сталинка. армейская или арестантского склада ушанка на рыбьем меху. Петушка заморозила его запущенная борода; росла из-под горла, воткнутая хворостинным пучком, похожая на ссохшийся рыбий хвост, и воняла воблой — была не седая, но грязно-белая, будто выкоптился, как из воблы, засол.

Казах разглядывал и павших, подавленных овец. Корча еще живых из них не смущала и не удивляла его глаз. Было только видно, что и ему жалко проходить мимо горы этого дармового, чудом взявшегося посреди степи добра. Он не подумал и того, что овцы могут принадлежать военным людям, и распоряжался всем, точно хозяин в своем сне. Не ожидая отказа, потребовал, чего захотелось в эту минуту: «Дай закурыть!» Петушок не понимал, как можно ему отказать, и, чуть отстранясь, протянул казаху свое курево. Тот помял, без толку, выпятил от недовольства губу, и Петушок чиркнул спичкой, быстрехонько поднес огоньку. А когда казах запыхтел сигаркой, как это и бывает во сне или по пьяни, не чувствуя от курения никакого вкуса, а разве приятную блажь, то сказал из жадности, с какой-то задиристой злостью: «Всё курьт мне отдай». Петушок не раздумывая отдал всю измятую пачку дешевых болгарских сигарок. А со спящей подле фургона лошади свалился навьюченный на нее и забытый человек. Оживший, он отполз на карачках подальше от фургона и уселся, мыча, как дитя, нечто жалобное и бессвязное. Этот был русским, каких после освобождения много нанималось за водку и харчи на чабанские точки. Одет и обут он был, как казах. Только под шинелью его изнашивался не домашней вязки свитер, а казенная роба грубого сукна. Шапку, должно быть, потерял по дороге. По жестким колючим волосам опять же распознавался зек, которого наголо стригли от весны до весны. И то, что он был приземист, костист, выдавало зека — как бараки в лагерях проседают, так врастает в землю, сдавливается и человек. Для того ли, чтобы не мычал, казах сунул дружку в посиневшие губы раскуренную сигарку. Затянувшись, тот успокоился и провалился в забытье, а сигарка сама собой дымилась в расщелине рта.

И лошади, и овцы, и волки, и люди были одиноки в степи и усталы, как один обреченный народ. Вдруг из кузова послышался пронзительный жалобный шепот: «Убирай их, Петушок, а то поздно будет!» Тот обернулся и вздрог-

нул, увидав лейтенанта. Цыбин выглядывал из темноты, весь перековерчившийся и съезженный, и протягивал на вытянутой руке топор. «Топориком, топориком...» — подучивал он торопливо Петушка, как если бы тот растерялся, не зная, чем бить. Петушок оглянулся на казаха, а потом усталился на лейтенанта, продолжавшего шептать: «Этих свидетелей нужно убрать... Они нас запомнили... Никого же нету, кроме нас...»

Петушок перехватил из его трясущейся руки топор и пошагал послушно на казаха. Встал, переминаясь с ноги на ногу, за сутулой его спиной. Он будто бы примерялся, как его ударить. Оглядывался на Цыбина, точно б лейтенант должен был это на пальцах растолковать. Петушок было и замахнулся, но ничего у него не получилось — опустил топор. А казах не оборачивался, шепота не слышал и ровно ничего в этой степи не боялся, словно был в ней один. Он снова взял за поводья свою кобылу и потащился самому неизвестной дорогой, забыв о дружке. Кобыла, с которой тот свалился, побрела за казахом, очнувшись от сна. Петушок глядел на казаха, на хвосты измученных кобыл и мало что успел понять. Цыбин вылез наконец из своего укрытия и бросился к забытому русскому, но только и отволоч его за шиворот подальше, чтобы, даже распялив глаза, тот не смог ничего увидеть.

Под колесами фургона замесилась настоящая каша. Цыбин с Петушком налегли — тогда только он отчаялся, рванул! И разбуженный гулом и ревом пропойца снова замычал, грозил кулаком вослед фургону, который увидел мчащимся между небом и землей, в огне и дыму, не иначе как ракету. Быть может, ему почудилось, что в этой ракете уносится весь мир; все его похеренные овцы, трава, пастушки дружки, жратва, курево с водкой... А его оставили одного на пустой, обглоданной, что кость, земле. И он мычал, еще не соображая, как это страшно — остаться совсем одному: «Канааат, сука ты, забери меняяя...» Чумаков сам высочил из кабины, затолкал в кузов чего-то еще дожидавшегося с топором за поясом Петушка и запер его там, страшась теперь всего, даже своего дыхания.

В страхе, что за фургоном погонятся, они домчали до трассы, где Чумаков волей-неволей сбавил скорость и дал себе отдышаться. Лейтенант бесился в кабине, пойманный, как в клетку, — кидался отнимать у него руль, грозился сдать в милицию, а разок даже распахнул дверцу и хотел выпрыгнуть. Чумаков не удержался и ударил его наотмашь по лицу. Сам он бешено соображал, что делать. Две овечьи туши не успели скинуть и будто б два трупа гнал он в фургоне неизвестно куда. Шашлычную на трассе он увидел внезапно — и заныла в жилах кровь, вспомнил зло про шашлычок. Но стоило Чумакову испытать это злое чувство, как из скорлупы его и вылупилась последняя роковая мысль.

Фургон затормозил на обочине прямо вблизи дымящегося, шкворчащего бараньим салом мангала, который вынесли здесь для соблазна на воздух. От голада за Чумаковым увязался и Цыбин. В шашлычке барыжничал жирный, сам похожий на барана, казах, и родственники бедные — человек пять, все как на одно лицо — сновали муравьями у него на подхвате. Глядя на русских солдат и офицера, потасканных да измаранных, казах чуть брезгливо выслушал солдата, но молчал так, будто по-русски не понимал. Чумаков сбивчиво, пряча от него глаза, врал, что они подавили на дороге двух овец, но потом оплатили хозяину бензином, а теперь не знают, куда их девать. И отдать могут по червонцу за штуку. Казаху хватило понять, что овцы ворованы, и он молча решительно показал растопыренную пятерню. Чумаков сдавленно пробурчал: «Это как понимать, хозяин, не за десять, а по пять?» Казах подумал в тишине и, вобрав отчего-то все пальцы у них на глазах в кулак, согласно кивнул головой. «Товарищи...» — заикнулся попугайчиком лейтенант. Но выражение лица казаха изменилось до безжалостного, и Чумаков бессильно сдался. «Мы согласные, только это, ну, ты понял, хозяин... нам шуму не надо».

Чумаков, оглядываясь по сторонам, воровато провожал хозяина и еще двоих к фургону. Цыбин отстал, как непричастный, радуясь, что никто его не позвал. Казахи шумно что-то обсуждали и тоже оглядывались. Что наступило по-

сле, рассказал Чумаков обрывками. Он сам не понимал, как все это могло произойти, и только огрызался, что если б они с Цыбиным не позабыли тогда о Петушке, что он есть в кузове, то могло б и ничего не произойти. Казахи сами полезли, не понимали, а шумели, ломали почему зря шпингалеты, которые только и надо было, что щелчком одним скovyрнуть. Чего там Петушку померещилось, а только он, когда кузов раскрылся, полетел на казахов с топором. Под топор попал хозяин — башку его разломило на глазах у Чумакова, как полено. Но Петушок, когда безголовое туловище свалилось ему под ноги, будто ворона, вцепился клевать его топором. Все, кто был у шашлычной, взвились и кинулись врассыпную, бежал и Чумаков, а ловила, отыскивала их по всей трассе милиция, когда уж давно сковали Петушка, — тот никуда и не убежал, даже не пытался. Шашлычная долго пустовала без людей. Какой-то шоферюга завернул спустя час, наткнулся на эту кровищу, погнался — и тогда только поступил сигнал, когда попался ему первый на трассе свистун. Топор валялся на изрубленном трупe хозяина шашлычной, а самого Петушка милиция обнаружила спящим мертвецки в распахнутом настежь кузове...

Чумаков получил два года дисбата, проштрафился по-обычному, как водила, а за тех овец, которых подавил он в степи, отвечал сам колхоз, где у пьяных пастухов волки среди бела дня загрызли собак и отбили стадо. Лейтенанта Цыбина вовсе не судили, отделался испугом. Петушка ж больше года содержали в следственном изоляторе, а осудили на пятнадцать лет строгого режима — нашего полка солдаты конвоировали его на этап. На очной ставке Чумаков слышал, как разок он проговорился, что изрубил казаха для того, чтобы тот не кричал, вроде как чтобы не мучился. В тюрьме, рассказал Чумаков, не опустили его сокамерники, а даже прижился. Мне было не утерпеть, и я тоже порассказал, какой слух напугал нашу роту два года тому назад и что лишился я через это зуба, и Чумаков впервые за все дни, что я его знал, просиял и долго, счастливо, до спокойствия полного смеялся. «Вона как, а я-то не знал, значит, казахи это покровсали Петушка? А зуб-то, а зуб?! Ну и параша, ну и купили ж вас! А вот я из-за него два года... Я видел, как он казаха уделал... Моя б воля, я б ему вышку за это. У него глаза, знаешь, какие были — не рупь, а два! А на зоне ходит, и не первым этот будет у него. Ему только и надо было — крови нюхнуть. Мне с ним и на очной страшно было, а не то что! Помню, как глянет, деревня, мужичок грёбаный, так не дай боженька. Не рупь, а два!»

ЖИЛЕЦ

От умершего своей смертью пьющего неприметного полковника освободилась однокомнатная жилплощадь в доме, где прописку получали только на время службы, и в нее бесшумно въехал холостой комендант офицерского общежития, так же бесшумно схоронив никому не важного одинокого пьяницу. За хорошую работу комендантом Анатолию Лыгареву удружили эту отдельную квартиру и брали на службу в особый отдел, а поручение справить умершему полковнику похороны было дано как в нагрузку. День бывший комендант провозился с гробом, погоняя двух неповоротливых голодных солдат из хоззвода, что даны ему были для разгрузки и погрузки, и под вечер с кладбища поехал уже налегке не в постылое общежитие, а к себе домой.

Квартира кишела вещами покойника. Худое, бедное имущество досталось Лыгареву в наследство, и наутро он хладнокровно избавился от него, перетаскал в тюках на мусорку — вместо зарядки. Оставил у себя кровать, шкаф да жестяную коробку с престарелыми фотографиями и письмами; это были письма и фотографии женщин, с которыми полковник знакомился в лучшие годы в санаториях, но не заводил семьи. Полнотелье, белозубые, в возрасте — похожие на поварих. Но писали они каждая по-своему, то строгие и скучные, то умоляли о любви и вспоминали знойные южные ночи. Лыгарев читал и перечитывал эти письма, глядел на чужие улыбочивые лица и начинал поневоле мечтать о

женщинах, сам писал им в мыслях ответы и видел, какие они были под платьями, белокожие, пышные, как зефирины. Кровать пришлось ему выкинуть несколько дней спустя, она не сгодилась, пропахла пожилым пьющим хозяином, дух которого из нее ни за что не выветривался. Из-за этого вьедливого духа мертвецкого, что впитался даже в стены, Лыгарев принялся всего бояться и нервничал, будто б за ним следили. Но никак нельзя было отказаться от квартиры. Тогда, от страха этих прокисших смертных стен да из-за нервов, он и надумал, что ему надо жениться.

Обратился он к случайной и ненужной долгое время любовнице, неприхотливой сорокалетней женщине, ровеснице, зная отчего-то твердо, что именно эта, которая в первый же раз дала себя раздеть, как и тогда, не откажет ему, а ответит согласием. В прошлое время он был без квартиры, а женщина эта ютилась с матерью, отцом и молодой сестрой-студенткой, которую вся семья нежила да лечила от какой-то болезни кожи, так что Лыгареву опротивело слушать о прыщах и о том, как мало у них в доме места, — прыщавую балованную девуку стесняли даже гости. Он успел купить женщине в подарок в военторге полуспортивные туфли на резиновой подошве, съездил с ней по грибы и после этого леса, где она пожалела марать одежду на траве, озлившись, скрылся из ее жизни. Но теперь у Лыгарева была своя квартира, свой дом и он имел в женитьбе душевную потребность: он боялся этих стен, желая разделить их хоть с кем-нибудь, чтобы избавиться от гнетущего страха и одиночества неприкаянной своей, не нужной никому жизни.

А перезрелая невеста тоже рассчитывала на малое — на крепкую, надежную семью. Светлана Ивановна была педагогическим работником и преподавала историю в средней школе, чем бескорыстно гордилась. Фамилия Лыгарева больше подходила ей, чем своя, длиннохвостая и потому какая-то крысиная. Ей нравилось, к примеру, что Анатолий сирота. К тому — военный человек, непьющий и некурящий, как бы и нерусский. Ей нравились его целеустремленность, жизненная сила, и она так рассчитала, что и Анатолий не красавец, и она не красавица, стало быть, они прямо подходят друг другу. Светлана Ивановна, однако, была высокого мнения о своей образованности и называла себя не иначе, как «интеллигентным человеком», что давало право ставить себя всегда выше Лыгарева, а ей это было важно. Вот она говорила на уроках с глубокомысленным видом, важно: «Гитлер был фашистом». Или: «Владимир Ильич Ленин был вождем мирового пролетариата». А в учительской, встречая в женский треп таких же, как сама, училок, говорила с гордостью: «Я не люблю мужчин». И еще говорила, что есть плохо, а что — хорошо, и тоже себя за это уважала, будто знала то, до чего другие должны были расти и не дораста.

Они повстречались снова, будто по сговору. Не было ни упреков, ни воспоминаний — она только неожиданно торжественно ответила Лыгареву, что согласна быть его женой. Когда подали заявление, Светлана Ивановна наезжала после работы что ни день — делала уборку и стирку, готовила еду и в одинаковое время уходила, ночуя у себя дома. Лыгарев томился, но после прошлого и сам отчего-то не мог решиться даже обнять свою бывшую любовницу, хотя она светилась знакомым ему ровным спокойствием, решимостью, и с полмесяца они встречались на квартире Лыгарева, похожие на брата и сестру, а расписались за день до Нового года.

Этот праздник и хотел Лыгарев встретить, как раскупорить новую свою жизнь. А свадьбы, с гостями да гуляньем, не устраивали, что было семейное уже их решение — поберечь деньги. Те, кого позвали свидетелями, такие же училка и дознаватель из особого отдела, выпили за молодоженов по фужеру шампанского на квартире у Лыгарева, поглазели и разъехались. Лыгарев допил за ними бутылку шампанского, но не опьянел, хоть и желал. В первую брачную ночь молчаливо лежали и будто б ждали друг дружку, а потом Светлана Ивановна засопела и уснул от усталости сам Лыгарев.

Наутро он проснулся и возненавидел еще спящую свою жену. Ему стало жалко, что она будет проедать все заработанные им деньги и нарожает чужих

ему детей, на себя похожих, тоже нахлебников до самой смерти. Было ему и стыдно, противно, что у нее большая прыщами сестра, которую семейка управляет каждое лето лечится соленой морской водой и солнцем на юга. Хотя сестры этой ее младшей Лыгарев до сих пор в глаза не видал, но было ненавистно слышать без конца о ней, о студентке, лечится которая морем да на солнышке. И еще он ненавидел свою жену, что придется с ней под одной крышей теперь жить, укладываться каждую ночь в одну постель. Нет у нее груди. И одежды имела она в гардеробе всего три, в которых он всегда ее, чудилось, и видел — полуспортивные ботинки на резиновой подошве, изношенный вельветовый плащик да какая-то в блестках косынка, которую она как украшение позыывала на шею.

Проснувшись с такими мыслями, Лыгарев пересилил себя ради праздника и прожил день в тоскливом ожидании конца старого года. В новогоднюю ночь семья Лыгаревых не спала — кушали вечный салат с вареной картошкой, яйцами, колбасой и молчали. Светлана Ивановна сделала наконец мужу замечание, что тот скребет вилкой по тарелке, портя ей аппетит. Лыгарев вдруг сгреб салат и швырнул ей всю пригоршню в лицо: «На, падла, жри...» Женщина вскочила и бросилась из комнаты, то ли похныкивая, то ли попискивая. Он сидел в пустоте, в квартирке было тихо — Светлана Ивановна точно испарилась. Тогда он поплелся за ней, чувствуя уже не злость, а тоску. Жена лежала на заправленной кровати с толстой книгой в руках. Лыгарев был поражен: она возлежала в том же платье, которое уже подчистила водой, и умытое лицо ее светилось строгим покоем. Ему стало жалко себя рядом с ней. Он даже хотел, чтоб жена обняла его в то мгновение, защитила, простила. «Светлана! Что мне делать, как жить?!» — произнес он с надрывом. «Не притворяйся, Анатолий, это отвратительно,— проговорила она глухо. Мне безразлично, нравлюсь я тебе или нет, выходить замуж второй раз я не собираюсь. Живи как хочешь, но если будешь шляться по чужим девкам, пеняй на себя. Пойду к твоему командованию, потребую, чтобы тебя отчислили из армии.— И Светлана Ивановна снова отвердела.— Да, из армии. Таким, как ты, в ней не место».

Лыгарев задохнулся и бросился на охнувшую тяжело жену. Он рвал на ней платье, заламывал руки, вцеплялся в бульжные грудки — и хлестал наотмашь по щекам, глядя в перекошенное трусливое лицо, и ему хотелось, чтоб она кричала и звала на помощь, а он бы рвал да бил ее еще больней. В пылу этого своего торжества, в самый разгар, Лыгарев неожиданно похолодел и сковался от страха: Светлана Ивановна, которую он долбил своей тушей, не сопротивлялась и не пыталась вырваться из-под него, как это ему чудилось, а сама прилепывала его к себе и с пугающей жадностью кусала его зубами, выкручивая кожу, точно пыталась содрать шкуру или подвесить его в воздухе. Опустошенный, он потом спрятался в одеялах, слыша сквозь их толщу шум воды, и уже явственней в мертвой тишине слышал, как жена увальнем проходит по комнате, и залазит в кровать, и говорит вежливым чужим голосом в черноту: «Спасибо, Анатолий», — а потом поворачивается к нему спиной, на тот бок, что без сердца, как советуют спать врачи.

ОДИН ГРЕК

Служили в полку даже четыре еврея. Ефрейтор Элькинсон из Запорожья процветал — крутил кино в клубе. Шиндерман прозябал опущенкой в шестом взводе. Крачковский с утра до ночи трудился писарем в канцелярии, куда его заключил за опрятный красивенький почерк злой дурак-майор из штаба, любивший своих писарей, что женщин,— ревнуя до побоев и даже называя не сучками, а сучками. Ну а четвертый еврей, Михаил Яковлевич Фельдман, командовал полком. Русских с хохлами хватало. Узбеков служило, ползало по плацу и угрюмым голым казармам, что тараканья. Но с командой новобранцев-грузин занесло однажды по весне живого настоящего грека, и Фельдман глупова-

то орал, рапортовал, радуясь, как новехонькой копейке: «В нашей дружной армейской семье служат лица всех национальностей, есть у нас, товарищи, и один грек!» Сверх диковинного имени грек и лицом своим выделялся из солдатской толпы — с большими навыками глазами, белокожий, вислогубый, лопоухий, с горбатым, будто переломанным, гундосым носищем. Он был также высокого роста и крепкого, что мерин, сложения. А это солдатню еще пуще злило: «Грек никого за людей не держит! Думает, мы негры, а он тут белый!» Никто не признал его в полку своим, даже грузины начали сторониться и не подпускали к себе близко, как заразного. Только и звучало: «Грек, лежать! Грек, встать!» А если он не исполнял чьей-то прихоти, то мучили да били, успокаиваясь, когда не мог ни встать своими силами, ни ползти. Гордый, тот пытался как мог не сдаваться. Но был он в полку один — один грек.

Прозывался этот земной человек Одиссеем Агафоновичем Костанаки. Родитель его был парикмахером, из-за своего малого, почти увечного роста он стриг только детей и породистых собак. Дети любили маленького парикмахера, он кое-как оправдывал свое место в парикмахерской, но чаевые выходили копеечными, требовалось кормить семью. Когда ж какая-нибудь сука или кобель кусали его в раздражении за руку, хозяева могли расщедриться, и потому, быть может, отметины от собачьих покусов не сходили с его рук. Без покусов от его ремесла не было бы никакого дохода.

Мальчика нарекли Одиссеем в память дедушки, который был цирюльником и умер, спился до смерти еще до войны. Этот Одиссей Костанаки, понтийский грек и сельский цирюльник, когда упавшим ремеслом и рябой курицей уже было не прокормить четверых малых детей, искоренил семейство свое с родной понтийской земли в Тбилиси. Все сменял на съестное, что не умещалось в котомках. По месту Одиссей кормить должен был еще бранчливую старуху, троюродную родню, что дозволила занавесить угол в своей комнатенке и глядела в слепой глаз за детьми.

В большом шумном городе цирюльнику зажилась легче, хоть Одиссей, отдавая от себя детям, сам жевал пустой хлеб и трудился до забытья, надеясь, что ни месяц, осилить нужду, зажить. Жена его стирала в казармах солдатское белье, за что выдавали красноармейским пайком. Одиссей дорожил ее жалованьем и боялся любить жену, чтобы она не забеременела. Женщиной она была набожной, а дети в ее податливой утробе заводились скорее, чем заплесневеет хлеб. Он сам облегчал истому, когда жена спала, а женщина все терпела, как ей Бог велел. Они спали на холодном крысином полу. Хуже собак, которых греет хоть своя шкура.

Старуха, поделившаяся с ними комнатенкой, долго от семейства не покорчилась и слегла, только подзывая к своей запахшей кровати детей, которые тем сильней страшились приблизиться к ней, потому что старуха цеплялась за детскую ручонку, тащила к себе и будто бы окостеневала. За день до смерти она сомкнула намертво уста и, мыча истошно, пугая, воротила рот даже от питья.

Когда ж старуха безмолвно отошла, жене Одиссея, что обмывала ее белое мучное тельце, послышалось, будто бы что-то позвякивало в старушечьей голове, которую она поворачивала в своих руках. В испуге женщина позвала мужа и крестилась, пряча в углу за пологом детей, когда Одиссей взялся потряхивать легонько голову умершей старухи, сжимая ее в руках, будто кувшин, а потом разжимал покойнице каменный рот, который только щерился сомкнутыми зубами, сколько он ни старался. Тогда ж, со зла, Одиссей обхватил старуху, что бревно, ударил плашмя о пол — и покатались два золотых червонца.

До ночи Одиссей валялся на ее кровати, будто бы пьяный, в замызганных солдатских сапогах. Ему не терпелось дожидаться нового дня. Завтра же думал он купить себе парадные штаны, рубаху, покрякивая затихшей жене и детям, что теперь-то переберется с конского да извозчичьего ряда в заведение, где зеркала и куда извозчиков с мужиками не пускают на порог. Жена хотела остаться с детьми, лечь в занавешенном углу, но Одиссей позвал, чтобы разде-

ла, и, придыхая от желания, глядел на рыхлые белые груди, когда голая женщина покорно склонилась, стаскивая с него сапоги.

Старуху хоронил он из боязни с уважением — справил добротный гладкий гроб, расплатился с извозчиком ломовым, с кладбищенскими мужиками за могилку поглубже и всех-то одаривал на пропой. А поминаль купил он в дом колбасы, оковалок сахара, пшеничных булок. Одиссей ел булку и тихо плакал. Дети думали, что жалеет старуху, и горевали, как умели, а он гладил молчаливо их по головкам и подкладывал колбасы.

На Пасху жена ему сказала, что надо ждать родов. Одиссей избил женщину и сам слег. Когда он на следующие дни валялся на старушечьей кровати, белый и немой, женщина обхаживала мужа и думала, что он смирился. А Одиссей ждал только, чтоб жена обманулась. Он не работал, и в доме начал переводиться хлеб. Жена терпела еще неделю, занимая у добрых людей, а потом сказала: «Вставай, я одна не могу прокормить детей». И он сказал: «Что ты со мной сделала? Я больше не хочу жить и тебя бы убил». «Тогда зачем брал меня? Я не виновата», — отвечала она.

Одиссей надеялся, что жена решится — и избавится от ребенка. Он не разменял червонцы и побрел на конский с мечтами о приличном заведении и богатой городской публике. Так они прожили месяц. «Гляди, как нам трудно. Подумай, зачем этот ребенок, с ним жизни нет!» — говорил Одиссей. Но женщина боялась смертного греха и молчала. И тогда Одиссей возненавидел жену, что тянет его брюхом своим проклятым на дно. Чтобы выкинула, бил по животу. Воротясь из прачки, она жалась к детям. Каждодневные побои ее измучили. Она ослабела и больше не могла работать. Одиссей же червонцев не разменивал, пропивая крохи нажитого. Дети кормились от людей.

Бить ее такую Одиссею стало страшно. Женщина родила живого младенца — уродца с тяжелой сизой головой.

От «испанки» ушло от них в другое время двое детей, так что страх Одиссея перед жизнью будто б обратился в их гибель. Но уродец выжил. С годами отец свыкся с ним и, спившись от несбывшейся мечты выбиться в люди, принимал к большой голове мальчика своими трясущимися руками, молчаливо гладил, подолгу не отпуская от себя. А памяти не осталось уж и от конского ряда. Давно нанялся Одиссей на работу в тюрьму, куда уходил с раннего утра, а к ночи возвращался больной и пьяный. Молчал он так глухо, будто немой. Молча ел. Молча пил. Молча уходил и приходил. Так вот молча и умер — уснул и не проснулся. Агафон, так звали мальчика, с малых самых лет запомнил отца, который словно вдохнуть успел в него свою душу. Уродец, он только и выжил памятью о нем. Зная, кем был отец, Агафон раз и навсегда решил тем свою судьбу. В училище таких, как он, не брали, но умению стричь Агафон и не учился. Руки его все умели сами и не могли делать никакой другой работы, оживая от ножниц, от расчески, только притрагиваясь к волосам.

Он женился на греческой девушке, которую сосватала ему далекая родня из понтийского села. Когда девушка стала его женой, то уехала жить к нему в большой город и скоро отвыкла от работы. Жена его презирала и, хотя прожили вместе почти двадцать лет, делала вид, будто незнакома со своим маленьким, лысеющим, большеголовым мужем, когда случалось им бывать в людных местах — ходить по магазинам или отдыхать на курортах. Люди только гадали, что могло свести дородную здоровую женщину с этим уродливым человечком. Но и Агафону Костанаки жена была чужой. Все эти двадцать лет их скреплял любимый единственный сын — Одиссей.

С того дня, как забрали его на два года в армию, не стало и семьи. Жена объявила Агафону, что сын вырос, возмужал и она желает теперь найти свое счастье. В дом их въехал и зажил в одной с ней комнате обыкновенного вида русский мужчина, тоже лысеющий и с пузиком, но румяный и здоровый, как мясник с базара. Агафон, боясь расстроить сына, уговорил жену ничего ему все два года не сообщать, хранить тайну, а за это дал обещание оставить ей всю ме-

бель, все вещи. Но от сына не приходило письма. Агафон ждал это его первое письмо и потому жил в уже чужой для себя семье, по старому их адресу.

Письмо пришло через одинокий долгий месяц, что был для Агафона Костанаки равным целому году жизни, из Казахстана, из чужого неизвестного города Караганды. И не письмо, а рваный клочок бумаги, на котором каракулями сына было выдвинуто по-русски всего несколько строк: «Я служу в конвойных войсках. Меня пошлют охранять лагерь. В городе я больше не буду. Буду за городом. Лагерь много, не знаю куда. Кормят хорошо. Папа, скажите маме, зачем у меня такое имя? До свидания. Ваш сын Одиссей».

ГНУШИН И МАРИЯ

Дня семнадцатого, месяца октября в шестой караульной роте повесился молодой солдат, да не из простых, а студент из Москвы, москвич. Болезней за ним записано медициной не было, но успел надоесть офицерам жалобами на боли в сердце и затравленно бледнел да молчал, как больной. Командиру шестой, Гнушину, даже военмед советовал опасаться этого студента и задвинуть от греха подальше писарем или в подсобное хозяйство. Но был Гнушин странным человеком, будто б тугим на ухо или слепым, и, когда его остерегали, только стойко молчаливо выслушивал, а глаза, немигающие, стеклянистые, глядели голодно в никуда.

За много лет службы Гнушин превратился для людей в обузу, как бывает, что начинает мешать задубелое дерево другим деревьям, которые растут и разрастаются. Ничего особого он не делал, просто жил, и если оказался среди людей одинок, то одиночество такое глухое заточил он и сам в себе, в своей душе, где за всю свою жизнь бережно скопил мелкие и большие обиды, ни одной не забыл. Под рукой у него всегда ходила-ковыляла собака, покалеченная караульная овчарка, которую года как два расшибла пуля — стрельнул дураком солдат, перезаряжая на бегу автомат. Овчарка жила при ротном командире, как при родителе, была и Гнушину родной, потому что сам вынырнул ее ради непонятого интереса, обреченную пойти в расход. Эту инвалидку командиру со временем тоже не могли простить, стала и она бельмом на глазу — корми ее лучше остальных овчарок, это служивых-то, и не посмей чем обидеть или обделить. Смиряться перед ней, будто она хозяйка в роте. Овчарка ковыляла подле Гнушина, стелилась за ним черной хромучей тенью, и было чувство, что глядит на строй солдат, как надсмотрщица, — зло липнет глазками, ловит каждый звук. Гнушин примечал эту ее повадку и втайне любовался, какой непрерываемый порядок наводит овчарка, как если б это он сам внушал солдатам почти-тельный страх.

Долговязый, высушенный степными солнцами до песочного желтушного цвета лица, такого страха сам по себе он, однако, не внушал. Если б не стало обрыдлым даже видеть ротного командира, то можно было б на каждом шагу смеяться, глядя на эту неуклюжую — при всей худобе — фигуру с рожками серых пыльных волос, что облепляли жилистый сухой череп, будто перья, и выбивались наружу из-под фуражки, как из драной подушки. Вид его был нелепым еще и потому, что ходил Гнушин неопрятный, не знал женской заботы да ухода. Другой офицер в женой отутюженной рубашке, как в легкой тонкой простынке. А у Гнушина вся одежда, даже армейская, походила на шитую из свинца — так тяжело она на нем висла, давила, парила до седьмого пота.

Гнушин, чудилось, отвык от людей. Единственный человек, который оказался у него в приближении да понимал его с полуслова, бывший надзиратель по фамилии Иванчук, тоже походил на овчарку, только был, пожалуй, глупей. Надзирая в лагере над зеками, Иванчук давно прославился среди многих своей жестокостью, но сходило ему до поры с рук. Кончилось тем, что он забил насмерть заключенного в штрафном изоляторе. Иванчук там дежурил и, совершая обход, был пьян. Он ходил ночью и дубасил по железным дверкам, лишая

штрафников сна, потому что самому не спалось. А зеки-то терпели, не подавая голоса, что его еще крепче обидело. Тогда он вывел первого попавшегося и принял в свое удовольствие лупить. Но зек попался такой, что назло ему не проронил ни слова. Огорчившись, что силу его не уважают, Иванчук и шибанул штрафника головой о бетонную стену, так что треснул череп у того, будто арбуз. Дело это наспех замяли. Иванчук наутро накарябал, как ему приказали, что заключенный во время его дежурства совершил самоубийство путем разбития головы. Вкладывая в ломку арестантских костей всю душу, Иванчук не знал меры — с зеками торговать да у зеков воровать. Иванчук же был дураком, у него не хватало умения продать в лагере за рубль то, чему на воле цена была копейка. Он не обчищал, а вырывал с мясом, чуть не убивая за копейку людей. Стоит, бывало, сопит в ноздри, выпучивает бесцветные пузыри глаз... И сам начальник лагеря рядом с ним забоялся, затвердил, что он есть начальник, что его нельзя пальцем тронуть: а не хлопнет ли без разбору, дурак?

Иванчук переходил в роту так, точно со двора во двор свели на цепи быка. Где служить, ему не было разницы, а Гнушину сделалось с ним покойно, хорошо. С первых дней Иванчук слушался своего нового начальника беспрекословно и даже силился ему угодить, усердствовал, чуя по-бычьему дыхлом, что от этого человека зависит теперь его судьба. Они вместе выпивали в канцелярии, когда наступало время после отбоя, притом Гнушин воодушевлялся и орал целые речи, а Иванчук уважительно утихал, делая важное лицо, которому командир и вверял свою душу, будто иконке.

Командир жил в пристройке для офицеров, тут же, в расположении роты, занимая отдельную квартиру на втором этаже кирпичного флигеля. Гнушин находил не раз, что из квартиры пропадали понемногу продукты, сигареты. Или исчезали с буфета копившиеся от полочки медяки. Долго он заблуждался, морочил сам себе голову и не пытался вникнуть в эту тайну поглубже. Замок не имел следов взлома. Исчезало столько, будто б залетели, поклевали со стола птички, но птиц и не водилось в здешней степи. Однажды он додумался, защемил форткой и дверью две невидимые для чужих глаз нитки и таким способом наконец обнаружил, что лазят в те сутки, когда он отсутствует в карауле, и лазят через окно.

Воровали, и Гнушин это понял, солдаты, свободные в сутки его дежурства от караула, кто-то из второго взвода.

Пропажа по штучке сигарет была едва заметной, но мысль, что его дурачили молодые нагловатые пареньки, была Гнушину нестерпимой. Они наткнулись на захлопнутую форточку и в тот же раз справились с крючком, снова пролезли в комнату. Тогда, уходя на сутки, стал запирает Гнушин в комнате овчарку, но уже не выдержал сам — она выла и гадила. Воротясь из караула, он звал дневального солдата убрать в комнате дерьмо и ссанину. Дощатые мытые полы воняли до ночи этой сыростью, так что мучительно было засыпать. Пока командир терпел это унижение, все чувства его оказались в роте на виду. Кто воровали, однако, не образумились, и, как только он убрал овчарку за порог, снова в комнату кто-то наведалься, пошебуршил в ней крысой.

Гнушин смог сознаться только Иванчуку. Услыхав, что у хозяина воруют солдаты, Иванчук даже пережил потрясение, точно б и у него оказалось что-то украдено. Покрылся свирепыми пятнами, набычился и не в силах был такого понять. Пьяненькому командиру хватило духу, чтобы растолковать Иванчуку всю эту затянувшуюся почти на месяц историю. Иванчук высказался единственный раз, и слова его уже приговорили солдат: «А вы переживаете, переживаете за них, как за детей родных, а они вам срут. Не-ет, этих я крыс передавлю. Будут эти сигареты жрать, а если не полезет — утрамбую».

После отбоя Иванчук принял за работу. Казарма улеглась и отмерла. Только в ротной канцелярии горел свет. Там ждал торжественно Гнушин, не зная еще, какой подарок ему готовит бывший вертухай. Началось тихо. Иванчук без шума поднял одного бывалого солдата, сказал одеться и повел за собой, но только перешагнули они порог канцелярии — как оглушил по голове. Сол-

дат от неожиданности даже не смог вскрикнуть, скорчился. Покуда мучила его и корчила боль, Иванчук запер не спеша дверь, сжал таинственно в кулаке у того на глазах блестящий ключик и снова молча ударил. Гнушин пересилил в первую минуту волнение и накричал уже с какой-то обидой на ничего не понимающего солдата, припертого ударами к стенке: «Что, страшно стало? Страшно без дружков?!» Этот выкрик ободрил Иванчука и будто б развеселил. Ему пришлось на ум погасить в канцелярии свет, так что осталась гореть только лампа на столе командира. Помещение окунулось в нежный полумрак и тишь. Лампа вспыхнула ярче, горячей. Иванчук наставил раскаленное это око на затравленного паренька и весело приказал:

«Рра-вьясь, крыса, смираа! Не моргать! Глядеть сюда! Кто ворует у товарища командира? Ты или кто? Какие их имена?» А тот долго упирался и не выдавал своих, покуда не прошло часа, а то и больше, и он изнемог, понимая, что эти двое никуда не спешат и ничего не боятся. Лилась на грудь кровь. Иванчук после каждого удара утирал теперь руку полотенцем, а потом заматывал в него кулак и бил, как в боксерской перчатке, что понравилось ему даже больше, чем на живую. На живую стало ему тяготно, а так, набалдашником из полотенца, — будто б отдыхал. Большой мужиковатый солдат уже стоял перед ним на коленях, прося пощады, уже сжевал безропотно сигареты, которыми набил ему Иванчук «на халяву» полный рот, уже рыдал и плакался, когда тот их «утрамбовывал», и наконец сознался, назвал, издыхая от страха, какую-то нерусскую фамилию. «Ну, во, молодцом, рожу умой, и пойдем — найдем эту крысу», — довольно заулыбался Иванчук.

Он взял фонарь и кликнул для важности овчарку, которая с некоторых пор слушалась его, как самого командира, разве не ластясь и отчего-то не любя. В казарме Иванчук ходил по рядам коек, высвечивая из темноты усталые лица спящих. За ним плелся солдат, и опознал скоро он чью-то рожу, по которой полоснул свет фонаря: «Это он...» Иванчук постоял молчаливо над спящим, подумал. Сказал дождавшемуся солдату шепотком: «Пшел в койку... А товарищу начальнику что поперек сделаешь — убью живым». Подождав, когда этот уляжется и сделается тихо, Иванчук толкнул развалившегося на койке нерусского солдата в бок. Тот что-то зло забурчал, отчего Иванчук легонько шлепнул его по щеке и задрожал гремучим из души голосом: «Тихо, черножопый, тихо...» Солдат привстал и застыл, кривясь от слепящего лучика, бьющего в упор в глаза. «Начальник звал, есть дело до тебя. Ну, чо лежишь? Я чо, неясно сказал?» Узбек пугливо вскочил на ноги, потянулся за сапогами... «Брось, неча полы грязнить, шас вернешься...» — позвал за собой Иванчук и снова молчаливо, торжественно сопроводил подсудимого до канцелярии.

По масляной стене канцелярии тащился бурый след, и на полу плавали в полутьме болотные пятна. Гнушин снова разволновался, отчего напялил на голову фуражку и сидел за столом как истукан. А Иванчук перемалывал у него на глазах солдата за солдатом. Было неожиданным для него ударом, что их оказалось так много, — не один и не два выродка, а череда новых разных лиц. Никому из них он не сделал плохого. А они сговорились и обкрадывали, залазили такими вот ночами в его дом. «Ты у кого копейку воровал, крыса? А ты на сигареты заработал? Покурить захотелось, а чо, товарищ командир те отец родной? Чо ты по карманам лазил, падлюка? Падлюка! Крыса!» — зубрил без умолку Иванчук, так что начинало железно скрежетать в ушах. Каждого он доводил, даже стойких поначалу, до неумного утробного плача, каким орут голодные младенцы. Гнушин вскрикивал и останавливал Иванчука, отпуская с последним словом из канцелярии наказанных солдат, которые так и не постигали, что мучились всего-то за десяток ворованных сигарет. Во время же суда все они вымаливали у Гнушина прощения, но тогда-то он и зажигался пылко речью, которую полнила ожесточенная боль, даже выжимала у него самого мучительные слезы из жалких собачьих глазок. «А если я тебя вдарю — простишь?» И стоило солдату промычать что-то молящее, как

Гнушин вспыхивал: «А ну-ка, всыпь ему по мордасам, Иванчук! Что, прощаешь? Ты слышал, Иванчук?! Всыпь-ка ему еще... Он простит!»

Через канцелярию за ночь прошло с дюжину солдат. Суд, казалось, выдохся, но вместо сна и отдыха Гнушин вдруг захотел увидеть, потребовал, приказал доставить ему «этого вшивого студента». Иванчук никогда еще не имел дел со студентами, ничего про них не знал, а потому почувствовал себя обманутым, как если б нагрузили ненужной опасной работой. «Да чо его, тормозного этого, возни тока...» «Кто ты такой? Что ты понимаешь?»—не желая слушать, выкрикнул истерзанный командир, так что бывшему вертухаю против воли пришлось умолкнуть и шагать снова в казарму, на солдатскую, обрыдлую за ночь половину.

Гнушин успел задремать и уже с тягостью разглядел перед собой студента, съезжил как от холода. «Так это вы, товарищ солдат, жаловались военврачу?.. Могу вам сказать, что я не люблю жалобщиков, и это... всю вашу вшивую интеллигенцию». Терпеть студента до смерти ему опротивело, был это самый бесполезный, но и вредный солдат — чужеродный, непонятный, таящий в себе что-то ядовитое, будто жало. «Так это что же, товарищ, вы лучше остальных? Белая кость? Ум нашей эпохи? — привязался к нему занудно Гнушин, употребляя самые нарядные слова, какие роились теперь, как на празднике, в гулкой его башке.— Мы, выходит, тут все недостойные вас? Да вы, вы...— Командир задохнулся от слов.— Дай ему, Иванчук, чтоб не молчал! Нет, погоди... Нет, я ему еще скажу... А ты, студент, чего морду воротить?.. Ты вот мне скажи, почему брезгуешь? Все вы, студенты, горазды писать, учить... Напишет красиво, а сам такой жизнью брезгует. Вы там в Москве уму набираетесь, учитесь, понимаете, что к чему. Но вы эту правду не говорите, не-ет! Ты вот, студент, даже не попал долг выполнять, а сердце уже испортилось, заболело, даже так тебе не нравится, когда умирать за родину не надо. А почему? А потому что рядом с простыми. Я тебе не нравлюсь, от нас тебе и тошно так, от жизни нашей. Но я вот тебя и спрашиваю тогда, гада, задаю ясный вопрос, раз ты выучился и умный такой: почему же я так живу, что и жить-то не хочется?! А тебе вот хочется, жить-то?!»

В то мгновение студент задушевно проговорил, что он занимался не этим, а химией. Иванчук развалился на стуле поодаль, дремал и ни разу его не тронул. Слова пугали студента отчего-то покрепче кулаков, так что можно было уже и не бить. «Химик? Химичишь, значит? — растрогался от его жалкого вида Гнушин и произнес: — А если ты химичишь, то добейся, чтоб людям, людям сделать легче, а не себе там в Москве. Вот везде в мире студенты высказывают свое мнение. Я в газетах читал: заживо себя там жгут. Ну а вы чего там в Москве? Да вы только начните... А мы уж за вами! Вот тогда мы скажем: нате, берите наши жизни, дорогуши, пользуйтесь! Но вы ж всем довольны. Что вам наша жизнь? Кто мы вам?! Пьянь, рвань, дрянь...»

Студент порывисто, хрипло задышал от смятения, думая, что теперь из него уж точно пустят кровь. Но с пьяной, тяжелой тоской Гнушин разуверился вдруг и в студенте, как если бы хотел ошибиться, но только подтвердил свою правоту. Он застыдился сказанных слов, бестолково умолк, встал и покинул, ничего не говоря, канцелярию. Дремавшая в углу овчарка что-то почуяла через минуту, поднялась как по команде и согнутой усталой тенью ушла по его следу.

Иванчук уселся сам на опустевшее место за столом — а в ту ночь он дежурил по роте — и важно отдал команду сделать мокрую уборку в канцелярии. Студент ожил и потащился на двор за водой. Потом бесшумно присядку танцевал карликом на полах, смывая в полумраке с досок кровь, хлюпя тряпкой. Вода в полном до краев ведре побурела, когда отжимал он тряпку. «Иди воду сменяй, падло!» — буркнул сонливо Иванчук и сморился, не уследил, когда студент с ведром исчез и больше не возвращался.

В промозглой казарме ко времени побудки никто и не спал, только при-творялись. Как ни остерегался Иванчук, но разбудил солдатню своей возней еще ночью. Но никто не подал вида, что разбудили. Долгую ночь вся казар-

ма прислушивалась к тому, как вертухай поднимал шепотом с коек людей, как они уходили, а вслед за ними новые и новые, и как возвращались. Не понимали — кого, зачем, но помалкивали, слыша доносящиеся из канцелярии глухие крики. У возвратившихся не спрашивали, что с ними делалось. А они быстрее прятались в койках и сами притворялись спящими. С побудкой все как ни в чем не бывало повскакивали с коек, а дюжина человек, покрытая подтеками и синяками, озиралась друг на дружку и зло молчали. И день начался как обычный.

Москвич задушился на половой тряпке, висел под створом ворот, как за перегородкой. Из казармы его по ту сторону, по степную, не могли увидеть. А разглядели, когда рассвело, с лагерных вышек, откуда был виден вздернутый на воротах полуголый призрак человека. Собралась толпа солдат, которые бежать должны были на зарядку. Первый появившийся офицер — с гладко выбритыми и обветренными по дороге на службу щеками — послал будить командира роты, Гнушина, и застрял в толпе, взирая вместе со всеми шагов с пяти на самоубийцу. Такого никто никогда в своей жизни не видел, и, хоть стало страшно, все с замиранием глазели как на чудо на босые заочневшие ноги, что не достают до земли, делая мертвое тело москвича невесомым, призрачным. О самоубийце переговаривались. Вспоминали, кто последний видел его в казарме, и кто-то наконец сболтнул, что под утро Иванчук тягал москвича в канцелярию, после всех в эту непокойную ночь. Офицер, молодой взводный лейтенант, обратился в слух и взял для себя на заметку проболтавшегося солдата, смекнув и по вспухшим битым лицам многих, что происходило в роте этой ночью небывалое и что замешан здесь со своим вертухаем не иначе сам Гнушин, а значит, и маменькин сынок вешался под утро на половой тряпке не просто так сдуру. Подле лежало сваленное набок ведро. Уставившись на это опрокинутое пустое ведро, лейтенант обнаружил, что глядит на подмерзшую алую лужицу, что вытекла из него, размером с чайное блюдце. Находка объяла молодого лейтенанта прохладным трепетом; он только и думал, что обнаружил следы крови и что уж наверняка — следы преступления, в котором замешан ротный их командир. Лейтенанта так влекло к этой лужице, что не удержался и наступил зачем-то сапогом. Алая льдистая корка хрустнула вафлей. На этот звук никто не обратил внимания. Он растерялся от сделанного и больше не подходил к ведру, держался от этого предмета в отдалении, подглядывая за происходящим.

Гнушин слышал за спиной праздные шепотки солдат и храбрился, говоря по сторонам, когда вытаскивали студента из петли и спускали неуклюжее тело на землю: «Повесился, и хрен с ним, места хватает — схороним». Но, спрятавшись в ротной канцелярии, без конца вспоминал студента, что умолял его этой ночью, будто б просился на волю: «Что же ты жить не захотел, зачем же ты так-то, парень, кто ж тебе смерти желал?.. Эх ты, студент, кто ж тебя знал, что ты, как бабочка, на тот свет упорхашь...»

К мертвому студенту Гнушин больше ничего не чувствовал и забыл о нем плохое. Но к оставшимся живым людям, а потому и к себе испытал в одночасье тоскливое презрение. Надо было доложить в полк, и он сделал это через силу, когда подумал, что собрался с мыслями и готов. Слова его оказались неповоротливы, черствы, и он словно отрешился от жизни, зная, но скрывая всю правду. Гнушин дал себя клевать да терзать, и доклад о самоубийстве солдата, к тому ж москвича, волок самого ротного командира по начальству, как труп. За этого жителя Москвы, за студента, из него выгрызали теперь и душу, и дрянные его потроха, но обретали неожиданно сытый, довольный покой, делая из него что угодно — хоть глину, хоть навоз. Когда разговор с ним был окончен, Гнушин блуждал уже в полупамяти. Лицо его ни с того ни с сего покрылось меленькой занозистой сыпью, а потом что ни час безмолвного командира раздувало, будто рос на глазах багровый безликий гриб. Труп москвича к вечеру увезли куда-то санитарной машиной. А у Гнушина из занозистых ранок по всему телу к вечеру стала сочиться гнилая кровь. Фельдшер из лагерной больницы отказался его лечить и опасно пятился от увиденного, боясь и сам неведо-

мой этой заразы. Гнушину он сказал, что это может быть и гангрена и что ехать надо в санчасть, где есть серьезные врачи, а то весь сгорит, как в топке.

И он отправился своим ходом, на ночь глядя, без вещей.

Распухшие руки не влезли в шинель. Накинутую на плечи офицерскую гладкую шинельку сдирал своим лезвием ледяной ветер. Следом увязалась овчарка, одичало ступая по той взмыленной грязью дороге, что ввела на станцию и была ей новой, неведомой. Далеко уйдя от жилых мест и людей, Гнушин застрял на полпути посреди степной пустоши, где черно светили свинцовые облака и стекленела под небом осколчатая грязь. Силы не имея и духа отогнать от себя упрямую хромую собаку, которая только тем и привыкла жить, что повсюду за ним ходила, он снова намучился до слез. Когда остановился — и она замерла в ожидании. Когда стал кричать и как мог угрожал — виновато пятясь, уворачивая от его взгляда сникшую от горя башку. Пнул сапогом. Она пронзительно взвизгнула, откатилась. Но с дрожью, почти на брюхе, снова приползла. «Ну, чего тебя, сука, убивать?! — заорал истошно Гнушин — Вот убью, слышишь, расколю башку... Ну, чего делаешь-то? Ну, куда нам двоим? Куда?!» Он заплакал, отвернулся прочь и двинулся один по пустой промозглой дороге. Овчарка ждала и терпела, будто хозяин отдал команду не сходить с места. Резкие очертания его долговязой растрепанной фигурки спустя несколько минут болотно поглотила темнота. Тогда собака сильно, призывно залаяла. Ничего не услышала в ответ — и кинулась навстречу холодному, сырому безмолвию.

В роте было много радостных и довольных, а многие уверовали, что отныне он здесь не зайвится командиром.

Гнушин же всего через недельку возвратился. Вместе с овчаркой. Он был коротко острижен, как после вшей. Так, по форме, в санчасти корнали всех, и даже офицеров, кто попадал туда неопрятным и заросшим. Одна рука Гнушина покоилась на повязке, похожая в одеревенелой грязной корке бинта на березовое полено. Он ступал по земле осторожно, точно боялся ее потревожить, а вела его в казарму грузная староватая женщина с узелком в руке. Овчарка держалась у ее подола и, преданно задирая башку, то и дело чего-то по-щенячьи ждала от нее взглядом.

Так в роте появилась Мария, которую Гнушин всем назвал своей женой. Лицо скуластое, плотное, но без жестокого выражения, а доброе, как у коровы. Под глазами мешки, щеки синюшные, как изрезанные запойными жилками. Из всех вещей добротным на ней оказалось только новенькое, свеженькое толстое пальто — не иначе купленное командиром в подарок. Женщина слушалась Гнушина, трепетала и молодела, стоило ему заговорить. Среди людей он с ней разговаривать стеснялся. В тот день он ни с кем и не поговорил. Они укрылись в его комнате. Выходя разок за пайком для командира, Мария заискивала перед угрюмо глядящими на нее встречными офицерами, приветливо и охотно знакомилась с солдатами, хотя чувствовалось, что в казарме ей неловко — тут каждый годился в сыновья. «Ничего, что я к вам подселюсь, ребятки? Если что кому подшить, постирать, говорите мне, я сделаю, — пугала солдат заискивающая и перед ними некрасивая женщина. — Так это каша, гречневая? Саня, ой, извиняюсь, товарищ капитан слаб еще, ему бы в коечку. Ой, какая каша! Ничего, если я и Санечке, ой, извиняюсь, товарищу командиру наложу? Я тихая, я вам не помешаю. Ребяточки, а Александр Иванович хороший человек? — Ей ничего не отвечали, дичились. — Ну я пошла, ребятки? Я черпачок наложила, а вам еще много осталось!»

Платье на ней было ветхое, серое, как паутина. Старушечье. В следующие дни она носила поверх этого белую парадную рубашу командира, что делало ее похожей на поваришу. Гнушин, верно, боялся, что жене о нем порасскажут; боялся и того, чтобы сама не сболтнула чего-то, и поэтому сторожил цепко, ревниво каждый ее шаг. А казарма ночами томилась, не спала. Выходя утром из укромной комнатки за пайкой, Мария прятала глаза, смущаясь молодых ребят. Сам командир, отрешенный и слабый после госпиталя, чувствовал, что это за-

тишье чем-то грозит. Тайну, чудилось, знал Иванчук: женщина так боялась бывшего надзирателя, что обходила его, совсем пряча глаза, совсем убито. А он ловил минутку и не при Гнушине цеплялся к ней да шептал как знакомой — шипел что-то злое в самые уши. Квартирку украшала теперь чистота. И убиралась в ней сама женщина. Иногда было слышно, как Гнушин называл ее Машей. Однако неожиданно доносились и крики. Раз или два в неделю командир с овчаркой уходил на зону в караул, а Марию запирали одну в квартире, куда навещался ближе к ночи. Приносил из караула поесть горячего, супца или каши, а потом совершали они прогулку на сон грядущий и при свете Луны прохаживались под ручку по степной дороге от роты до зоны. Напивались степным воздухом, будто чайком, и о чем-то подолгу разговаривали, отводили душу. Гнушин провожал жену в квартиру, а сам возвращался на дежурство в караул, где все спали и стерегла его прихода, не спала только верная хромотая овчарка.

Разрушили в один день эту тайну лагерные надзиратели, когда кто-то из замызганной их братии обратил наконец внимание, что за женщина прижилась по соседству, стала у них под боком офицершей. Мужички эти неожиданно заявились в роту, чтобы своими глазами увидеть жену Гнушина. Навеселе встали под окном и кричали, звали ее выглянуть. Их вера, что они знакомы с женой командира, была сильной да злой.

Так что зябли под глухим безответным окном и прокурили, дымком пустили по ветру побольше часу, жалея с места этого просто так уходить, вспоминая по кругу Марию. Рассказы эти незаметно собрали и толпу солдат. Наговорившись всласть, довольные собой, мужики сыты, тяжеловато ушли, а солдат как голодать оставили под окнами. Они не расходились, зная, что Мария, хоть и не выглянула, прячется в квартире. Когда вертухаи ушли, она не выдержала, распахнула окно. Кто дождался, отчего-то весело загудели. Белая офицерская рубашка на ней колыхалась, как разорванная. Из-под разинутого ворота торчало голое плечо. Волосы казались жирными, маслянистыми, путались и липли к багровому расплывшемуся лицу. «Не верьте им, ребята! — всполошно, будто из огня, кричала она сверху. — Не верьте!» Солдаты стали стихать и уже растерянно прятали глаза, не вынося глядеть, как она полыхала в бесцветном просвете окна.

Но вертухаи повадились захаживать что ни день под окошко — материли ее криком, мучили, зазывая с земли поллитровкой: «Выпей с нами, офицерша! Машка, сука, вона куда попряталась от нас, а ну давай, подруга боевая, вылазь!» Воротясь со службы, Гнушин застал женку в злых кипучих слезах, и она выла, не в силах терпеть больше своих мучений, чтобы отпустил или дал выпить. Гнушин ходил просить у надзирателей не отнимать Марию — забыть, что она есть. Однако мужички разохотились и погнались с хохотом командира: «Чего ж ты, жлоб офицерский, используешь бабу, а стакана ей не нальешь! Она за водку, за водку — ты испробуй! Ух, как любить будет! У-у-ух!» После этого позора он всего боялся, вздрагивал от каждого шума и отныне выпускал Марию наружу только по нужде, сопровождая ее угрюмо, молчаливо до отхожего места и конвоируя обратно, в опостылую ей строгой краской стен квартиру. Мужички заявлялись хозяевами, и солдаты собирались за их спинами толпой да глазели с хохотом на бесплатный этот цирк. А на другой раз изловчились — к запертой в квартире Марии пролез по карнизу ради всеобщего веселья ловкий и цепкий, как обезьяна, нерусский солдат и передал через окно бутылку. Встретила она командира добрая, слюнявая, плачущая от любви к нему и покоя, а командир с порога кинулся ее топтать да бить. Когда яростная эта обида за себя схлынула, Гнушин увидел избитую женщину как с высоты и так растрогался виноватым изможденным ее видом, что вцепился теперь уж в нее с объятьями и, не помня себя от прямодушной этой пронзительной боли, целовал избитое в кровь лицо. «Стаканчик бы мне, хоть капельку, хоть на донышке... — всхлипывала она с просящей жалобой. — Надо мне, вот только стаканчик, а завтра умру — не попрошу! Как есть до завтра!» И в тот день по стаканчику, думая, что стаканчиком излечит под своим приглядом, как доктор, то-

скливаю беспробудную болезнь, Гнушин напился с Марией водки, и пьяная их гулянка не давала никому в офицерской пристройке сна. А когда очнулся командир под утро, то комната была пустой. Что-то толкнуло его в казарму — и там ее увидел. Снова пьяная, в чем мать родила, она улыбалась ему слюняво с солдатской взмокшей койки, приговаривая как полоумная: «Хорошие вы мои ребятушки... Хорошие вы мои...»

Гнушин, весь дрожа, прокричал что-то непонятное, лающее и бросился от нее прочь. Заперся наглухо в квартире, так что стало его не видно и не слышно. Ненужную уж солдатне Марию подобрали вертухаи. Обрядили, запрятали в частном одном домишке, а ночью утащили в свою конуру, на зону, распродавая до утра знакомым вора. Сменяясь, уволокли ее от чужих глаз подальше за собой в городишко, где гуляли уже сами на те деньги, что она добыла. А командир, когда сошло с него и потянуло снова в казарму, не проронил о Марии ни звука. Только шурясь, как от яркого солнца, обходя с новыми безвинными лицами солдат, прицеливаясь, все с кривляньем бормотал: «Хороши, ребятушки... Ребятушки, хороши...» И потом, крадучись, уединясь в сторонке, следовал повсюду за ними, выгуливал солдат. Казалось, это обходил свои владения злой дух. Они боялись Гнушина насмерть. А командир боялся солдат. И тоже насмерть. Затишье сделало воздух трескучим, морозным, злым. Казалось, что встала без движения сама земля, точно ее, как платформу на пологих путях, подперли чугунным сапогом.

Но свершилось буднично, как никто не ожидал. Гнушин сидел сутки в карауле, вышел, и на глаза ему попались те самые мужички. Они тоже сменялись и топтались у лагерной вахты, дожидаясь своих. Через минуту он уже кинулся в их гущу и успел только раз ударить первого, кто попался под руку. Солдаты остались стоять в стороне. Но в драку неожиданно ворвалась хромая командирская овчарка и в одном броске впилась кому-то в мясо. Раздался страшно то ли вопль, то ли вой. Мужички стали заваливаться от нее бочком и пятиться. Овчарка склоняла морду, и как-то из-под низу на них рычала, грозно надвигалась, взметая вдруг пасть в оскале, нападая бесстрашно на всю толпу. От бешеных бросков ее боязливо отбегали, куда не окружили. Удар сапога сбил ее, настиг на отчаянном прыжке, и тогда попала под сапоги, как под жернова. Драка отяжелела, увязла в нещадной ругани. Пинали, озверевая, падшего долговязого командира, мстили уже за овчарку, за мгновенный свой испуг. Наконец взиравший на это со стороны солдат Иванчук уломал старых дружков бросить его, не добивать. Мужички дрожали мелко, с трудом унимая дух, и расходились; одного, которого порвала овчарка, пришлось им подобрать и понести. Гнушина так и оставили валяться в грязи на площадке у вахты, помогать ему и мараться никто не хотел.

Он растормошил и дотачился сам, спасая не себя, а смолоченную сапогами собаку. Овчарка пожила еще до утра.

Гнушин то плакал, то смеялся, приговаривая: «Труженица моя. Одна ты знаешь, чего делать. Одна ты, умница, делом занята», — и укачивал на руках. Но на следующее утро он уже не смеялся, как блаженный. Он подходил к овчарке, которая больше не радовалась его приходу, как выслуженной награде. Тягостно оглядывал — и снова ходил повсюду неслышно, крадучись. После завтрака он вернулся к ней с миской. Овчарка лежала смиренно на боку. Гнушин поставил перед ней миску солдатского супа, погладил строгую гладкую морду и тогда-то увидел, склонившись над ней, что из пасти вывалился, как флажок, мертвый алый язык.

То, что сотворилось в считанный месяц с Гнушиным, еще долго приписывалось его хитрости, его же подлости как человека. Командир с того дня, как спровадили овчарку хромую его на тот свет, не мог слышать собачьего лая. Стоило гаркнуть где-то лагерному псу, как Гнушин сгибался, приседал, затыкал уши и не двигался. Над ним даже стали потешаться, нарочно раздражая псов: швырнут в самую их ватагу жратвы, а они до издыхания лают, грызут-

ся. Зная, что Гнушин не жилец, от него все ждали избавиться как от командира. Но его не понизили, не перевели в другое место, а подрубили на корню. Весть, что уволили из войск, не застала Гнушина врасплох, даже не поранила. Он собрал вещички в чемодан. И пропал. Запомнился же он в последний раз таким, каким все его всегда знали: стойко, молчаливо выслушивал что-то от нового командира, молодого, годящегося ему в сыновья лейтенанта, а глаза, немигающие, стеклянистые, глядели голодно в никуда.

МЕРТВЫЙ СОН

В другой жизни он был закройщиком одежды, портняжкой. Родом из подмосковного Калининграда, где и успел выучиться в швейном техникуме. Но от ловкости его только и осталось, что мигом, будто одним стежком, подшивал ворот гимнастерки. Так скоро, как этот Шурик Белов, никто не умел подшиваться. Он был резвящимся да красующимся, навроде поросенка, живчиком — полнотелый и пышущий здоровьем, с липкими, смолисто блестящими карамельками глаз. Так вот, красуясь собой и неумно хвастая, подшивался Белов в первые дни, ухаживая непривычно за новой армейской одеждой, будто за платьем. Через месяц же, не отрастив еще обритых в первый армейский день волос, он доходил в роте охраны Каргалинского лагеря.

Его взяли в оборот поначалу сержанты, и к утру Белов обязан был сработать семь сержантских гимнастерок, освежив их белехонькими подворотничками и выгладив. Ждал он, что, выполняя их заказ, получит у них защиты от ротной братвы-блатвы, но те и не думали его беречь. Суточной нормой Белова стало подшивать полроты. И если он отбрыкивался от какого-нибудь узбечонка, чтобы хоть тому не услуживать, его не жалели и били, покуда не сдавался. Ему не разрешали отказничать, потому что, задавливая этого человечка, млевшего от страха, еще пытавшегося словчить, испытывали такой подъем и сладость, какие не рождались при виде застиранного лоскута, выдираемого втихую из казенных простыней и подшитого Беловым за ночь. Тряпку эту даже не навидели, как не навидели отчего-то ловкость его портняжных пухлых рук.

После отбоя, когда в казарме не оставалось офицеров, Белова подымал с койки дежуривший в ночь сержант. Провалившийся в сон, как в забытье, тот со страху, что сержант, если не добудится, станет отбивать бока сапогом, вскакивал и уж засыпал, работая. Ничего не видя, не чувствуя, наметывал он, будто наслаивал, подшиву за подшивой, нет да вздергиваясь от боли, когда жалила иголка. Будто он не работал и не спал, а глухо, машинообразно изнывал нутром.

Сержант отпускал его лечь на койку, только когда вся работа была готова. Но до побудки тогда уже оставались считанные часы. И точно так же, боясь сержантского сапога, Белов вскакивал и засыпал на ходу в наступившем новом дне. Засыпал на первой же утренней оправке, так что его мухой сгоняли с толчка. В столовке засыпал и голодал, не в силах разжевать хлеба. Засыпал и в строю, и на бегу, и стоя на посту, дуря от дремоты, будто напиток водкой. За то, что просыпал службу, его били да наказывали, но и тогда плавал в каком-то дремотном дыму. Тут в нем являлись настоящее бесстрашие, упрямство, какие улегучивались под конец дня, когда он успевал вытрезветь, наглотававшись минуток сна, и вскакивал после отбоя от страха, что ударят сапогом, хоть и пинали его, будто мешок, весь день. Кругом, постанывая с храпом, спала казарма, а он работал иголкой с ниткой, отгуляв свое.

Содержать себя в порядке он уже не мог, да и не хотел. Чего не заставляли его делать, так это следить за собственным внешним видом. С грязными синюшными подтеками на роже, в бесформенной засалившейся солдатской робе, вечно неумытый и опущенный, Белов испытывал облегчение, что его хоть за это не бьют. Ему было лень даже тратить силы на жратву, и он, тайком голодая, гонимый от общего котла, так и копошился сонливо в уголочке, довольст-

вудь остатками, хоть мог бы порыскать, изловчиться да и добыть как-нибудь исподтишка кусок посытней.

Он весь и растворился, будто в кислоте, в сонливом этом копошении. Было оно безрадостным и каждодневным, схожим с той ноющей болью, когда, исколотые иголкой, его пальцы как-то бесчувственно отвердели, а зудело уже беспробудно изнутри, под ногтями, будто вогнал занозу. Но со временем стало заметным, что Белов чему-то радуется и о чем-то уже тоскует, светаясь изнутри, а не изнывая болью.

Стали ему сниться сны, хоть он по-человечески долго и глубоко не спал, а все как собака. Может, эти картинки только ему и было дано увидеть, потому как он голодал, недосыпал и мучился.

И произошло однажды такое, за что Белова должны были убить, но вдруг полюбили. Не исполнил он к утру свою работу. После отбоя спрятался, чтобы не отыскали, под чужую койку и проспал. Всем составом оказалась рота не подшитой. На плацу, на утренней поверке, озверевший ротный чуть не сжевать заставил скиские от грязи подворотнички. Так как сделанное Беловым против всей роты равнялось его смерти, то отнесли к нему в тот день с могильным спокойствием — не прикасаясь, обходили молча стороной, но и не выпускали мертвой хваткой из виду, а когда всех отбили и смерклось, то братья из братьев, чей и процветал в казарме и над остальной солдатней правож, скрепившись пятерней в кулак, без шума подняли Белова с койки, приговоренного, и увели в стоящее на отшибе глухое строение баньки, где должно было что-то сотвориться.

В казарме же никто не спал, дожидаясь конца. Могли Белова битьем изуродовать. Могли обабить, пустив по кругу, как папироску. Могли подвесить, будто сам он удавился. Но, тягостные, текли уж часы ожидания, и успели б за то время четырежды его казнить, но из баньки никто не возвращался: под утро обнаружилось, что все пятеро и Белов сладко, крепко спят, лежа по-братски вповалку.

А было, что сознался Белов на последнем издыхании браткам, когда уж обступили, какой он сон увидел, проспав под чужой койкой. Заслушались его, ослабели, а потом, разлегшись, покуривая, неотрывно полночи слушали, обо всем позабыв. И началась новая жизнь у Белова.

Пощадили его, понятно, ради того, что он рассказывал: ради тех картинок, которые неожиданно и могуче захватывали своим простором, красками. Это были какие-то яркие пятна из былой мирной жизни вперемешку с цветастым враньем: вот приснился Белову зоопарк и то, как убежал он от вырвавшегося на свободу тигра, хоть и видал его в зоопарке всего-то один раз, в детстве. В следующие ночи он рассказывал в притихшей казарме уже о том, как ходил в цирк. Белов сообразил, что раз им понравилось слушать про зверей, то и надо рассказывать дальше — все, что видел, знал, помнил или мог выдумать.

Ему еще чудилось, что они уведут его в баньку, стоит только замолчать. Он еще того не понимал, что они готовы слушать хоть о говне, только бы оно чем-то удивляло, смешило, а не удушало одной вонью. И он боялся еще их к себе доброты, когда они вдруг в один день побоялись его пинать, нагружать похозяйски работенкой. Вместо того усадили напротив котла и щедро угощали из него кусками мяса, которым сами давно обожрались. Бить его не давали, пригрозив каждому, чтобы Белова не смели бить. И молчали равнодушно сержанты, не замечая вдруг этого дразнящего, забитого опущенки, которого хотелось давить и давить, чтобы грязца-то хлюпала. А жрал он через силу, будто его заставляли, и мучился, ожидая с большим напряжением, когда и откуда ударят. И заставлял себя не замечать сержантов от страха, чтобы не углядели они какую-нибудь борзость в его взгляде. И спать себя заставлял, падая камнем в пропасть глухих, бездвижных часов, в свободу и пустоту которых выродились те его упрямые, бесстрашные минутки.

На место Белова, прислуживать и готовить блатве новехонькие воротнички с портянками, заставили шагнуть других — без долгих уговоров и тем обжи-

гающе-хлестче, что наваливались на целых и невредимых, которые если и не были ровней, но оставались солдатами, а не шустрили. Были они одногодками Белова, и, как один он угнетался за всех, когда никто не помог ему, так теперь все впряглись за одного, вынужденные выживать каждый за себя.

Выживал по-своему и Белов, исподволь научаясь выживать, тогда как раньше застывал от страха. Начиная понимать, что угрожает он уже по-новому, получив и какую-то над этими людьми воздушную власть, Белов молчком посмеялся над детской своей картинкой со зверями, оглядев ее сверху до низу, будто голую. Он ее так же молчком возненавидел, рассказывая в который раз и приступами осмеливаясь наврать, приврать, точно в издевку над тем, что и вправду помнил, видел. Испытывая когда-то одинокие страх и боль, он теперь от страха и до боли этих людей, усыпленных им в баньке, ненавидел. Он даже понял, что есть средство куда для них действенней, чем зоопарки и цирки, пробуя рассказывать о похождениях с девками — все, что помнил из общежитской жизни швейного техникума, где пробавлялся студентиком.

Воображая наново вслух эти картинки и воскрес Шура Белов, оживился. Ему заказывали уже просто описывать голых этих девок, какие они бывают разные, — что у одних груди козьими рожками, а у других соски волосатые и животы. Тут он, нагнетая, бесстыже и со злостью врал — тех задавливая до удушья, кто наяривал под одеялом. Сеансами этими Белов раздавливал людей, хоть сами просили их устраивать, и он только полеживал в койке, невидимый в темноте, будто воздушный. Занимал он к тому времени коечку не простую, а почетную — в теплом закуте, на нижнем этаже, в кубрике неприкасаемых никакой сержантской падалью. И жрал за троих, отъевшись в борова. И заваливался на койку дрыхнуть даже среди бела дня. И подворотничок свой, не побрезговав, а того в конце концов и желая достичь, заставлял подшивать робко-го, неумелого паренька. Или веселился, заставляя подшить, спороть и тут же опять пришить, каждодневно испытывая такое желание и каждодневно его удовлетворяя.

Неизвестно, что снилось ему, если и мог он видеть сны. Но утверждал, что видит их, все злей и упрямей. Дрых он от безделья и лени, не желая уже дойти по нужде до уборной, и где-то поближе гадил, какой свободой даже гордился. Очнувшись, изнемогнув дрыхнуть, посылал салажонка за пайкой, которую и съедал, лежа в койке. Поднять его мог только офицер. Их Белов по привычке побаивался, как когда-то сержантов. Кто ему хотел угодить, тот спешил выспросить, что Белову в этот раз приснилось. Белов, который не мог уже думать ни о чем другом, как только о самом себе, не чувствуя издевки в угодливости, принимался громоздить очередной сон, будто из бревен. Снилось ему, что он летал и падал. Снился цирк. Снилась жратва, которая бывает в ресторанах. Для тех из братвы, с которыми хотел ладить, он устраивал по старинке сеансы, тогда-то и оживляясь, разжигаясь сам похотью.

Шура Белов отслужил в охране Каргалинского лагеря все два года и списывался, никому ненужный, покидая безвозвратно это степное диковатое местечко, которое и ему ничем не оставалось дорогое. Что с ним будет в другой жизни, спохватываясь, он не знал, будто и возвращался в никуда. Кроить и шить пробовал он, готовя парадный мундир к отъезду, но обнаружил со злостью, что руки дрожат, совсем как у алкаша, и отказываются слушаться, так что даже нитка с трудом вдевалась в иголку.

У меня с ним был общий плацкартный билет от Караганды до Москвы. Мы с ним были земляками, других московского разлива и не было в роте. Пластаясь вторые сутки на верхней полке плацкарты, где-то посреди русской той равнины изнемогнув и изнежившись душой, и поведал он боязливо, что вот уж месяц как снится ему один и тот же сон.

Еще когда Белов доходил и его заставляли спать на вышке, что было проступком серьезней некуда, ротный капитан Оразгалиев и со злости, и чтобы взбодрить, наказывал его так, что посылал драить парашу. Параша в помещении караула была чугунная, и скоблил ее Белов кирпичом, будто наждаком,

имея приказ начистить до блеска. Так вот снилось ему, что парашу и скоблит. И к нему заглядывает нездешний, добрый какой-то Оразгалиев и говорит, что все уж блестит, уговаривая кончать работу... «И чего, все же хорошо кончилось», — не выдержал я, обрывая заунывный рассказ Белова. Тот затих и лежал какую-то минутку безмолвно, недвижно, будто спрятавшись у себя на верхотуре, но досказал в стык усыпляющему колесному перестуку: «А я все скребу и скребу... Скребу и скребу...»

ЧАСИКИ

А было так: всучили мне повестку, военкоматовскую. Самая охота пожить, а ты шагай на службу. Но зацепок, чтобы отсрочиться, не было, да и как-то сразу случилось — вот повестка, на завтрашний день полный расчет, а чтобы передохнуть, не дали даже недели.

Я по расчету сто пятьдесят рублей получил, и не то, что тратить, глядеть на них было скучно. Разбитные люди советовали пропить, а меня и от спиртного тошнит. Или смеялись: тебе бы, мол, девку напоследок махануть, — и адреса готовые называли. Но разыскивать и опять же поить, чтобы лапать себя позволяли, тоже тошно было. Нет, как пригвожденный, срока своего ждал. Про деньги решил, что отдам матери. И еще одолжил из них сотню Петру Кривоносову.

Он от мачехи натерпелся, а когда она ко всему и разродилась, то подался по тесноте из дому. Родной отец напоследок позаботился и пристроил мебелью торговать, учеником продавца. Бывает, что кутят так же в мясные отделы подбрасывают, если хотят избавиться. Петр, тот стал крутиться. Но злости ему не хватало, и потому в своих сделках он чаще оставался в дураках — там на слово поверит или пожалеет человека, не оберет внаглую. И, когда прогорал, задалживал своим же барышникам. Я денег Петру не давал, взашей его выпроваживал. Ему бы обидеться, а он так и шастал ко мне что ни месяц, попрошайничал. Я не люблю людей, которые унижаются. Зарекся, что сам чужого не попрошу, а поэтому и не совестно было переступать, если кто под ногами ползал. Но когда Петр заявился, впустил его в дом, чайку покрепче налил. Сказать всю правду, из скуки и впустил. И денег потому ему дал, что вроде и они скучными были. Только уговор был, что к проводам вернет. Я так и сказал, что деньги хочу оставить матери. Он же за каждую бумажку принялся честное слово давать, и тогда я сотни этой пожалел; скучнее сделалось, что отдал, сглупил, а отобрать уж поздно.

Все дни на душе было, как нагадили. Я даже разыскивал Петра, чтобы деньги обратно потребовать, будто срочно понадобились. А его если видали, то пьяного. Я уже решил, что и провода мои сторонкой обойдет, не покажется. И как обрадовался, когда Петр пришел! За себя стыдно стало. Усадил его за стол и весь вечер нянькался, точно с родным, а когда спросил украдкой про должок, то Петр и забормотал, уже пьяненький, что прости, мол, по дороге потерял.

Обворовал, да еще моими водкой с хлебом ужрался, халява...

На провода родня собралась, друзья, и скандалить перед ними не хотелось. Петр упился, его снесли в пустую комнату отсыпаться. Я и сам его видеть не мог, но того не хотел, чтобы по его все закончилось. Растолкал посреди ночи и в ухо шепчу: ты как посмел, ты же знал, что матери хочу оставить! А он мычит, руками закрывается, а когда я хлестнул по щеке, то раскрыл глаза и глупо заулыбался. Я уж бросить его хотел и вдруг часики увидел на руке. Самые простые, с гагаринским еще ремешком, поношенные.

Я созвал людей и при всех отцепил у него часики с руки, чтобы потом не говорили, будто Петра обворовали на моих проводах. Говорю, они двадцати пяти рублей не стоят, а он мне сотню задолжал. Возьму хоть эту дребедень. Я на службе пропасть могу, а потому не хочу, чтобы кому-то даром мои деньги до-

стались. И люди одобрили, сказав, что моя правда. Петр же и до утра не протрезвился, провожали без него.

Хотел отдать часики матери, чтобы сохранила. А она и в руки не взяла, стыдила: плохо, сынок, пьяного обобрал. Мне еще скучней стало, а на мать разозлился. И когда упрашивала вернуть их Петру, то из упрямства нацепил на свою руку и в грузовик военный побыстрее забрался. Так и распрощались.

На распределпункте я достался усатому майору, как и все пацанье. Вербовщика спрашивали наперебой, куда служить отправят. А тот важности на себя напустил — и отмалчивается. Тогда умник высказался из пацанья: гляди, говорит, какой майор загорелый! Нас тогда еще во внутреннем дворе содержали, так этот паренек и сиганул через забор, за ним многие потикать успели. Это дурак не поймет, что проще по домам тройку дней отсидеться, а потом явиться с повинной: товарищ военный комиссар, я был пьян. Ну, сошлют в стройбат, так лучше киркой махать, чем жизни лишиться. Майор-то спохватился, уговаривал, что дальше Ташкента не повезет, а кто словам поверит? Оставшихся заперли на ключ на третьем этаже здания. Кто скулит, кто двери выламывает, один из окна спрыгнул и ногу сломал, веселье! А я валяюсь на нарах чурбаком. И хотя понимаю, что лучше бы бежать, но желания хлесткого нету. Дали бы выспаться.

И прилетели в Ташкент, но какая там война? Говорят, в прошлом году случалось конвоировать штрафников из сороковой армии. А нынче вся служба — охранять зеков по местным лагерям. Ох, думаю, повезло, призвали под самое перемирие. Глядишь, выживу.

В полк прибыли глубокой ночью, я только сонную рожу дежурного офицера и запомнил. Впотьмах загнали в полковой клуб, в гнилой дощатый барак, и приказали на полах располагаться.

Я уж задремал, как почувствовал, что по карманам моим и мешку, который под голову положил, чьи-то руки пробираются. Схватил, а меня кулаком по мордасам. Тут свет запалили. По клубу между спящими человек двадцать, будто тараканье, расползлись. Мешки вытряхивают, роются в барахле. При нас сержанта оставили, он тогда у дверей барака покуривая стоял. Заступаться не бросился, а усмехался в сторонке: лучше отдайте все, чего захотят, это чеченцы. Я этих чеченцев отродясь не видывал. Трое навалились на меня, с ними-то и подрался, когда мешок чуть было не выпотрошили. Они вроде цветастую рубашку хотели с меня содрать, но, когда часики увидели, стали руку выкручивать. Мне еще повезло, что ремешок жалели порвать и потому долго возились, отцепляли его, а я трудней им делал и норовил вырваться.

Спугнул чеченов дежурный офицер, они разбежались. А я спрятал часики понадежней.

Утром нас сопровождали по полку человек десять прапорщиков. В столовке они отгораживали наш стол от солдатни — сотня, а то и больше жрали, давясь сырым хлебом. Ко мне исхитрились подослать узбека, шестерку. Он разносил чайники, а с одним подскочил к нашему столу, прапорщики его пропустили. Пригнулся — и вдруг шепнул мне, чтобы отдал часики.

Его опять подослали, когда нас разбродом погнали на плац. А только я послал его. Потом выдали полотенце, повели в баню. В парной-то меня и словили. И были это не чеченцы, а из хозвзводской шайки, которые таскали в баню для новобранцев амуницию. Говорят: где часы, куда подевал? А я говорю: нету, уже отобрали. Поставили меня под кран, хотели горяченькой окатить, а вода кончилась, из котельной подавать перестали.

И темнил я с того дня в полку, что часики у меня отобрали, что точно не помню, кто и когда это сделал. Полковые не поверили и грозились повесить, если не сознаюсь. Чечены ножиками пугали. Мне бы сдать, побережся, а не могу. Разве я не равный со всеми и почему отдавать должен, что своим горбом нажил?

И еще присяги не принимал, как назначили в кухонный наряд. Котлы к обеду таскал, а наливал мне поваренок, из русских. Я поверил, что повстречался человек. Иван, Ванька — морда веселая, щекастая, одному здоровью не расхлебать. Ему и открылся, что поперек горла полковые повадки. Если убивать станут, сам крови напущу. Я, говорю, человек и гадом под ними ползать не буду. А Ваня мне нашептывать принялся, будто юшку не испечешь и не похавашь. Что умом надо брать, пролезть так, чтоб всех позади оставить. И жрать надо котлеты, а не вареный жир. И спать на чистом, чтоб тебе же еще постилали. Двигай, говорит, в сержанты или в учебку напросись. Обучишься на телефониста, они тебя на руках станут носить, чтобы только дозволил позвонить или нацедил спирту из техзапаса. И пообещал подкармливать меня — гуляш, борщ, халва. А потом ни с того ни с сего про часики спросил, чтобы ему отдал. Я бы и отдал, если бы на взятку не походило. Думаю: на что мне такая родня, которая подличает? Нет, говорю, Ваня, их отобрали. А он притих и до ужина отмалчивался, точно я прозрачным сделался. Видать, про себя-то злился. И вот понукать стал: сделай то, отнеси туда. Или крикнул, как собаке. Я ему говорю: ты сам собака! А он злится, но боится с кулаками кинуться: я же крепче, сильнее. Только пожаловался старшему повару, и тот меня по щекам отхлестал за борзость. Стали ужин накрывать: он наливает из бака, а я с котлом дожидаясь, друг на друга волками глядим, и вдруг Ванятка опрокинул на меня ковш с лапшой, только что вскипяченной, будто не удержал в руках.

От жару я памяти лишился, и когда разлеживался на полу, зашедший в поварскую начальник столовой пнул сапогом: вставай-ка. А как я встану, если ноги еще дымятся? Закричал начальник со страху благим матом, стащил с меня портки — обварился, кричит, козлище тебя растяпай! А я шепчу, что это Ванька меня, падаль, обварил.

И вот лежу в госпитале, и является ко мне дознаватель, крысак. Я подумал, что Ваньку засуживают. Спрашивает, как здоровье. Я отвечаю, что хорошо, заживляется. Крысак говорит: тогда рассказывай, как дело было. А зачем мне правду докладывать, прокуроров кормить, если ославят потом стукачом и в параше искупают? Говорю: а какое тут дело, крутился у Ивана под рукой и сам же ковш опрокинул — вот лапша на ноги и выплеснулась. Крысак отчего-то заерзал на стуле и похихикивать стал: значит сам, говоришь? Интересненько получается. Дал в показаниях расписаться, запрятал листок. Говорит: а вот с этим что будем делать? — и гладкую такую бумагу протягивает. Читаю, и помутнение в голове происходит: Ванька доносит, что, обещая в награду часики, я подговаривал обварить себя лапшой. Что от службы хотел уклониться, мечтал о белом билете. И когда он в обмане участвовать отказался, то я прыгнул под ковш, а свалил вину на него, на Ваню. Я закричал дознавателю, что наврал поваренок, что я выгородить его в своих показаниях хотел, но теперь-то расскажу всю правду. А крысак хихикает и еще кулак показал: ты у меня вот где, сколько ни вертись, а будешь под трибуналом, как за самострел. Ишь, ноги обварил — в сапогах надоело, босиком хочется?! Говорит, сознавайся-ка, в дисбате короче сидеть; а за вранье упеку в лагерь. И очень рассердился, когда я от старых показаний наотрез отказался и заявил на Ваньку. Человек он казенный и, как ни упрямылся, обязан был занести в дело.

И так шастал в госпиталь что ни день. С врачами шушукался, есть ли такое средство, чтобы я правду рассказал. И разок вкололи мне дурь, чтобы от него отвязаться, но, видать, и в бреду я про Ваньку выкрикивал, что это он виноват.

А госпиталь тогда от вояк задыхался, их грузовиками свозили. Мало, что злые, — столько жизней в глину бухнулось, но и израненные — какая им теперь радость, пускай и развезут по домам? Я ходить не мог и лежал в самом тяжелом отделении, где безногие, безрукие и каких только нет. Крысак распустил слух, будто дымом меня из норы выкуривает, что я дезертир, и госпиталь загудел. Ко мне и на костылях подсакивали, чтобы костылем по голове ударить. И ослепших ко мне подводили, чтоб в мои глаза плевать. И землю с госпитального дво-

ра в койку сыпали, чтобы я заживо сгнил. Жрать не позволяли и, что мне как лежачему полагалось по госпитальной пайке, в отходы вываливали. Пожую, если только санитарка хлеба или яблок подложит. Да и то по ночам жевал. А молодые девки мне и посуды не подносили — все под себя, если не стерплю. Старушек ждал. Они мне только и помогали. Но, бывало, не дождусь, и вояки меня перетащат в отхожее место — там и лежу. Говорят, сам говно, пускай с говном и лежит.

Я скоро и ненавидеть их перестал. Но того простить не мог, что правде моей не верят. И даже старухи мне верить отказывались, когда рассказывал про лапшу. По-ихнему выходило, что Ванька доносил правду. Говорили, что нет выгоды у поваренка, а у меня была.

И в тот день, когда я на костыли взобрался, то хотя бы выбор получил. Лежачий, я мог только оговорить себя или терпеть. А теперь, думаю, не хочу себя оговаривать, нет силы терпеть — повешусь. Так и решил. Ждал ночи, как облегчения. Когда госпиталь затих, приковылял я в отхожее место, подымил окурками, поплакал и поясок на трубе запетлил. И тут Ваня мне привиделся... Стало быть, я над парашей кончусь, а он еще жить останется, есть и пить — то, что мне бы полагалось?! И понимаю, что нет, родимый ты мой, погоди, вот она для чего мне нужна, эта жизнь треклятая. Все буду терпеть до поры, пока Ваняту своим судом не раздавлю. Жить с его жизнью рядом не согласен. И погибать без его смерти не хочу.

Я наказания не боялся — столько повидал, будто без суда и следствия тыщу раз к смерти приговаривали. И еще разок не страшно, только бы за мучения свои сполна расплатиться.

В госпитале-то ждали, что повешусь. Говорили: вешайся, а то сами порешим. И было, что задавливали подушкой, — дождутся, когда дрыгаться перестану, дадут передохнуть. Пугали, игрались... Сами не хотели мараться. Хотя если бы не увертывался, как мог, то одного слепого удара хватило бы, чтоб покалечить или жизни лишить. А сколько их было, ведь прикладывались по мою душу каждый божий день. Удивляются: живучий гадина, все терпит, разве что под дурака не косит. И опять бьют, но боль-то копится во мне, я даже мечтать стал. Вижу сытую Ванину рожу и будто плюю в нее, топчу, режу, рву, жгу, расстреливаю, а когда бурая каша замесится, вроде грязи, то тогда снова все начинается, и так по кругу, изо дня в день.

Ноги окрепли, но от врачей не слышал про выписку. И как-то является ко мне крысак. Говорит: собирайся, воронок дожидается — отбываешь в следственную тюрьму. Думал меня сразить. А я молча засобирался. Тюрьма так тюрьма, выживу, но Ванятку и по затоптанным следам достану. Дознаватель разволновался. Покрикивает: как же ты не поймешь, что решается твоя судьба? Я еще удивился, откуда в нем заботливость взялась. Может, этот крысак не такой уж бездушный человек и у него под мундиром сердчишко имеется. Я даже раскис, подумалось, что и с Ваняткой хорошо бы хоть на год раньше повстречаться. Но потом опамятовался: нет, пусть нераскаянного судят, пусть отсижу за свою правду. А когда ему сказал, что мне все равно — казарма, госпиталь или тюрьма, — крысак куда-то запропал. Просидел в палате до самого обеда, его дожидаясь, а мне врачи говорят: какой к лешему воронок, выписали тебя!

В полдень за мной приехали из полка. Говорят: дело давно закрыли. Про дознавателя спросил, сказали, что был из ротного разжалован за пьянку, потом пристроился в особом отделе — вот и выслуживается, чтобы капитанские погоны вернули. Без моего признания дело у него растеклось. Да во всем полку оно одному крысаку и было важным, по своей и Ваниной подлости делал. Но по белому меня не списали. Оставили и такого ковылять, объявили, что пошлют вышкарем в Заравшан, на зону, и дали на долечивание неделю.

В полковом лазарете выспрашивал про поваренка из русских. Боялся, что его услали. За пожевкой из лазарета ходили в столовую старшины, а то солдат-

ня воровала по дороге из бачков. И я одного старшину упросил: в столовке у меня человек роднее брата, повидаться бы с ним. А он из литовцев был, сам землячок в полку караулил и отдал мне свой наряд. Я стащил ложку, обломал и заточил черенок об камень. Спрятал заточку за пазухой и утром пошагал на заветную встречу с Ваней. И было страшнее, чем в мечтах. Все боялся, что заточка из-под живота выскользнет и все догадаются, схватят, в карцер уволотят.

Порог переступаю, задыхаюсь... И вижу то ли во сне, то ли наяву: в столовке пусто и светло, на столах скамейки задраны козлами, а один расставлен, и за ним чурки чифирят. А мой Ваня — он это, падаль! — у них под ногами ползает с тряпкой и тазиком. Они его матерят и объедками из мисок швыряются. Подобрал, опять накидали. Ухо у него растопыренное, черное от битья. И сам в изношенном исподнем белье, хотя такой же раскормленный, каким был.

Я хотел глазами с ним встретиться. Он обернулся и, вижу, не узнает меня. Но сообразил, что ему передышка вышла, схватил свой тазик погнутый и в поварскую попятился. А на меня чурки загалдели: чего надо в такую рань? Отвечаю, что из лазарета, за пайками.

От стола нехотя поднялся узбек и поманил за собой. У плиты он навалил в лазаретный бачок каши и отлучился, буркнув, чтобы я хлеба подождал. Я прислушивался к голосам, не отзовется ли где Ванечка. Выглянул из поварской, увидел его тазик в тупике. Прошагав пустой коридор, затаился и в наступившей тишине расслышал, что кто-то крысит за дверь. Рывком ее распахиваю, а это черная подсобка, где сушится недоеденный солдатней хлеб, его пересыпают солью и добавляют к сухим пайкам. Ваня мой согнулся над сухарями: горстку из плесневелых выудил, глотает их, давится, даже не разгрызает, чтобы скорей из подсобки бежать. А когда спугнули, сбросил сухари и сжался, точно должны пришибить.

Кто ты такой, спрашиваю. Отвечает, что Иван. Признаешь меня, спрашиваю. Он пригляделся и, надо же, покойнее задышал. Вижу по глазам, что вспомнил, но не понимает, зачем это я в подсобке его разыскал. И проговорил: «Что, рожу станешь бить?» Я гляжу на него и не знаю, что поделать: дурак он стал или притворяется дураком. «Это брехня, — отвечаю, — а я кончать с тобой буду». Ваня поскуцнел. Вижу, что на сухари тоскливо скосился, их жалеет. Я закричал в отчаянии: «Беги, чего ждешь?!» Он вздохнул, отлепив глаза от сухарей и уставился в стену. Ждет, приготовился от меня терпеть. Я заточку выхватил и хотел всадить. «Падаль, — кричу, — ты же меня обварил!» Он глядит на заточку и глупо улыбается, точно той же глупой пьяной улыбкой, какой скривился Петр, когда я его за грудки растрясал. Ложка из моих рук вывалилась, брякнув под ногами. Так и прошла моя минутка, покуда молчали. Узбек близко окрикнул: «Эй, лазарет!» Тут Ванька вздрогнул, шмыгнув к тазу и завозил на полах тряпкой.

Распаренный узбек высунулся из поварской, а увидав меня с Ванькой, проматерился, будто начальник: что, маму твою, земляка встретил? И когда заметил, что в распахнутой подсобке кто-то раскидал сухари, то потащил Ваньку за волосы: что, надоело помои хавать, да? Для меня тот человек, которого он за волосы таскал, Ванькой уже не был, будто Ванька мой где-то в земле зарыт. Но я понял, что узбек для того его мучает, чтобы передо мной силу показать. И сказал, что сам рассыпал сухари, думал, хлеборезка, хлеб обещанный искал. Он ухмыльнулся, что тут для свиней хлеб держат, а для лазарета хлеб на бачке лежит. Я стерпел: мне бы бачок не забыть, это он верно мыслит. Узбек тогда Ваньку отпустил. Я за бачком пошагал, мне скорей хотелось в лазарет. Но гляжу, что хлеборез две буханки выдал, а старшина-то мне твердил про три. Руки мои загорелись, будто обваренные. Я тогда и взвыл — они же Ивана, Ваньку у меня отняли, а он только мой был! Так с хлебом в столовку и кинулся. Над кружками и чайником, где они чифирят, жженный дым стелется, благодать. Еще буханку, кричу, быстро, суки! Они подавились, а мне-то весело, хорошо. Я то-

го и жду, чтобы они теперь набросились на меня — все, сколько их есть, чтобы сцепиться со всеми, хоть со всем миром, рвать его зубами, биться, пинать. Ты чего, братишка, говорят, борзость заела? А я кричу, что теперь два хлеба гоните, без двух землю заставлю жрать. Они загалдели по-своему, а мне душно, изнаываю, что тянут, давай, наваливайся скорее, попробуй раздави! А старший оборвал своих людей, зло шикнул на хлебореза, и тот побежал, вынес мне две пахучие ржаные буханки, так на руки, точно поленья, к остальным и положил...

И я приплелся в лазарет. Одна пустота. Хоть бы живое заворочалось в груди. Валяюсь днями на койке, думаю: как же теперь дальше жить? Я себе намерил до Ванечки, а дальше будто бы твердо знал, что дорожить нечем. И только в Заравшане вспомнил о матери. Один человек есть, который любит. Я должен ради нее жить.

Бивали меня и в Заравшане, но после Вани я так сильно никого возненавидеть не мог. Терпел, но прихотей скотских не исполнял. Скоро за чокнутого посчитали. Не понимали, почему терплю. Они цеплялись за жизнь и только тогда думали, что живут, когда выдергивали пайку друг у друга. Спали под шинелями, замерзая холодными ночами, потому что не желали прижаться друг к другу, каждый берег свое тепло. Хотя и я мало чем от них отличался. И про себя еще долго виноватых искал.

А что до часиков, то я жалел, что не разбил их вдребезги. Если бы мне предсказали, сколько за них вытерплю, то отдал бы сразу — хоть чеченам, хоть Ваньке, с рук долой. Да оставил бы Петру! Но кто такое предскажет? Вот и прятал их в сапоге, прятал в госпитале у старушек. И то чудом было, что не своровали. Может, поэтому ими еще дорожил. Прятал и в Заравшане от чужих глаз. Но устал. Всех боишься, все за тобой подглядывают, нороят своровать, и нету этому конца. А как-то забор на зоне завалился, прислали лагерных мастеровых, чтобы делали. Закончили они работу, попросили разрешения замутить на свежих щепках цифиря. Прапорщик наш разрешил, послал меня в лавку военторговскую, как они просили, — за чаем и конфетами. Я воротился и снова уставил на зеков автомат, а прапорщик развеселился. Говорит: никуда они не убегут, подсаживайся, наливай себе в кружку, если угощают. И хлебали мы цифирь, а один мастеровой сказал, что коней любит. Мне потому запомнилось, что редкая любовь. Когда зеков повели в лагерь, прапорщик рассказал про мужика, что он и отсиживает за конокрадство.

Может, разминулись бы. Но в день, когда вышел на волю, он слонялся потерянно по лагерной округе. Я его с вышки разглядел и порадовался, что человек освобожден, выжил. А потом про часики решил и подозвал его. Растолковал, что они в степи зарыты, и указал то место, отмеченное похожим на бочку валуном. Мужик подумал, что смеюсь над ним, даже обматерил в сердцах. Через сутки охрану сменили. Я сходил к валуну, чтобы проверить тайник. Он был разрыт, а рядом валялась пустая консервная банка и пакетишко, в которых я зарывал часы. И отлегло навсегда, последняя тяжесть свалилась... Человек этот остался для меня чужим. Но я того хотел, чтобы сделались часики ему дороги как нажитые горбом. Жалко стало, что заржавеют в земле. Они только у людей чего-то и стоят.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Лагерную роту в этот день будили до рассвета — за час до подъема, и без того раннего. Солдаты вставали с коек, начиная в сонливой зябкой тиши обдирать с них бельишко, и брели каждый со своим узлом на двор. Голые шелудивые ноги утопали по колену в пушечных жерлах сапог. Вода ручьилась в мглистом еще дворе по гулкому жестяному корыту. Кто оказался с краю, тот безгласно мучился один за всех. Достались ему холодные склизкие помои, а не вода.

Выстиранные простыни расстилали подальше в степи, на густой, пахнувшей дымом траве. Флаги их видны были, верно, далеко свысока — и небо сделалось мирным. Кому назначали — драили казарму, где рядами тянулись стальные скелеты солдатских коек. Остальные выбивали ремнями гудящие, как барабаны, матрасы. Пыль парила густо, как в бане, но до бани и надо было терпеть. Когда взошло солнце и воздух стал жарок, пыль вилась над отбитыми матрасами стайками, будто мошकारа. Пылинки покусывали потные лица. А дышать было уже легко. Беспальный чеченец, с рукой, похожей на копытце, — банщик, так и не ложился, кочегаря печь, всю ночь раскаливая огромную зачаженную цистерну. И вот кипяток пустился по очертеневшей трубе, рядышком, в приземистый глинобитный барак. Труба бурлила, грохотала. Магомед скалил в улыбочке зубы и, сам похожий на черта, корчился и отплясывал, будто б гарцевал на той дикой огненной трубе.

Кипяток давали в банный день, как пайку голодным, измученным телам. Кожа мягчала, жирнела, покрываясь каплями блаженной влаги. Солдат, набившихся в барак, уже сыто воротило от кипятка — хотелось постного холодку. Магомед просился в баню. Но мыться с ним близко пугались, прогнали дружным ревушим матом от распахнутой дверки. Чеченец сердился, ругался и, как обреченный, ждал. К солдатам в их самогонный пар заскочил по-хозяйски офицер. Но голый, без погон да фуражки, он помыкался в толпе гогочущих, орущих солдат, опрокинул шаечку-другую и смылся под шумок. А на воздухе, на выходе уже ждал, встав на раздачу трусов, одетый по форме — как трезвый пьяным задавал строгача.

Исподнее привозили уж стиранное из полка — сэкономили на дырках. Размеров не соблюдали — хватай, какие нервные, а досталось рваное — значит, сэкономили на тебе, таскай какое есть. В прачечной работали вольнонаемные. Нанимались в полк офицерские жены, кто оказался без работы в городе да при никудышных мужьях. Им-то и свозили в прачку со всех рот всю эту солдатскую срань да грязь, и они терпели, стирали трусы, майки, портянки, обслуживая, будто собственных мужей. Мысль эта была солдатне слаще всего на свете, за это готовы были потерпеть и свою жизнь, чтобы отыскать прореху в трусах да посмеяться, когда командир не слышал: «Дырка офицерская! Глянь, как от мужа гуляет! Офицера своего на солдата сменяла!»

Прожитая неделя стала похожей на загробный, но уже и забытый сон. Два взвода охраны по двадцать голов в каждом, сменяя друг дружку, впрягались и волокли тяготящие сутки караулов. Скитались между караулкой и казармой, и там и тут ночая как на стоянках, не зная, зачем живут. В караулах время прогало дружной да теплой. Туда носили, как заболевшим, еду из роты, и вместо маслянистых стен казарменной столовой обнимала едоков тесная, сдобренная воздухом солдатских хлебов кухонька, где по ночам варили чифирь, водили задушевные разговоры, слушали ощутимый до мурашек женский голос из радио. Голос этой дикторши по «Маяку» знали и слушали иные уж по году. Звали ее в карауле запросто — Валечкой. Иногда говорили, слыша ее снова из репродуктора: «Валечка пришла...» Ночами по караулке гуляли мыши. Если из темноты угла выкатывался наружу серый комок, чиркая по голым доскам, говорили тоже: «Валечка пришла...» — и пускали в свою компанию.

Из всех повинностей нести надо было одну — ходить на вышки. Спали не раздеваясь, вповалку. Свой автомат, выданный на сутки, жалко было сдавать обратно в оружейку: до того свикался с ним, стоя глухими ночами на вышке, что с родным существом. Железо это, чужое поначалу и тягостное, тайло в себе душу, как у собаки, — готовое исполнить в каждый миг волю человека и не знающее его страха да слабости. Но подневольная ночная жизнь в карауле казалась подземельем. Дневной свет не радовал, проникая лучиком в это безвыходное суточное заточение. На вышках жестоко томил распахнутый до горизонта непроглядный степной простор. Ветер одним духом своим волновал ровные густые травы, и они стелились по земле, громадные да голубоватые, будто

б сорвало с небес. На зоне всегда мучили мысли о доме. Тянуло отчаянно бросить службу да бежать в степь. Все плохие странности происходили в карауле: самострелы у солдат, оттуда родом были и все дезертиры; рискованные подсудные дела с зеками, когда могли пойти в штрафной и лупить до смерти, а могли сбежать из караулки в лагерь, понести дружбы свои да жизни ворами. Местом таких сходок была по ночам лагерная столовая — там слушали сказки сладкие воров да нажирались от их щедрот прямо со сковородки жареным мясом...

После бани, после пожевки — а давали масло и беленькие яички — наступило безгрешное воскресное затишье. На куцеватом плацу перед казармой было удивительно тихо и пусто. На зону уходили в шестом часу пополудни. Было время, что по воскресеньям маялись, слонялись по казарме и двору, затевая драки. Но кто-то придумал играть в футбол. Мячом стал подсумок от противогаса, набитый портянками. Нашли близко с ротой подходящее место. Заборец из бетона там зарос травой и чуть возвышался над степью, похожий на вал. От него шагов двести было до другого забора — лечебно-трудового лагеря для пьяниц. Лечебка и рота много лет мирно делили этот пустырь. Он считался ничейной территорией. Земля здесь пустовала, отчужденная вообще от людей, как зона, близкая к охраняемой.

Алкашей охраняли без вышек. Заборы с колючей проволокой обходила ленивая, чуть не в тапочках домашняя охрана, без оружия и собак — нанимали туда мужиков со своим жильем, и в близких шахтерских городках желающих на эту работу хватало с избытком. Звали их здесь дружинниками и привыкли видеть, как они слонялись вдоль заборов, наряженные, что пугала, в мешковатые, болотного цвета вертухайские мундиры. Но за заборами у них было устроено по-тюремному: бараки, нары, отряды, поверки, сроки... В роту как-то взяли взаймы из лечебки художника алкаша. Расписывал ангелочками ленкомнату. Уморенный трезвостью, будто б голодом, ходячая скелетина. И он жаловался охотно всем любопытным, что сажают их в карцер и за каждую выпивку набавляют срок, хоть до самой смерти.

На пустыре росли дикие кусты колючки. Когда придумали играть по воскресеньям в футбол, их облили бензином и сожгли. По краям поля собрали из бревен ворота, которые с того дня пугали сторонних людей своим видом, похожие на виселицы.

Тряпичный мяч гоняли босиком, летая без сапог по полю. Очень скоро добыли футбольный — дорогой, кожаный. В роте стали появляться у многих кеды. Офицеры закрывали на эти обновления глаза и не выясняли, откуда, на какие деньги. Зачуханных, опущенных поначалу брезговали пускать на поле. Разрешали только глядеть. Но если кто-то из них по случаю проявлял себя — здорово умел с мячом, то незаметно оказывался и он на поле, орал, толкался за мяч, гоготал, и все забывали, кто он такой, прощали его на один этот день. Всю неделю жили до воскресенья. А в оружейной комнате под замком и за решеткой хранился и пузатый черно-белый мячик. Там его прятали, чтобы не нарушал порядка в казарме, в углу за оружейным шкафом.

Играли тайком на порцайки, и эти игры на поле по воскресеньям стали все одно что карточными. Играли с ротами, что по соседству, из Долинки и Сангородка. Был матч с командой зеков, которым очень гордилось начальство; отборная команда из солдат да офицеров билась с босоногой полуголой ватагой зеков. Из дивизии, из Алма-Аты, прибыл корреспондент окружной газеты — важный худой майор с новеньким, как лакированным, фотоаппаратом на груди; играли в тот день и час, чтобы ему было удобно. Зеков привели из лагеря под конвоем. Их болельщики орал, но не в силах были докричаться с крыш лагерных барачков. Половина солдат охраняла, сидели у кромки поля с автоматами. Но судил начальник лагеря — это должно было считаться их, заключенных, привилегией в этой игре. В роте перед тем довели до сведения солдат без шуток, что если заключенные лагеря их обыграют, то футболу больше не бывать. Зеки носились по полю чертями, матом валило от них, что дымом от огня, но конвойные, будто как в жизни, догоняли их да дружно теснили проскочивших к

воротам отчаянных одиночек, а удары по мячу шарахали, что выстрелы. В лагере эта победа солдат вовсе не родила беспорядков, чего опасалось начальство. Победу краснопогонников над собой там никогда б не признали — скорей бы сдохли, чем стать у них обиженками. Кто был у них за вратаря — того, бедолагу, верно, хоть тайком, но опустили. А солдат только задирали криками, что за порцайку наняты были с ними играть активисты да суки, а всем честным в подлость с легавыми иметь дело — и клали они на этот ментовский футбол!

В тот день до обеда тоже гонялись по полю. Сказали офицеру, получили из оружейки футбольный мяч. Баня пошла насмарку — все уже были мокрые чернушным потом, купались в грязных облачках пыли. Солнце пекло шелудивые спины ровным суховатым жаром. Въевшись в кожу, горелый коричневый загар делал полуголых солдат похожими на мавров. Когда мяч мазал в никуда и сохлое поле без него вмиг вымирало, солдатня разбрелась. Всем было лень бежать за мячом. Морочила головы жара. Стоя в разных концах поля, орались друг с другом, выкрикивая что-то рваное, задохшееся, непонятное. Матерились. Кого-то заставляли бежать по следу мяча и, когда тот выскакивал на поле, вяло принимались катать его, будто б выдохся из него воздух, но вдруг зажигались, забывали обо всем — и мяч снова бешено метался да скакал.

Жара растеклась лениво, сладко по жилам. И в какое-то время стало казаться, что солнце поблекло, ушло глубже в потускневшее небо. Усталым людям и все почудилось уставшим, прожитым. Солдатня еще тлела разговорцами — обидами да руганью. Обсуждая, кто как отыграл, развалились, улеглись в траве на краю взбаламученного поля и глядели уж на него, будто б с берега на озерцо. Хотелось пить, стали грезить холодным лимонадом — всегда с поля увиливали незаметно для офицеров в продмаг, скинувшись деньжатами. Но, чтобы сгонять на станцию, в этот раз не наскребли даже на пачку сигарет. Голодно подумали про обед, о жирных пахучих своих пайках. А до полудня надо было терпеть еще долгие часы.

Дорога, что уходила к станции, пустынно зияла невдалеке у всех на глазах. Накануне обеда лагерная округа вымирала, не было слышно даже шума разбонны, где ковали день и ночь сеялки. Тихо доходяжничала и лечебка. Заборы из тифозных забеленных досок на том берегу успокоенного поля хранили унылое, больное молчание.

Два человека проявились на гладкой песчаной дороге. Приближались со стороны станции, нарядно одетые, как нездешние. Но руки у них были пусты — не нагружены, как у многих приезжающих на свидания родственников. Они нетвердо шагали в обнимку, но строго и как-то слепо держались посередке. Дорога, на их счастье, была пуста. А они, казалось, ничего вокруг себя не понимали. Ветер горбил за их спинами чистые белые рубахи с распахнутыми воротами и обдувал старомодные брючки — расклеванные и блестящие глажкой, как антрацит.

Завидев неожиданно солдатню, человек отцепился от другого и пошагал напрямик к футбольному полю; коренастый и бодрый, похожий на катерок. Поодиночке они обрели возраст, лица. За ним, за стариком, подался нехотя бодливо тощий смуглый парень. Можно было подумать, что старик сорвался что-то узнать. Поэтому мало уже удивлялись, когда он подоспел. Крякнул: «Здорово, сынки! Как жизнь? Закурите наших с фильтром?» Солдаты здоровались и тянулись с охотой за сигаретками. «Да все их на хрен спалите! Небось соскучились здесь по таким. Ну, служивые, как у вас она-то? Жизнь?» — бодрился и бодрился старик. Солдаты глядели на пылающую, будто волдырь, картошину стариковского носа, чуяли хмельной кислый душок и невпопад глуховато отвечали: «Живы еще... Как у всех... Охота домой»... Дедок сунул руки в карманы, крякнул, встал перед ними горделиво и затянул разговор: «А я вот, сынки, служил на Ледовом окояне, во флоте! Лодка наша называлась «Камчатка», слышали такую? Год ходили под водой. Раз американца торпедой под-

били. Ну! Американец нас вздумал к берегу своему за хвост утащить! Ну, мы и шамальнули... Потом кому трибунал, кого к наградам...— В мутных водянистых глазах вдруг крепенко сверкнула слеза.— Дайте, что ль, закурить... Эх, была жизнь! — Пачку сигарет, которой только успел одарить, неловко протянули обратно хозяину.— Да нет, сынки, палите. Я одну возьму, а больше не стану. Разрешаете? — Солдаты уже чувствовали что-то чужое.— А это сын мой! Вассилием звать. Сам меня отыскал. Признал, ото всех телера защищает. Вон какой, тоже служил во флоте,— сказал торжественно старик и крикнул нараспев, красуясь перед солдатами: — Васька, пентюх ты, швартуйся к нашему причалу! Здешя нашенские все ребята, братишки! Ишь... Ревнует, обижается, что с вами курю. Ну, цыганка, а не мужик. Вот и мать его этих была кровей. Это в нее чернявый такой. А от меня у него походка». Парень стоял угрюмо в отдалении и чего-то ждал. От обиды он и вправду налился кровью, окреп, вытрезвел, как железка, и бросился быстрым ходульным шагом к старику. Но у незримой черты снова встал и то ли в забытье, то ли со зла отчаянно выпалил: «Батя, с кем ты разговариваешь, они ж менты!»

Через минуту до поля донесло немирный гул, раскаты криков и топот. «Держи их, хватайте этих сук!» От лечебки бежала спущенная как с цепи свора расхристанных мужиков из охраны. Вертухай лечебно-трудового лагеря ко-го-то ловили, гнали, и неясно было кого, будто б друг дружку.

Старик с парнем затихли, но не двинулись с места. Они стояли как наказанные. Солдаты повскакивали, но и растерялись, потому что эти двое даже не пытались бежать. Вертухай высыпали на поле, их было четверо. Вдруг парень дрогнул и рванулся куда-то в сторону, а на лету истошно заорал: «Батя, беги!» Старик тоже мелко задрожал и только протягивал к нему руки: «Сынок, сынок...» Тот почти удрал и выскочил на пустынную вольную дорогу. И всю злость вертухай обрушили на старика. Его сшибли, стали лупить сапогами. Слышны были только стоны да мат. Потом его будто вздернули под локотки и поволокли. «Бляди... Падлы... Чтоб вы сдохли...» — жалобно ныл старик, чавкая кровью. «Поговори! — рыкнул от переживаний мужик, идущий позади.— Тварь, алкаши проклятый!» «Баатяя! Убьюу...» — раздался снова истошный вопль. На вертухаев летел взъяренный до сумасшествия парень с булыжником в руке. Вертухай пугливо кинули старика; они и солдаты бросились врассыпную. Парень швырнул булыжником. Бегущие опомнились, мигом повернули да покатали на парня дружной радостной волной.

Старик так и валялся в пыли. Только смог перевалиться набок и, задирая башку, хрипел: «Бей, сынок! Моряки не сдаются!» Парня гоняли по пыльному махонькому полю, куда он сам себя заточил, затравливая, как зверушку. Эта беготня длилась несколько кромешных минут. Он рвался на помощь к старику, не постигая, верно, что сам-то кружит и спасается от вертухаев да солдат. Кто-то сумел вцепиться ему в рубашку, она хряснула, и в кулаке остался только белый рваный клоч. Но уже успели — подсекли, сшибли, стали топтать. Пойманных алкашей скрутили ремнями. В драных, замаранных рубахах, со скрученными за спиной руками, шатаясь от свинцовой тяжести побоев, они уже сами глухо побрели в лечебно-трудоу лагерь, понукаемые смеющимися над ними, по добревшими ни с того ни с сего мужиками.

После этой дружной работы к солдатам прилепился как к своим оставшийся перекурить вертухай. Одинокого нескладного мужика угостили из доставшейся на дармовщинку стариковской пачки. «Им бы только стакан, ничего святого у них нету... Алкаши проклятые! У нас эти свадьбы собачьи что ни день. Они ж никакие не родные,— жаловался мужик.— Прикидываются, чтобы на радостях налили, а через неделю полагаются, разбегутся. А эти как удрали, не пойму! Спасибо, увидали мы с вахты, а то ищи их потом до утра. Свинья везде грязь найдет. Бежать-то им некуда, до первой канавы. Но ты поди найди, где эта канава-то». Солдаты довольно смеялись над жалобами мужика. Вся охрана эта была для них смешной — без вышек, без овчарок, без автоматов. Мужик заговорил про футбол, с тоской глядя на затаившийся в траве мячик: «Вот бы

сыграть... А то делать нечего. Ну, чего, и у нас бы команда собралась, еще вздуем вас, как щенят. Если что, мы и на деньги согласные. Червонец с проигравшего. Ну, чего жалеете? Поле ваше — деньги наши. Устроим с весны до осени свой чемпионат!»

Слово за слово мужику разрешили испытать мяч, ударить по воротам... Футболисты снова позабыли о времени и очнулись, когда на поле прибежал запыхавшийся послушный солдатик, посланный напрямик с плаца, где их уже ждал в строю меньший остаток взвода.

В шестом часу, гремя автоматами и пуская за собой по дороге муторный пыльный дымок, отдохнувший за воскресенье взвод шагал бодро на зону. Казарма и двор осиротели без солдат. Но вскорости на той же дороге показался новый их строй — чуть озлобленных да усталых, тех, что только сменились после суток в карауле. Это воскресенье им было не в корм. Свой выходной они задарма разменяли на службе, а потому, может, и накопили злости. Так всегда бывало: повезло отдыхать в этот день первому взводу — значит, не повезло второму. Офицеры выгоняли из свежевыстланного убранства спального помещения, куда манила нетронутая чистота. От солдатского выходного на их долю осталось кино. Ленинскую комнату держали под замком и водили солдат раз в неделю, как в баню, когда крутили кино, и они сидели блаженно в темноте, в теплоте. Глядели на сверкающих актерок и миры. А сами беззвучно засыпали.



Владимир ФРОЛОВ

Заблудший флейтист

* * *

И сидим мы, дурачки...

Александр Блок

Не найти золотые ворота,
Не поймать молодую звезду...
Легче жить в колпачке обормота
В шалаше на тенистом пруду,
Ни о чем загодя не гадая
По свалившейся в руки звезде,
За излом бытия полагая
Легкий дым на вечерней воде.

* * *

В кофейнике древний кончается чай,
Лучинка спасается в плошке...
Не помнишь, хозяин, так не привечай,
А веришь — встречай по одежке.
Ты прежде любил мой разбойничий свист
И хлеб пополам с лебедою...
А ныне я просто заблудший флейтист
Иль дым над осенней водою.
Жалей босяка, но стерпи, не сорвись
Ни плачем, ни вольною песней
В неслыханную беззащитную высь,
Где я разгулялся над бездной.

* * *

Слабость небесного света	Душу хмельную отводит —
Ошеломительна там,	Дразнит рожденье свое.
Где окончание лета	Или окраине лета
Бродит по сонным листам,	Праздничнее и вольней
Время и ветки отводит,	Верность бездомного света
Падая на былье;	Пригоршне листьев и дней.

* * *

Глубокая зима, и, щедрая, лежит
Сумой перед тобою дальняя дорога,
Где дольний ветерок блаженствует, блажит,
Не вечного, так вещего прельщая бога.
Снежком над колушком порхнет из-под саней,
Треух соломенный попутно нахлобучив,

Прорвется в соснячок, еще мудрей, смешней —
 Простеcki заплутает в низкорослых тучах:
 Куда спешить, кого спасать, коль впереди
 Разлука первая, сердечная досада...
 И Ты, Хозяин милосердный, отпусти
 Со мной его над вольным поднебесьем сада.

* * *

Во власти свежих встреч и снов	Про вервие и парафин —
Забудь, что ты меня забыла.	Мне помирать смешно и рано —
Мы отделились до основ,	В земном расколоте раю
Но ты не выиграла, сивилла.	Гуляет ветерочек зыбкий
Пусть шестикрылый серафим	Твоей воинственной улыбки
Пищит с докучного экрана	У бездны мрачной на краю.

* * *

Полна дневная жизнь нелепицы и вздора.
 Когда б не забывать о займах и долгах,
 Зачем тогда и жить, боясь чужого взора,
 Ни разу не солгав и правды не взалкав?

Не оттого ль дана небесная поблажка
 Уму, когда средь звезд ночной сверчок скрипит?
 Легко на свете жить — и радостно, и тяжко:
 Луна перед тобой и сквозь тебя глядит —
 А за тобой тахта и белая рубашка,
 И в ней судьба твоя, поджавши ноги, спит.

* * *

Слишком темная вода,	— Неужели не умру?..
Слишком беглая прохлада.	И не выживу, пожалуй!
И сорвавшийся — куда,	Стойкую подставлю грудь
От кого — дымок из сада.	Палачу под звон осиний,
Пролетает на юру	Завершая крестный путь
И насмешничает, шалый:	В поднебесье над осиной...

* * *

В городских беззаконных и тесных дворах
 Лишь стемнеет — звенит вопиющего глас,
 Словно в чаше, — совсем не за честь или страх —
 В наказанье, прощенье, надежду, отказ?..

Только черта какого бродяга орет,
 Если время владычествовать соловью,
 И согражданам восхитительно врет,
 Как шалил пилигримом в аду и раю.

Что рулады его — в клетке и под замком
 Жизнь — малиновка, пеночка, Божия тварь
 Бьется, льется, колеблется флейтой-дымком,
 Разоравшегося удивляя едва ль.

Из литературного наследия

Андрей СОБОЛЬ

П а н о п т и к у м

ПОВЕСТЬ

Последнее десятилетие принесло читателям многое из, казалось бы, погребенного навсегда. А писателям, будто бы канувшим в безголовую Лету, досталось наконец выстраданное муками заслуженное посмертье — которое для пишущих только и есть жизнь: журнальные публикации, собрания сочинений, отдельные тома, статьи, исследования... Но есть писательские судьбы, над которыми — словно рок Истории: и прошлая известность, даже слава, и уникальная творческая манера, и неповторимый взгляд на мироздание — все есть, кроме... напечатанных сегодня произведений. Такова судьба писателя Андрея Соболя.

Андрей Михайлович Соболев (настоящее имя — Юлий) родился в 1888 г. в Саратове, губернском городе с богатой историей и традициями. Но русская провинция, как бы ярко ни сияли фонари на главной городской улице, как бы роскошны ни были театральные представления, как бы ни тянулись к Европе богатые купцы-волжане, все равно засасывает, тянет в глубину суеверий, запретов. И быт провинциальной еврейской семьи, пусть и живущей по сю сторону черты оседлости, все же мало отличается от местечкового. А юноша жаждал свободы — и в 14 лет ушел из дома.

Он исходил Среднюю Россию, добрался и до Сибири. В 1904 г. примкнул к революционерам, участвовал в антиправительственных выступлениях 1905 г., был арестован и очутился в Зерентуйской каторжной тюрьме, центральной на Нерчинской каторге. Не одну тысячу жизней сгубил Зерентуй за полтора века существования...

Одна из самых удивительных черт характера Андрея Соболя — непредставимое, почти нечеловеческое бесстрашие. Сутулый, изможденный — в чем держится душа? — он бежал из Зерентуя, с поселения, пройдя колесуху — каторжную дорогу, без жалости губившую сильных, молодых, не наживших туберкулеза. В 1909 г. оказался за границей, скитался по Европе. В начале десятых годов выпустил роман о террористах — «Пыль». С 1914 г. стал печататься в «Русском богатстве», легальном журнале народолюбцев. В 1915 г. «Пыль» принесла ему известность. В начале первой мировой рвался вступить во французскую армию, но из-за туберкулеза получил отказ.

Еще о бесстрашии: чувства опасности Соболев не знал совершенно. Один из его героев перевозит заветный сундучок с бомбами, обязательное достояние анархиста, «глаз с него не спуская, всю дорогу оцупывая... подложив тюфяк снизу», а сам автор бомбы носил без осторожности, небрежно, покуривая на ходу.

В 1917 г. вернулся в Россию, стал комиссаром Временного правительства: неограниченные полномочия, власть, рамок не знающая, — да и кто их определял тогда? — охрана, собственный салон-вагон. Но вскоре, разочаровавшись во всем, отправился в Одессу — писать роман. Его арестовали белые, но — уцелел. Затем был снова арестован, красными, и опять отпустили: скандал в мировой прессе — Соболев к тому времени был фигурой заметной. Переехал в Москву. А в Москве в 1922 г. судили эсеров; процесс был громкий, фальсифицированный. Угроза нависла и над Соболевым. Он не боялся внешней угрозы, но копилась тяжесть внутренняя, разрушавшая исподволь. В 1926 г. застрелился на Тверском бульваре.

Литературное наследие Соболя обширно и весьма интересно, а читатель с ним едва знаком: его произведения, среди которых и повесть «Паноптикум», печатались в двадцатые годы мизерными тиражами. Герои Соболя сродни одержи-

мым террористам Б. Савинкова. Его холодноватая, на первый взгляд скользкая по поверхности жизни, лишь детали подмечающая речь — на самом деле средоточие скрытой, вдруг прорывающейся, неутолимой, алчной жажды, неукротимой энергии. Он не углубляется в душевное состояние тех, о ком пишет, а лишь бегом, скоропостижно очерчивает силуэты их — но силуэты эти обрастают плотью.

Таков творческий метод — «бесстрастие», еще Валерием Брюсовым заповеданное: «В минуты любовных объятий / К бесстрастию себя приневолю, / И в час беспощадных распятий / Прославь иступленную боль». Русский читатель получит представление об этой манере в экспортном варианте и гораздо позже — читая Хэмингуэя и Ремарка. Здесь авторская позиция не выражена явно, присутствуя в том лишь, что фиксирует взгляд. Однако такое фиксируется и так, что какое уж тут «бесстрастие»: незля, не в человеческих силах описывать все это — сорвешься на истерику, на крик.

Спустя годы окажется: писали так и в Советской России, но манера сия в печатных органах вытеснялась поощряемым властью пафосом созидания и борьбы, тогда как писатель, не «переживающий», а «представляющий», — фигура властям неприятная, хотя для литературы 20-х годов и типичная (таковы Пильняк и Отчиста Бабель). Для них литератор — не «лирик», а «физиолог», «натуралист», литература — свидетельские показания о жизни: время суда придет, но — не теперь.

Андрей Соболев тоже подходит к герою «извне», но герой этот почти всегда представляет в произведении самого автора. Каждая хоть сколько-нибудь значительная фигура автобиографична. Каждый «бытовой», «жизненный» эпизод — картина, имеющая быть в авторской душе и описанная внешнего оформления. Книги Соболева — это прежде всего изображение его внутреннего мира, обретающего форму благодаря поглощению «внешнего», стороннего. «Я» Соболева прорывается в каждой строке, и его «объективность» — эксперимент с самим собой, репертурный герой.

Творчество Пильняка и Бабеля пронизано вниманием к внутренней природной силе, страсти жизненного делания, вырвавшейся из-под контроля разума, — да и было ли чему контролировать? Много ли «разума» нажито их героями? Делание это кроваво, но радостно, а посему вызывает желание изобразить некое подобие карнавного действия. Но там, где у Бабеля — карнавал, у Соболева — именно потому, что внутреннее существование ощущается как некоторая безвыходность, — паноптикум. Что-то ненастоящее, какая-то мелочь мешает стать человеком, а не персонажем, фигурой восковой.

И потому повесть «Паноптикум» очень важна для понимания творчества Андрея Соболева. В начале нашего века паноптикумы — это и кусткамера, и музей, причем какой угодно: хочешь — краеведческий, хочешь — исторический, биологический, художественный. Здесь хранились различные необычайные, редкие, курьезные существа и предметы, от восковых фигур до заспиртованных уродцев. Собственно, все это описано в повести. Однако в числе экспонатов паноптикума Красно-Селимска живые люди: Маргарита с сердцем в правом боку, лилипут Альфонс-Егорушка, да и сам владелец с забавной фамилией Цимбалюк, с бородкой — не какой-нибудь, а «фальеровской». Выразительная деталь: именно такую бородку дожа-героя на лице Цимбалюка: так в паноптикум попадает и сниженная, скомпрометированная романтическая деталь.

Но и другие герои повести — анархисты-индивидуалисты со всеми их бомбами, с их чувством свободы — тоже из паноптикума, ибо тоже — ненастоящие, сами себя и жизнь свою выдумавшие, курьезные. Разве что треххаришный Васенька, с высоты своего роста горизонт видящий, да еврей Соломон, то ли веселый, то ли всю скорбь своего народа несущий в душе, — живые. Что привело к анархистам Васеньку? Да пустяки: все интересно, все живое, и все в едином вихре закручено. А откуда лежал путь Соломона? Из душевного чада местечка, из древних, как сама истина, лабиринтов, выйти из которых можно лишь случайно, вслепую, если путеводная нить не оборвана, значит, приведет не к спасению, а к гибели: обратно. И мечтают оба они по-настоящему, искренне, и существуют так же, и потому именно им сужден исход невосприимчивыми из этого кукольного мира. И ведь не бегут из милости, как жена анархиста Развозжаева Серафима, а по собственной доброй

воле, на все четыре стороны. Только вот куда пойдут они, самые живые, самые свободные? Да в следующий паноптикум, и станут от одного к другому переходить. Потому что весь мир для писателя Андрея Соболя, у которого мысль была сильнее инстинкта, сильнее физической немоги, для этого раскаявшегося анархиста, террориста, мечтателя — призрачен, перевернут: в крошечном недочеловеческом тельце лилипута — любовь огромная, в способности разрушить все вокруг — бессилие переделать мир. И только путь, дорога, стремление, поиск отгадки защищают от давящего, надчеловеческого мирового «так заведено».

Глава первая

I

Белые дни и белые ночи — все белым-бело. БСугробы в рост человеческий, за воротами во дворах, по садам за плетнями, по огородам горы неукатанные, между небом и землей ни одной точки, ни одного пятнышка, а внизу куцые домишки и покляпые хибарки, как изюминки в сдобном, пушистом каравае.

Второй год жизни города Красно-Селимска — сотни лет знает за собой городок Царево-Селимск. Но — красный ударил по царскому затылку, исправника застрелили на Козьей Горке, в участке на стенке четырехугольное белесоватое пятно вместо портрета с короной и державой, на тех же гнилых обоях с мушинными воспоминаниями, но на другой, соседней, стене новый портрет, гарнизонный начальник на Кубани, в его дому районный комитет, из Борисо-Глебской обители раку с мощами увезли в вагоне с надписью «Рыба», петербургский футурист в фуфайке с вырезом открыл студию поэтики, а снег все падает и падает.

До снега, в мокрую, мелко дрожащую осень, Красно-Селимск во тьме: на электрической станции нет дров, за керосином красноселимцы охотятся, точно в прериях за редкостным зверем, главного мешочника Евдокимова за пять улиц слышно — так несет от него нобелем*, мазутом и еще чем-то, в студии поэтики после вечернего семинария девушка одна дает петербургскому футуристу пощечину и кричит надорванно: «Негодяй, обманул!» — и футурист поутру удирает с казенным билетом и мандатом без оглядки, древняя старушка в хлебной очереди плачет кровавой слезой и грозит рассказать Господу Богу про все людские пакости, а дождь все сечет да сечет.

Дождь над Красно-Селимском — войлоком тучи над всеми полями, над всеми оврагами, буераками и проселочными дорогами, мокнет Питер, мокнет Кострома, грязь в Москве у Иверской, мутные потоки в Канавино под Нижним — на Урале, в Сибири, на Украине по колено в воде полки, дивизии, мокрые пушки, мокрые обозы, мокрые декреты на русских мокрых заборах — и шлепает по лужам Русь, шлепает и не боится, шлепает и сквозь тучи с солнцем беседу ведет:

— А ну!

...Дождик, дождик, перестань...

II

В ноябре, сейчас же после празднования годовщины, наглянул** в Красно-Селимск важный гость из Москвы. У него свой вагон и автомобиль на прицепленной платформе. Два раза рявкнула сирена, взбудоражила улочки, переулки, тупички, лошадей напугала и двадцатипятилетних, от регистрации уклонив-

* То есть керосином; по имени основателя крупнейшего нефтепромышленного предприятия — Л. Э. Нобеля (1831—1888).

** Авторское словоупотребление. См. ср.: «**Наглядывать, надглядывать и наглядать, наглядеть** над чем, надзирать, насматривать, наблюдать, присматривать, брать что под свой надзор. Ты бы нагляддел, понагляддел без меня за рабочими. Я и так всегда наглядываю. <...> **Наглядничать**, присматривать за чем слегка, по временам, или укорит. приглядывать со стороны. мешаясь в чужое дело, или согладать, лазутничать» (В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 2, с. 393).

шихся, а на третьем осеклась: автомобиль застрял на главной улице; засосала грязь, запутался в темноте — и в этот же час Красно-Селимск твердо и решительно объявил войну тьме.

Тьма проваливается, как в театральные люк побежденный дьявол, один за другим бегут вперегонку электрические чудотворцы, и после долгого перерыва загорелась на Спасо-Кудринской, радуя мальчишек, курьеров и советских барышень, правда, худосочная — всего-навсего три лампочки, — но все же ослепительная вывеска

«Паноптикум».

На Спасо-Кудринской, ныне Триумф Революции, почти на главной улице — неподалеку Совет, тут же центральный распределитель, здесь же заколоченная, полусожженная охранка. Горит, зовет, манит, привлекает вывеска, и еще как горит, и еще как зовет, и какие чудеса обещает!

Дождь, грязь, слякоть, дождь, дождь, темно-бурая мешанина под ногами, над головой небо, как байковое больничное одеяло, — и все-таки:

«Паноптикум».

Но как только завывла первая метель — так все прахом пошло в Паноптикуме.

А начало незадачливым дням положил скелет морского человека.

Внезапно, неизвестно почему он уронил свои подпорки и мелко рассыпался, но так, что ребра легли поверх коленных чашек, а берцовая кость упала на скулы. Раньше гордо и даже презрительно-гордо стоящий на возвышении, точно державный повелитель, вознесенный над ничтожной и одноликой толпой, он обратился в нелепую кучу желтых, нет, даже не костей, а пустых дрянненьких костяшек.

Почему — неизвестно; может быть, от холода: весь ноябрь не топили; возможно, и от тоски: мало внимания уделяли ему редкие посетители и слишком часто стреляли на улице и так ощутительно близко, что у скелета пальцы вздрагивали, точно подвески на люстре, а может быть, от обиды и горечи: только вчера какой-то матрос сунул ему в рот слюнявый окурочок и по черепной крышке хлопнул ладонью, сказав: «Шут гороховый, идиот собачий».

И свалился с трона своего и пал низко морской человек — бедная залетная птица из неведомых стран — и кончил дни свои под свист русского зимнего ветра на Спасо-Кудринской, ныне Триумф Революции, дом номер три, Пущевского участка.

А в этот самый почти час начальник милиции составлял грозную неукоснительную бумажку о немедленном закрытии специального женского отделения как неприличного.

III

Милицейская барышня с челкой, в казенных валенках выстукивала на «Ундервуде»:

«...В 24 часа... не имеющего в себе никакого научного следа, кроме как порнографии и приманки для темных элементов города...»

И отделение для женщин, где по пятницам в банках из-под варенья показывали зародышей, в ящике со стеклянной крышкой слепки половых органов, кишок и сифилитических язв, а за синей занавеской фазы беременности и знаменитых куртизанок, закрылось.

Закрылось бесповоротно, как окончательно в небытие ушел морской человек — к картофельной шелухе, к битому стеклу, к отбросам: из морских таинственных глубин, пробираясь Лондоном, Тулой, Пекином, Либавой, Калькуттой, через десятилетия, столетия, туманы, тропики, снега, мимо кафедр, цирков, полисменов, цилиндров, городских, кепок, солдат, учителей, московских кожаных курток, парижских гаменов, проституток, сквозь революции, войны, бунты — к помойной яме на задворках бывшего дома купца Чашина.

IV

Объяснения насчет язв и прочего давал сам Цимбалюк.

Был он сед, вежлив и почтен с виду, а фотографиями и картинками ведала Маргарита, она же в остальные дни, кроме пятниц, женщина с сердцем в правом боку, в правом без обмана: приложишься и слышишь, как бьется живое сердце, по-настоящему, как у всех прочих в левом.

V

Маргарита, скрепя правое сердце, перетащила банки в чуланчик, фотографии куртизанок (от любовниц фараона Рамзеса до черкешенки Абдул-Гамида) сунула за картину «Клеопатра на ложе», Цимбалюк забил ящик с язвами, а в субботу, подсчитав выручку, смтенно потряс фальеровской бородкой и ночью поколотил Маргариту — бил ее по левому боку, оберегая правый.

А тут еще что-то свернулось в груди раненого бура, и он перестал дышать: крякнул, поперхнулся и затих. И вдруг восковая тиролька с щелочкой сбоку, куда раньше бросали пятаки, стала лениво мигать, точно вошла в соглашение с буром. Мигала нехотя, паскудненько, не чувствовалось в ней прежнего усердия и не искрилась прежняя игривость, когда за медный царский пятак подмигивала тонко, завлекательно, словно приглашала к себе для приятных утех.

Никто не мигает, никто не дышит — мертвым-мертво, как на улице, где снежная пыль завивается и несется вдоль беспробудных домов. Никто не дышит, не подмигивает, к ящику с монетами Людовиков, Карлов и Иоаннов Безземельных редкий приближается, хотя осанито возглашает Цимбалюк, что сию монету в своих собственных руках держал Людовик-Кенз Шестнадцатый*, и розовощекая Мария Антуанетта в напудренном парике напрасно подтверждает это царственной улыбкой пунцовых губ — королева, казненная народом за излишества и развратную жизнь, и тщетно в ящике с двумя глазками пылает пожар Брест-Литовска и безуспешно гарцует на Аркольском мосту маленький пузатый корсиканец.

И если бы не человек — кости-да-кожа — Збойко, двенадцатипудовая женщина Жарикова и девица с трехаршинной косой — Клара Анисимовна да Лилипут Альфонс Матэ, он же Егор Сушков, клинский мещанин, побегала бы Маргарита к реке и возле зеленоватой проруби расплатилась бы сразу за все мосты, за все язвы и все революции: и за ту, когда казнят за непотребную жизнь, и за ту, когда дров не сыскать и слесарь Митька не хочет чинить раненого бура без ордера.

В декабрьский мороз овеществленный — хоть на ощупь бери,— карающий в пустынных улицах, в декабрьскую стужь, цепкую и в домах, когда на окнах тройные узоры, а за окнами тройная тишь, белая гладь и белая смерть, упали со счетов бур в австрийской куртке и красноармейских обмотках, тиролька-завлекательница, крохотные зародыши в мутных банках, где раньше липко грудилась засахаренная малина, и уродец с раздвоенной головой, раскосый, блеклый и вялый, как дохлый лягушонок.

А в канун Рождества, метельный, голодный, безветчинный, в аннулированных карточках, вьюжно-хриплый, в саночках с промерзлой свеклой,— поспешили за мертвыми — гипсовыми, восковыми — и живые.

Первой исчезла двенадцатипудовая Жарикова, ставив платок Маргариты и бархатные туфли великой трагической актрисы Рашель, еврейки с крючковатым носом на восковом, цвета шафрана, лице. Платок и туфли, нырнув, выплыли на Новом Базаре в обмен на конину и кислую капусту: без капусты две-

* Вероятно, фигура авторской речи, прием, характеризующий и Цимбалюка, и обывателей, посещавших Паноптикум, их любовь к звучным, «значительным» словам. Иначе объяснить это словоупотребление трудно, ведь в буквальном переводе получается — «Людовик Пятнадцатый-Шестнадцатый». Наша догадка подтверждается и дальнейшим текстом повести: красноселимцы не отличают большевиков от анархистов и не могут адекватно оценить происходящие события («Анархисты власть берут» и т. п.). Это вполне закономерно: ведь все знания о мире они получали из единственного источника информации — того же Паноптикума.

надцатипудовая икала беспрестанно, испытывая особое стеснение в тугих набухших грудях с прямыми твердыми сосками.

За ней, лихо взмахнув косой, точно рыба хвостом подальше от крючка, ушла Клара Анисимовна, а дней через десять, уже коротко стриженная, в мелких кудряшках, приставала панельной к красноармейцам и быстро наметанным говорком просила угостить папироской «птичку-невеличку, сочувствующую большевичку».

Кожа-да-кости Збойко таял со дня на день, и хотя это на нем незаметно было — только лицом серел да уши свисали ниже, как у легавой,— Маргарита все же не сомневалась, что и он сбежит: недаром он к окнам подходил, на стекло дышал и голодными глазами шарил по соседним трубам — дымки выются, люди ложками стучат.

И все свои последние чаяния возложила Маргарита на лилипута, на Альфонса Матэ, на дряблые щечки его, на тоненькие ножки и ручки, на Егора Сушкова, на цилиндр его и сюртучок, на Егорушку — верного и неизменно-го,— на его большую преданную душу в крохотном тельце.

А вьюга — вьюга-то все разворачивалась и разворачивалась.

Потопила десяточек тощих елочек на Сенном рынке, заглушила рождественский звон, сани председателя Совета кувыркком сбросила в Лисий Овражек, как раз в ту минуту, когда председатель торопился на собрание с новым из центра декретом, а декрет важный, а овражек глубокий, и края его обледенели. Погубила Клару Анисимовну, заморозив ее, ошалевшую от ханжи*, в подворотне тайного кабака, отняла единственного в городе поросенка у подрядчика дров при комиссариате и перебросила на другой конец города, ночью, когда пришли арестовать за осинового вместо березовых. В трубе гадалки и хиромантки Миничкиной завывала звериным воем и в седьмой пот вогнала контр-адмиральшу Копрошматину, пришедшую не в первый и не в последний раз узнать по бубнам и пикам, когда уйдут большевики и где ныне сын ее, корнет с Георгием, красавец с белокурыми усами.

VI

И, на мгновение разорвав вьюгу, вышел из снега, из белой мешанины, лидер анархистов-эгоцентристов** Антон Развозжаев.

Раз-другой стукнул он в дверь Паноптикума — в храм Цимбалюка, нарушил тишину единственного убежища Маргариты, женщины с сердцем в правом боку.

И сердце это, как у всех прочих в левом, забилося жутким биением и замерло, холодея, когда, наткнувшись на Марию Антуанетту, крикнул Развозжаев:

— Где хозяин?

А Мария Антуанетта не выдержала напорного толчка, зашаталась, качнулась, упала во весь рост, и с коротким треском отскочила ее голова — отскочила и покатила по полу, рассыпая гипсовую пыль: синевато-белую, сухую кровь.

Глава вторая

I

На соборной площади, за холмом братской могилы, Яшка ущемил обледевшего мужичка, кончиком нагана заставил повернуть дровни назад, наградив обещанием четверти махорки и тонких афишек на собачьи лапки*** — и к пол-

* Самогон, изготовлявшийся китайцами (хан-ши).

** Вероятно, речь идет об анархистах-индивидуалистах, то есть не присоединившихся ни к одной из существовавших группировок. Анархисты-индивидуалисты считали, что свобода имманентна самому человеку, существует только в нем и только для него; поэтому терроризм, а порой бандитизм был для них оправданной формой существования.

*** То же, что козы ножки: самокрутки. обычно из крупно порезанного дешевого табака.

дню перевез в Паноптикум из прежнего жилища, из особняка, откуда вдрог пришлось удалиться, все групповое добро.

Чуфыкали дровни, везли в Паноптикум шрифт, козлы для пилки дров, детскую коляску Серафимы, типографский станок, печки железные, самовар и литературу.

На Малой Болотной зашептались:

— Большевики уходят.

Контр-адмиральша Копрошматина, обомлев от радости неопишуемой, по полу коленами шаркала, два башлыка рысцей побежали на Дурылинскую к соборному протоиерею, и башлык башлыку по дороге предлагал прежде всего ударить в большой во Владимирской, в комхозе* барышни роились и к казначею приставали, чтоб сразу за три месяца вперед выдали.

А для себя взял Яшка, захватив тайком, обернув тюлевой занавеской, чтоб Развозжаев не заметил, заводного слона с палаткой, с вожатым, постукивающим молоточком по слоновой башке,— затейливую игрушку из последних остатков княжеского добра. Князь вино курил, перегонные кубы служили верой и правдой, богатства множили, княгиня в кадетский комитет входила, с графиней Паниной переписывалась и слонами обзаводилась для счастья: слоны на туалетном столике, слоны на этажерках, слоненок на браслете. Обзаводилась, обзаводилась и всех слонов порастеряла: первый — туалетный — в апреле семнадцатого скovyрнулся, последний, замысловатый, с туринской выставки, Яшке достался — на Яшкино счастье, а князь ныне в Париже о России хлопочет и для нее и для своих кубов подходящие законы сочиняет.

А тяжелый сундучок, окованный медными полосками, глаз с него не спускающая, всю дорогу ощупывая его, Яшка перевез отдельно, подложив тюфяк снизу, и дома с самим Развозжаевым перенес его в заднюю комнату, про которую Развозжаев сказал, что он берет ее себе.

И на Большой Болотной зашушукались:

— Большевики золото увозят.

И два новых башлыка галопом помчались, мигом сугробы преодолев, к отставному полковнику Седенко, у кого уже лет десять ноги бубликом от подагры и ветхозаветная берданка припрятана в чулане, и башлык башлыку на ходу, мерзлыми рукавицами размахивая, твердили пароль.

За день все понемногу подошли, со всех концов города.

Пешком заявился Соломон, еврей с кривой горбинкой на носу и выпуклыми базедовыми глазами. Сразу на раненого бура набрел, прочел записку на животе о том, что бур дышит, тронул его, прислушался и тут же, не снимая пальто, стал ковырять перочинным ножиком. Ковырял, ковырял и доковырялся: бур задыхался, а Соломон, постояв немного, улыбнулся не то удивленно, не то радостно, но вдруг нахмурился, отошел и лег на ближайший диван, шапку натянув на уши.

На извозчике подъехали Лесничий и Васенька — Лесничий с воблой, Васенька с караваем; Васенька беззаботно напевал. Лесничий мрачнее лешего и воблу швырнул с размаху в качалку на колени Рашели.

Зину Киркову, девушку в очках, в высокой серой мерлушечьей шапке из тех, что круглый год носили когда-то актеры малороссийских трупп и скупщики лошадей, сутулую, в сафьяновых цветных сапожках из реквизита городского театра, кто-то в оленьей дохе примчал на широкобедрых санях с медвежьей полстью.

II

А дед Мариус Петрович, лысый, апостолообразный, как всегда пришел с ворохом газет и бумаг, как всегда пройдя мимо вещей, не поглядев, куда его судьба заново закинула, мигом умудрился чернила раздобыть, засел за столик,

* Сокращ. от «коммунальное хозяйство»; отдел местного исполкома, занимался благоустройством города и зданий. Особенно курьезен в описываемый момент в Красно-Селимске, где жизнь явно не располагает к подобному благоустройству.

прямо против уменьшительного зеркала — и отразился на зеркальной поверхности крохотный рыбарь Петр, ловец человеков, в старом, порыжевшем свитере.

III

Заскрипело перо, заскрипело — будет человечество счастливо, должно быть, будет человек горд, смел и свободен, орлом станет человек, а темная закандаленная земля вольным безоградным лесом.

В обед Яшка принес деду ячневой каши и воблы кусок.

Пожевал дед — и тот, что в зеркале, тоже губками пошевелил и тоже на бороде оставил немного каши и две-три чешуйки.

И опять побежало перо по старым бланкам военно-промышленного комитета: будет человек вольным богом, грянет вторая, пятая, седьмая революция — пусть, пусть! И кровь не страшна, и дым пожаров: кровь — дождь, за дымом — огонь очищающий, вся скверна сметется.

А в десять часов вечера, как водилось по коммунальному обычаю, Яшка повел деда к постели — ботинки с него снять и между прочим брюки: нагибаться дед не мог, сахалинское наследство не позволяло.

На следующий день Развозжаев перевез Серафиму и ребенка.

Совсем осатанела вьюга, в комок сжала Красно-Селимск, всех заставила молчать, а Серафиму не смогла.

— Отпусти меня, — просила Серафима по дороге. — Достань для меня пропуск и билет. Христом богом прошу: отпусти.

Развозжаев молчал; осыпанный белыми звездами, темнел, прямо глядя, сквозь снежную густую сеть, сгибался и оседал.

IV

К вечеру, как в незабвенное для Цимбалюка время — в дни «гала-экстренных программ», вспыхнули все лампочки Паноптикума: и розовая — романтическая — над Клеопатрой, и фиолетовая — эффектная, — где скалил зубы араб в бурнuse, будто сорвавшийся с табачного плаката, и зеленая — драматическая — над Рашелью, полулежащей в качалке, и потаенные там, где блестели вогнутые, кривые, уменьшительные и увеличительные зеркала.

Все лампочки воспрянули, вывели Спасо-Кудринскую из белого столбняка, кое-кого приманили к себе, одна беспокойная фигура в малахае и романовском полущубке даже руку в карман сунула, и пес один, тощий, как прошлогодняя вобла, в пятнах от безработицы, на крыльцо взбежал, царапая дверь.

А в боковой комнатухе, в бывшем директорском кабинетике с гроссбухом, с папками, с разноцветными афишами о близнецах, приросших друг к другу, о женщине-рыбе и девочке из Оберланда с тремя головами, сбились в кучу человек кожа-да-кости Збойко, лилипут, Маргарита и сам Цимбалюк.

Растрепалась фальшивая борода, благородные брови понурились, а лилипут сложил игрушечные ручки и замер комочком у ног плачущей Маргариты: только что Збойко доложил, что на ящике с древними монетами хлеб режут и чай пьют, что Рашель сбросили с качалки, около зеркал дрова пилят и, может быть, даже и колоть начнут, а когда рассказывал о хлебе — упорным, ненасытным взглядом не отрывался от дверей.

И не напрасно Цимбалюк отчаянно крикнул ему: «Шкура продажная!» — человек кожа-да-кости не ушел из Паноптикума вместе с правомочными владельцами, не потонул заодно с ними в снегу, не запутался плечо о плечо в холодном клубке заиндевших улочек — остался, Яшкой-Безруким взятый «курьером», немного погодя Лесничим зачисленный в коммуно, дедом приобщенный к анархизму-эгоцентризму. Дед худобы его не разглядел — сам дед был худой; что уникуму перед ним — не догадался, потому что дед каждого человека считал уникумом, а в то же время от всех людей, от всей близкой боли отгораживался крепкой, крепче кирпичей и камня, стеной из книжных черных строк.

И дед сказал, шуруша бумагой, сизым от старости носом поклевывая книгу, что к великой идее в конце концов придут все, что нового сочлена, нового борца за освобождение индивидуума от цепей коллектива, он приветствует во имя грядущего, и грядущее это не за горами, оно приближается, оно близко, и не остановится его.

А Яшка дал ему поесть, покормив, пересчитал все его ребра, позвонок изучил, на свету руку его разглядел, для чего нарочно свечу зажег, остолбенел и, насквозь пронзенный изумлением, немедленно предложил свою дружбу.

И сразу Яшке веселее стало, сразу два приятеля: человек-скелет и заводной слон, один занятнее другого. Две утехи: для дня — живой скелет, который может в любую щель пролезть безнатурно, перегнуться пополам без хруста и голову, как шиш, промеж ног просунуть, для вечера — слон с подвижным хоботом, вверх-вниз, вправо-влево — тонкая, отменная штука.

— Буржуазная дребедень! — буркнул Лесничий, увидев игрушку.

Туп-туп — постучал молоточек, и у Лесничего зашевелилась улыбка в лохматой бороде, а Яшка еще бойчее пружинку завел.

Вот: «туп-туп» — постукивает молоточек, и покачивается палатка, и шагает слон, лапу за лапой переставляет, и хоботом шевелит, и егозит жогаый — шоколадного цвета человечек — Махмутка.

Доволен Яшка — зимним вечером, когда почти все в разброде, а он остается дежурным, оберегающим групповое добро и мальчишку Серафимы. Ложится животом на койку, никнет к полу, подталкивает Махмутку и ухмыляется — «туп-туп» — Яшка Мазников, ставший «безруким», руку потерявший в бою под Царицыном, безрукий, убежавший дерзко и смело из казачьего плена, прямо из-под пули, когда другие пленные уже царапали в последних предсмертных судорогах сырую окровавленную и как будто чужую — не свою вражескую русскую землю.

«Туп-туп» — от Гжатска через Царицын, Каспий, Кубань и башкирские степи к коммуне, к тиши сонной красно-селимских зимних вечеров, к ёгоцент... — и не выговоришь, но дед знает, как надо промолвить.

«Туп-туп» — от станового, мимо Гинденбурга, Керенского, Ригой, Варшавой, мимо Троцкого, Врангеля, деда Мариуса Петровича к Махмутке.

Пружинка разворачивается, сворачивается и снова разворачивается.

V

Рашель лежала на полу (качалку облюбовала Зина Киркова) лицом кверху; нос крючком заострился к сумеркам точь-в-точь как у мертвой.

И в немой скорби пять-шесть минут, пока света не зажгли, постоял над старой — новой — покойницей бывший директор Цимбалюк, подкраившийся тайком, смявший в горести и страх, и трусость. И поплакал бы, да вблизи шаги раздавались, и на колени бы встал для последнего прощания, но не разогнуться потом придавленному, коленапреклоненному в смертельной обиде.

И задом — к стенке, все ближе к стенке — отходил Цимбалюк, а нос Рашелин все выше и выше поднимался, с укором.

Все вповалку легли: и Рашель, и Мария Антуанетта (вторично обезглавленная), и самоед с колчаном: монеты потускнели, зародыши в банках осунулись, зеркала затуманились, а живые в кабинетике не знали, как им с ногами своими, руками быть. Лилипут в одном углу полежал — в другой переполз: запылился крахмальный воротничок, голубенький галстучек, такой нарядный дня два тому назад, тесемкой обернулся, и горошинки сморщились. Маргарита по ошибке за левый бок хваталась, а ныло-то и жгло в правом, Цимбалюк плакаты в трубку свернул и трубкой тихонечко, тихонечко стучал по столу.

Тихонечко, когда хотелось молотком, молотом колотить и кричать, кричать без устали, без передышки о том, что прокликает он революцию, что уродец с раздвоенной головой единственный, кто мил и дорог ему в проклятой России.

Поутру Збойко в дверь просунул воблу на веревочке — Цимбалюк цикнул. Збойко дернул веревочку — и вобла отпрянула.

— Хриstopродавец! — крикнул Цимбалюк; лилипут сжал ручки и всхлипнул.

Часа в три стали дрова рубить, зеркала задребезжали — с трубкой напелес кинулся Цимбалюк в залу и налетел на Лесничего, хмурого и волосатого.

По-бабьи скулил Цимбалюк, потом долу клонился, потом трубкой потрясал — последним знаменем уцелевшим, потом Божьим гневом грозил.

Но не бояться Божьего гнева волосатые, да и всякого, потому что сказал Лесничий, будто ему на всех наплевать, даже на самого главного с портрета, если Цимбалюк доберется до Москвы и пожалуется ЦИКу, и законов никаких он знать не хочет, кроме одного, что называется «Я» и пишется с прописной буквы.

Не разрешил Лесничий вывести* фигуры, зеркала и монеты, только позволил взять носильные вещи да из постельного немного — и нагрузился Цимбалюк до бровей, и Маргарита согнулась под узлом, и Егорушка свою корзину до галстучками и цветными манжетами поволок в неизвестность, в пространство — и себя туда же.

Но на дороге попался им трехаршинный неунывающий Васенька и с налету, как всегда, как во всех случаях своей стремительной и не оглядывающейся назад жизни, порешил судьбу лилипута.

VI

— Это что такое? — протянул Васенька и пальцем ткнул в лилипутские плечики.

А минуту спустя он заливался в коридоре:

— Соломон! Соломон! Иди сюда! Соломон, у меня замечательная мысль! Соломон, этого маленького человечка мы оставим у себя.

И, схватив Егорушку за шиворот, он пушинкой поднял его с полу.

— Человечек, мы все человечество хотим поднять на высоты. Мы и тебя поднимем.

Егорушка заболтал, взлетая, желтыми ботиночками, Маргарита ахнула и уронила узел.

— Господи!.. Товарищ!.. — пискнул лилипут. — Господин товарищ!.. — И, закрыв помертвевшие глазенки, свесил головку с гладеньким, реденьким прибором.

— Дурак! — тихо сказал Соломон. — Чем мы будем кормить его? — И презрительно выпятил толстую негритянскую губу.

Ныряя в сугробах, уходили Цимбалюк и Маргарита; Маргарита стонала и порывалась бежать назад к Паноптикуму, но Цимбалюк передним узлом толкал ее в спину.

Падал, падал снег — небеса, что ли, прорвались? — и все крыл да крыл и все к земле давил да придавливал вчерашний царев, а сегодня красный город. Белый город — все белым-бело.

Глава третья

I

До Рождества еще кое-как держались красноселимцы, даже позволяли себе изредка и о гусе помечтать, не очень серьезно, с усмешечкой, будто в шутку, но все же мечтали в чаду дымных своих печурок-самоделок: на печурки ставили утюги и поливали их водой, чтоб пар шел и мешал комнате, жилью, углу, конуре обратиться в тундру сибирскую.

*Авторское словоупотребление. Следует учитывать своеобразие категории одушевленности-неодушевленности в повести: поскольку восковые фигуры — действующие лица, постольку сотрудники Паноптикума — его экспонаты, а значит — «фигуры, зеркала и монеты» не «вывозят», как неживые предметы, а «выводят», как живых людей.

А город-то, весь собранный в одно, с церквами, с кладбищами, с заколоченными магазинами, с безработными монахами, с пролеткультом, с ребятишками в фурункулах от недоедания, с памятником Лассалю, с подпольным базаром, с севера, с запада, с юга и востока окаймленный мертвыми, бесплодными полями, тундрой давно уже расстился и давно уже прочертни его застыли в голодном студеном оскале.

Крепко, точно навеки, до светопреставления, до труб архангелов — и Новый год не разомкнул костлявых челюстей, даже еще крепче сдвинулись зубы.

А после Крещенья стали собак убивать: охотились за псами, суками и щенками — поодиночке, по своему умению и согласно своей разведке и группами. Председатель домового комитета на Горшечной собрал ударную группу, с паевым взносом на текущие расходы и канцелярские принадлежности. И на Мещерской другое сообщество возникло, все из бывших ратников ополчения второго разряда.

И под первым ударом ополченцев пал бесславной смертью дряхлый, в сизых подпалинах фокстерьер контр-адмиральши Копрошматиной.

Вздрогну пошла сама Копрошматина; все она перенесла: и разорение, и расстрел мужа, и смерть сына-корнета, по пикам чернотным угаданную и раскрытую за два фунта сушеных грибов, но казни фокстерьеровской не выдержала — опрокинулась навзничь и успокоилась навсегда у печурки, возле горшка с недоваренным горохом.

В Паноптикуме доели последний каравай.

Яшка собирал корки и, густо посолив, сушил их над плитой. Лесничий метался по городу: он ведал хозяйственной частью, кормил братию, а себя тайком поддерживал маленькой дозой спирта, совсем крохотной, чуть ли не с наперсток, но без которой дня бы не прожил. О «пороке» его знал только Соломон и советовал не сентиментальничать, помнить о своем мужицьем происхождении, не корчить каючегося дворянина, ублажать вольную крестьянскую душу, тупо не бичевать себя за каждый глоток и пить, пить сколько хочется и...

— Сколько дают, сколько можешь раздобыть.

— Выпьем со мной.

— Я не пью. Я пьян и так.

— Не валяй дурака. Каким манером?

— По-еврейски, — отвечал Соломон и хихикал. Все в нем тогда хихикало: и губы, и кривая горбинка, и даже базедовые облупленные глаза — хихикали, зная почему, посмеивались, зная над чем.

А волосатый Лесничий, от первой рюмки опьянев, в углу своем, под Клеопатрой в золоченой раме, горестно казнил себя и давал себе слово не позорить впрямь честного имени анархиста-эгоцентриста.

II

Первую залу, без зеркал, не отапливали, была она в стороне, у дверей сто-рожил самоед с колчаном: ему не привыкать стоять.

За самоедом войлочный тюфячок, а на тюфячке Егорушка, а на Егорушке воротничок в три пальца шире стал: поднимет Егорушка голову — и шея выхлется. На самоеде одежда теплая, правда, молью изъеденная, но мехом поверху, и если прижаться к ней крепко, крепко, за колчан уцепившись, то тепло-той попользуешься и Маргариту увидишь, не очень ясно, будто сквозь дымку, но все же воочию увидишь.

Еду Збойко приносил, в колчан Егорушка остатки прятал: на ужин и для раннего утра, пока Збойко вспомнит.

Второй день пуст колчан.

III

Лесничий побывал повсюду; по-честному о спиртном не думал, старался насчет хлеба, сахару и прочего, входил без доклада туда, куда следует с докла-

дом, в одном месте спорил, в другом дерзил, в третьем был мягок и убедителен, а вернулся налегке.

— На нас косятся,— сказал он Васеньке.— Ни черта не дают. В Москве анархистов взяли*. Нас тоже, говорят, возьмут.

— Зато будут кормить,— молвил Соломон и принялся за прежнее: стоя перед увеличительным зеркалом, высовывал язык и глядел, как он, серый, с налетом, растет, увеличивается и всю комнату заполняет.

А Васенька закричал, что стыдно эгоцентристу зариться на казенную кормежку, когда надо быть гордым, смелым и переворачивать мир.

— Мы и перевернем,— не торопясь ответил Соломон, глазом одним косясь на другого Соломона, уходящего головой в потолок, в бесконечное пространство.— Хорошенько поголодаем, придем в раж и пойдем на Совет. Мир нашей хижине и смерть комиссарским дворцам. Возьмем власть в свои руки, а тебя, Васенька, назначим генерал-губернатором анархии.

Васенька плюнул, сказал презрительно: «Катастрофический дурак»,— и побегал на мыловаренный завод, где у него ячейка была, в ячейке пять рабочих и один конторщик. Рабочих не застал — за мукой уехали, конторщик, кутаясь в женин платок, спросил: «Когда же начнем?» — и сунул два куска мыла — на поддержку.

Лесничий до вечера шваркал сапогами, из комнаты в комнату переходя, и сучил неистово чащеобразную бороду: анархия — анархией, рундучок Развозжаева — рундучком, но без каши для деда не обойдешься, дед без вечерней каши, как рухлядь: обмякнув, никнет. И есть еще большой мальчишка, у кого ножка вывихнута, в лубке, и мальчишке без молока зарез. В Москве анархистский особняк обстреливали, мир, вселенная задрожит в великом смятении, разрушения и созидании, а как из красно-селимского продкома синий заветный ордер получить?

Дед говорит, что единица — всё, а коллектив — стадо, и надо, надо, чтоб единица, интеллектуальная единица, выход нашла; у каждой такой единицы на плечах источник могучей силы — голова: хочешь — светом озарит, хочешь — тьму кромешную наведет.

Еще вчера дед читал с листочка: «Во мне, единице, та знаменитая точка опоры, которую мир тщетно искал тысячи лет: не знал Архимед, но узнали мы, и всей солдатчине стада человеческого не стереть простого чертежа, который...»

И побрел Лесничий к Зине Кирковой, к доброй приятельнице человека, у кого все ордера, все склады и все красно-селимское существование в кармане кожаной куртки, в записной книжке.

Направился в женский уголок, туда, где возле постели стояли сафьяновые сапожки, когда-то отплясывавшие мазурку на польском оперном балу, а Зина решила, что старые времена вернулись, что опять прильнет косматая голова к неутолимой тощей груди, и откинула одеяло, в темноту протягивая обомлевшую руку.

Но после двух-трех слов Лесничего в женском углу, в том углу Паноптикума, где тиролька у стены приткнулась, где пахло яичным мылом, и на столике, рядом с растянутыми старыми подвязками вокруг сломанного полузубастого гребня, обвинялись клубки вычесанных пепельно-плоских волос, послышалось со вздохом:

— Хорошо, товарищ, я завтра переговорю.

IV

Дед говорит, что коллектив — слепая сила, а единица — светлая, творческая — и да будет в центре всего эго, «я».

* В 1917 г. в момент свержения Временного правительства анархисты объединились с большевиками, но размежевание последовало буквально через несколько месяцев. Весной-летом 1918 г. в Москве, Петрограде были проведены массовые аресты анархистов, разгромлены их отряды, захвачены резиденции. Чистка продолжалась до конца 1919 г.

И долго, глаз не смыкая, плакала, ноги поджав, все тело собрав в комок, Зина Киркова, зряче плакала, а света — света не было: ни кругом, ни в душе.

И был еще один женский угол, и там ночь за ночью, много ночей подряд, другая женщина, степная казачка с бровями дугой и напорной волей, натянутой, как тетива — вот-вот сорвется стрела и полетит,— твердила Развозжаеву:

— Я ненавижу тебя. В степь хочу. К ковылю хочу. От рож, от кукол хочу на простор. От твоих некулёмых, от тебя самого тошно мне. Ненавижу тебя. Вот как раньше любила, как раньше за тебя всю себя резала бы по кусочкам, так теперь ненавижу.

А Развозжаев молчал, но не клонил шишковатого лба со шрамом поперечным, и, когда, переполнив душу до краев ненавистью, исцемленной тоской и сухим гневом, засыпала Серафима, упорные несытые губы не размыкая даже во сне, точно и в дреме всегда настороже, Развозжаев медленно уходил к себе: к постели своей, к станку типографскому, пока бездеятельному, и к сундуку. Отбрасывал крышку сундука, снимал старые газеты, отгребал тряпки и всматривался: мирно лежали друг возле друга, как плоды нездешние, из дальних сторон вывезенные, бомбы.

Швырнуть одну с колокольни, за ней третью, пятую — и не станет Красно-Селимска, огненные кони задыбятся, на огненных колесах страшная весть понесется в Питер, в Москву, в Лондон, в Рио-де-Жанейро — и ответный вихрь полыхнет, опоясывая весь земной шар, полюс с полюсом сталкивая, тропик на тропик взгромождая.

— Ты глуп, Антуан,— проговорил Развозжаев и по средней бомбе постучал согнутым пальцем; на шишковатом лбу скрестилась со шрамом тугая злая морщина.

За стеной, поверх Марии Антуанетты без головы, зародышей, араба, деда Мариуса Петровича в клетчатых кальсонах, сумасшедших зеркал, ни о чем не ведая, ничего не предугадывая, устав от собачьей охоты, от очередей, хвостов, от саночек, от комиссий, от приемных, натрудивших в беличьем колесе дневного черчения, дневной сумятицы, дневных пререканий, изныв в вечерней тоске, вечерней настороженности, вечерней заводи, дремали-спали и в снах, отображающих ту же дневную оторопь и ту же вечернюю жуть, ворочались на своих постелях и тюфяках красно-селимские ополченцы второго разряда, нетрудовые единицы, отсталые кооператоры, управделы, председатели домовых комитетов, попы, лавочники без лавок, бывшие коллежские, титулярные, спецы, счетоводы, матери кормящие, матери не кормящие, хозяйки по трудовой книжке, хозяйки-обломки, беглые солдаты и машинистки от ремингтона.

V

Яшка первый сказал, что надо кукол раздеть и барахло на базаре спустить: вот перед атакой коня не так оседлаешь, артачится зверюга, а ремень ослабишь — и опять конь конем. Сказал Яшка, что ремень туго затянут, что не пропадать же, когда фураж под руками, и Лесничий пошел к Соломону за советом.

У Соломона на печурке два утюга жарились, в одной руке у Соломона томик французских стихов — не то Верлен, не то Малларме,— в другой — чайник с водой, словно лейка.

И, воду изредка поливая на утюги, точно сад свой заветный орошая, вслух читал Соломон, в нос пропуская, будто в трубу для прочистки. Шипела вода, пугающе вскакивали, шибко, шибко кружась, пахло баней.

— Референдум устрой,— посоветовал Соломон.

— Ты — за? — спросил Лесничий.

Соломон поднял ногу, затем другую:

— Вуй, дважды.

— И Антона спросить? — съезжился Лесничий, в бороду вцепившись.

— Трус! — закричал Соломон.— Русская рабья душа. Эгоцентрист, а все-таки перед начальством трепещешь! — И сразу весь чайник опрокинул.

Ошарашенная, жестяно взвизгнула печурка, пар рванулся, Малларме в паре утонул, а базедовые глаза хитро захихикали — глаза с издевкой, глаза Соломона Бриллера*, бывшего кандидата в духовные раввины, в пастыри душ евреек с париками, евреев в длиннополых кафтанах, бывшего меньшевика, бывшего приват-доцента Лозаннского университета, сына прославленного цадика из Лиды.

Глаза навывкате — сверлили Талмуд, Бога, зачинателя единого, просверлили, отвергли, покрыли Малининым и Бурениным**, русской грамматикой и, протаранив мироздание, уперлись в банки с зародышами. Глаза облупленные — все вылущено, все скорлупки отброшены, — лозаннская кафедра и утюги на печурке, Бергсон и раненый бур, который дышит, сдвинутый с оси, расколотый надвое мир и вобла, обмененная на бурнус араба, — лейся, лейся, вода, на утюжки, фыркой, доморощенная печурка тысяча девятьсот девятнадцатого года: все пар, все в пару.

Васенька, вопреки обычаю своему, не ощерился, кнотовищами-руками не замажал, а очень тихо, уж слишком покорно, ответил:

— Продавай.

Развозжаев, на счастье Лесничего, уехал — никто не знает, для чего, куда и когда вернется. Зина Киркова, мучаясь по женской части, только головой мотнула и под шубу уползла, опять чтоб от боли неохватной снова вопросительным знаком по постели ерзать.

А дед, весь в чернильных пятнах, даже на лысине, ручку — пером к себе — в рот сунул и, подумав, велел половину выручки оставить на фонд пропаганды.

Раздевали Збойко и Яшка.

Разоблокли Марию Антуанетту, помаялись с Рашелью — упорная еврейка не сразу далась, все носом отбояривалась, сняли с бура красноармейские обмотки, тирольку оголили, араба обесчестили.

К самоеду прилип Егорушка — утром прибег Збойко, преподнес заплесневевший ржаной сухарь, последний, и лилипуту сказал, что на базар кукол поволокут.

Самоеда взять — Егорушку доконать; в году для лилипута, как и для всех прочих, те же 365 дней, и на тридцать седьмом лилипутском году так же страшно лишиться последнего, как любому двухаршинному, а где Маргариту найдешь, как найти ее, как по снежным перебродицам, не затонув, добраться, как разыскать ее, не запутавшись в белых незнакомых разулочьях? Самоеда взять — Егорушку в порошок стереть. И — сюртучок на все пуговицы, а шея, шея вихляется в просторном воротнике, тюфячок скатан, ручки стиснуты в гневливой решимости — глядите, рудо-желтые аспиды, волосатые черти!

Но про самоеда забыли, а может быть, человек кожа-да-кости по-человечески усовестился и не напомнил.

И телогрейка самоедская осталась, молью попорченная, и колчан тоже — пустой.

Всех раздели.

Тиролька ахнула: «O mein Gott!» — и румянцем немецким зарделась, араб отвернулся и копы на два дюйма в пол вогнал, бешеный араб с коробки «Покупайте гильзы Катыка». Рашель презрительно повела носом в сторону наглой галерки, а Мария Антуанетта хватилась было за голову, но вовремя вспомнила, что головы давным-давно нет, и уронила точеные руки, бур вздохнул и по-солдатски завалился спать.

Брест-Литовск горел по-прежнему, на Аркольском мосту прядал конь под корсиканцем.

Серафимин мальчишка, Шурка, с ножкой в лубке, тихонечко канючил и просил сказок, Серафима прислушивалась к каждому шороху: не идет ли Антон?

* «Бриллер» дословно — очкарик.

** Авторы гимназических учебников.

Эх, как завивается в вольной степи вольный ковыль! — в трубе воет поганный красно-селимский зимний ветер, два коршуна — две брови — сошлись, сдвинулись над потемневшими глазами: будет час — взметнутся, сорвутся и унесутся прочь — ковыль, ковыль, расступись, прими, укрой.

— О-ох!..

VI

На базаре Яшку арестовали: за хищение и продажу национального имущества и предметов военного снабжения*, обмотки тож.

На базаре вертелся Цимбалюк, Маргарита рядом с лукошком, а в лукошке полтора пирога и два сахарных квадратика. Тиролькину безрукавку Цимбалюк сразу узнал, и от безрукавки все началось.

Яшка единственной рукой сгреб милиционера, потом другого, третий вдогонку со стрельбой, Яшка зигзагами в бег, по-военному, но под ноги кинулась Маргарита, под ноги, всклекотывая, под ноги, — за монеты, за лилипута, за Альфонса Матэ.

И по снегу, по тряпкам, по юбкам, по распластанным штанам покатила живая груда тел, шинелей.

Часа через два Лесничий стоял перед Мариусом Петровичем, облачал его в пальто и торопил:

— Дед... Скорее в Совет. Ты старый каторжанин, к тебе с почтением. Скорее... Нехорошо, дед, вышло.

На Большой Болотной, и на Горшечной, и на Малой Болотной заколачивали ставни: бунт на базаре, анархисты власть берут; ратники второго разряда солили собачину, впрок, запасаясь.

С дедом провожатым отправился Васенька — и оба застряли. Лесничий покляпым по комнатам бродил, от кукол шарачался — подвели куклы! — от кукол отплевывался — проклятые, проклятые! А к вечеру застыл комелем у печурки Соломона.

Соломон, по-американски ноги задрал, сидел на кровати и тянул по слогам:

— Па-ноп-ти-кум... Па-ноп-ти-кум...— Толстые негритянские губы посмеивались.

В Чрезвычайной допрашивали Яшку, Цимбалюка и Маргариту; Маргарита Яшку за кушак тянула и всхлипывала:

— Куда моего мальчика дели? На что Егорушку оставили себе?..

— Брось, портомойница! — огрызнулся Яшка, свесив голову...

Поздно вечером приехал Развозжаев, а может быть, и пришел, дорог ведь много: и пеших, и конных, и рельсовых. В полночь привел деда и Васеньку, собственноручно сварил деду кашу из остатков ячневой, помог ему раздеться, а во втором часу ночи окликнул Лесничего и попросил созвать всех на заседание.

Глава четвертая

I

Заседали у деда в комнате, чтоб деда заново не поднимать, в зеркальной — с вогнутыми, кривыми, увеличительными и уменьшительными. Соломон глистой вытянулся, в версту, Лесничий грибком стал, у Зины Кирковой вкось и вкривь поползли щеки, уши, брови, а дед распух, вширь пошел по зеленой подушке, похожей на стог сена.

И Збойку позвали; скромненько стал у ободверины кожа-да-кости, точно на ремешке удавленник повис.

— Новый? — спросил Антон, по Збойке равнодушно скользнув сухим взглядом, будто по стеклу ножом провел.— Объявляю собрание открытым.

— Виноват,— поднял руку Соломон.— К порядку дня. Не все в сборе. Предлагаю позвать остальных.

— Кого? — не оборачиваясь, спросил Антон.

* Это обвинение для Яшки Безрукого означает скорее всего единственный вариант приговора — расстрел.

Приподнимаясь, Соломон облизнул губы:

— Прежде всего малых сих — прежде всего лилипута.

— Какого лилипута?

— Самого обыкновенного, двенадцативершкового.

— Откуда он взялся?

— Оттуда, что и мы: из недр. А затем: всех кукол, как вполне правомочных и дееспособных членов общества.

— Довольно,— вскочил Васенька и навалился на стол.— Это черт знает что такое.

— Подожди, Вася,— тихо попросил Антон.— Я тебе слова не давал.— И глубоко заглянул в базедовые глаза.

И глаза не отвернулись, только чуть-чуть шевельнулись на миг, чтоб потом округлиться и застыть, не то в насмешке, не то в боли.

Лесничий хихикнул.

— Сосна, дубина, бук,— повернулся к нему Соломон.— Смеяться нечего, я серьезен как никогда.

Антон встал.

— Я голосую,— спокойно сказал он и на каждого поочередно глянул.— Кто за предложение товарища Соломона?

— Я протестую,— метнулся Васенька.— Мы на краю гибели, а Соломон дурака валяет.

— Товарищ председатель,— протянул Соломон.— Прошу оградить меня от незаслуженных оскорблений. В дни великих потрясений каждый вправе внести любое головокружительное предложение, а я вношу элементарное, самое обыденное предложение. Я ведь не предлагаю Васеньке взять в жены ту куклу, у которой щелка сбоку. Я только...

Васенька сорвался с места:

— Я ухожу!

— Я голосую,— невозмутимо повторил Антон.— Вторично: кто за предложение товарища Соломона? Один голос. Предложение отвергнуто. Заседание продолжается. На очереди: сегодня четверг, в воскресенье к 12 часам ночи приказано очистить помещение. Никаких отсрочек. Занять новое запрещено — не допустят. Якова не выпускают. Не уйдем — нас окружают и заставят. Что мы предпринимаем: уходим или защищаемся? Что делать? Взорвать Чека, Якова освободить или в Москву, в разные концы? Я... я привез немного денег, на разъезд хватит всем. Итак: мы разъезжаемся или остаемся? Я за второе: Яшку выволить, здесь засесть — и до конца. Дед, слово за тобой. Вася, тише!

II

Уже спали все, и уже давно успел дед запротоколировать решение группы в назидание и для своего пятитомного труда о «Человеке-центре», когда Антон лилипута разыскивал.

Спичку за спичкой жег, куклу за куклой позади себя оставлял — шаг тяжелый за шагом медлительным — и нашел, за самоедской спиной на тюфячок наткнулся и последнюю спичку — факелок ненадежный — подержал на мгновение над крошечным тельцем.

Тьма — и потонули в ней лилипутские кулачки и другие, узловатые, крепкие, большие, внезапно сжавшиеся, стремительно, точно ухватили долгожданную добычу, ухватили и уже никогда не выпустят.

Тьма — и скрылись в ней личико с блюдечко, сморщенное, осеннее яблоко, и другое — скуластое, напорное, вдруг с налету прорезанное недоброй улыбкой.

Тьма — и темень за окнами и в душе.

III

На рассвете человек кожа-да-кости исчез: плоско проскользнул черным ходом, костлявый, пролез в узкую щель, а мог бы сполна дверь распахнуть, и плоским пятном мелькнул по двору.

Утром Лесничий тщетно кликал: ни кожи, ни костей, и самовар холодный, в Яшкиной комнате, она же и Збойки, постель не тронута, даже не примял ее

за ночь обомлевший скелет, заводной слон мерз у окна, черный Махмутка по слоновой башке молотком не дубасил, дремал, и в дреме морозной мертво сплющивалась по реомюрным делениям тропическая душа — на Яшкино, на безрукое счастье последний из княжеских слонов.

Лесничий ввалился к Соломону.

— Сбежал курьер. Вот тебе и номер.

Соломон высунул из-под одеяла курчавую, в перьях, макушку:

— Правильно. Удирай и ты. Тот по трусости, а ты по-умному.

А немного погода, когда уже одетым был и у печурки раскаленной пил, обжигаясь, горячую зеленоватую бурду, говорил:

— Уходи, Лесничий. Я тебе серьезно говорю.— И на ладони протягивал Лесничему огрызки леденца, угощая щедро.— Плечи у тебя могучие, сам ты, как дуб столетний. Здесь мелководе. Здесь культурный образ действий — скука: ну, разорвется бомба, ну, вторая. Удирай!

— Куда?

— Идиот! — закричал Соломон.— Много в России лесов?

— Много.

— А начальство над собой ты любишь?

Лесничий ухмыльнулся и крикнул.

— Беги, беги, зверюга. В леса, в дебри — русская зверюга в русские леса. И бабу с собой не бери, упаси Боже. Лесные Зинки — малина, здешние — раздавленная смородина. Ах, если бы мне твой рост, твой нос луковицей! Твой истинно русский нос, твое великолепное курносое национальное украшение!.. За таким носом пойдут без оглядки.

И опять на уютки опрокинулся чайник, и снова в душном паре потонули базедовые глаза — уже не хихикающие: тоскующие.

— Уходи! Уходи! — И толкал Лесничего к двери.

Лесничий, недоумевая, упирался.

— Да что ты... Да что ты...— смущенно бормотал он, конфузливо, а уже плечами поводит — грудь колесом — и уже ноздри ширил, раздувал, точно по тропам запутанным вынюхивал дым костерный и — сквозь запах смолистый, вековечный — запах людской, краткоденный.

В обед Зина Киркова потребовала вторичного собрания, подав Антону заявление: «Настаиваю, чтоб наше решение было пересмотрено. Сегодня «Красно-Селимские Известия» сообщают, что в Испании крещендо нарастает анархистское движение. Бессмысленно умирать тут, когда мы там нужнее, как активные единицы».

— Никаких собраний! — вопил Васенька и, точно на цирковых ходулях, шагал, трехаршинный, островерхий, по комнатам, сотрясая зеркала, в дрожь кидая оголенных, пришибленных кукол.— Решено так решено. Мы сражаемся, мы не сдаем позиций. Стыдно на попятную.

— Я обожаю испанок,— сказал Соломон.— На собрание! На собрание!

У себя в комнате Лесничий ладил дорожный мешок — побегут, завьются, помчатся, понесутся зеленые дорожки, зашумит, закачается, загудит чащоба лесная — мать родная, мать ничья и всех.

— Кто идет?

— Лесничий.

— Пароль?

— Вольница.

— Проходи! — Коня водком, лесом да лесом, шалыгой по коню «айда!», не конь, а сушая шишига, пена, храп,— и полем, и степью, все напрямик да напрямик — птицей, вольной волей, волей неизбывной.

Из рук выпала на полстежке толстая игла: Лесничий загляделся, улыбаясь, а улыбка в бороде, точно луч ранний в хвойной гуще.

IV

Днем дважды Антон навестил лилипута.

В первый раз молча постоял перед ним, только оглядел его пытливо, точно мерку снимал; лилипут одернул сюртучок, дрожали ножки в крохотных брючках; а во второй раз принес поесть.

Егорушка насупился и отвел тарелку.

— Ешь,— предложил Развозжаев и взял его за плечо.

Лилипут дернулся и повалился на тюфячок; стариковский под реденькими волосами бледно-розовый затылок, шеvelься, замарал постепенно.

Антон нагнулся:

— Что ты? Не бойся.— И на колени встал.— Я не медведь. Как тебя зовут?

С тюфячка балаганным Петрушкой пискнуло:

— Егор.

— А сколько тебе лет?

— Тридцать семь.

Антон вскочил и захохотал.

Долго смеялся, очень долго, но глаза не смеялись да и морщина тугая со шрама не сползала, а Егорушко все глубже и глубже зарывался в тюфячок: будь Маргарита тут — на руки взяла б, к правому сердцу прижав, унесла бы любовно, грея, от страшного смеха, безбожного, а самоед торчит чучелом и не помогает, хотя и лилипутскому, но все же живому, растревоженному сердцу.

И тискал, тискал тюфячок — кулачками, кулачками посиневшими...

Не постучав, Антон вошел к Серафиме. Гудел примус, Шурка спал, больная нога лежала высоко на подушке.

И над Шуркой постоял Антон и тоже оглядел его сверху донизу, пытливо, как вот только что лилипута.

— Потуши примус,— попросил Антон.— Шумит. А я хочу тебе кое-что сказать.

Серафима быстро подошла к примусу и с силой задвигала насосом; натужнее полыхнуло пламя, яростнее загудели сине-огненные слепни.

— Назло? — спросил Антон.

Сдвинулись брови-коршуны — знакомые, ох, до боли знакомые черные, злые птицы! — И без слов промолвили: не о чем говорить.

— Есть о чем,— сказал Антон и отвернул винтик.

Тихо стало, Шуркино дыхание явственней и другое — порывистое, под серым платнем.

— Я тебя отпускаю. В воскресенье вечером лошадей подадут, в десять. Поезд в двенадцать. К одиннадцати будешь уже на вокзале.

— С Шуркой?

— С Шуркой,— ответил Антон и усмехнулся.

Стукнуло об пол: Серафима на коленях не то плакала, не то молилась.

Так и прошла мимо усмешки Антона, не заметив ее, да и как заметить, когда глаза — голубые озера над мертвой зыбью — впервые за долгие дни всколыхнулись, немеркнущий свет увидев, неизреченный.

И — вой, вой без усталости, треклятый красно-селимский зимний ветер, а все же завьется, завьется шелково-серебряно-кудрявый ковыль, расступится, родимый, примет, укроет.

— Рада? — спросил Антон, и голос его дрогнул: на миг, но дрогнул.

И брови-птицы встрепенулись в ответ: хищно-откровенно и радостно.

V

До вечернего заседания не дошло, и первоначальное решение отпало: за вечерело, когда Лесничий ушел из коммуны.

В зеркальной он поклонился на все четыре стороны, точно странник родным могилам перед дорогой богомольной и длинной, облобызал Соломона, буркнул «спасибочко», и поминай как звали, кудластую голову, ноги как корневищи и плечи как оглобли — прими, эресефесеровский, по-старому, неукротимый, «большак», нового путника!

А минут десять спустя возле тирольки, взвизгнув, повалились на кровать очки, цветные сапожки; мерлушечья шапка откатилась — за очками бежали ручьи соленые; сафьяновые сапожки носками отбивали дробь.

Тиролька шеvelьнула ресницами, хотела сочувственно, впервые не заманивая, подмигнуть и не смогла: сбоку в щелке торчал окурок папиросный — единственный след Лесничего.

Поздно вечером Зина Киркова сняла свое предложение об Испании, оделась, в город направилась.

Поутру прикатали сани с медвежьей полстью, оленья доха с портфелем сидела в саях, поджидая; Зина Киркова собирала пожитки.

Соломон подошел к окну, в морозном замысловатом узоре просверлил дырку и сказал Васеньке:

— Народный комиссариат продовольствия. Зинка растолстеет.

— Что делать? — спросил Васенька.

— По Чернышевскому — открыть швейную мастерскую. Но он устарел. По-моему — намылить веревку. Твоя мыловаренная ячейка...

— Ты все шутишь, — уныло проговорил Васенька и побрел невесело от окна; сразу короче стал, точно подломились ходули.

Но умели базедовые глаза и ласковыми быть, догнал Соломон Васеньку.

— Глупый, глупый ты, Васюк. Вместе уйдем. Я не оставлю тебя, потому что люблю я тебя, Васенька, потому что ты, как галчонок, на все рот раскрываешь. Ничего, Василий, другой Паноптикум найдем, мир клином не сошелся. И станем мы с тобой от одного Паноптикума к другому переходить. Учиться будем — *studeamus raporticum humanum**. Ты был в Туркестане? Никогда? Я тоже. Едем туда: восточная сартско-бухарская группа анархистов-эгоцентристов, с востока свет. Веселей, Васюк!

И снова ожили ходули: мигом починили их.

Зашагают ходули, не могут не шагать, пока вертится земля вокруг солнца и кажет жадному человеческому взору, ненасытному, то стальную сеть новых рельсов, то дерзновенные горные тропы, то морские разгульные, бескрайние дали.

А дед сидел перед уменьшительным зеркалом и все писал и писал.

В зеркале тот же дед, но крохотный, и те же листки, но малюсенькие — квадратики бумажные для детской игры, — но скрипит, скрипит перо и будет, будет человек во вселенной единым владыкой, богом будет.

Глава пятая

I

В субботу, вечерним часом, Антон повел лилипута в комнату Зины Кирковой.

За стеной Серафимин угол — слушал Егорушка, как рядом мальчик плачет и жалуется, что ножка болит. Один остался самоед, на холоду; покрепче обмотался шкурой, колчан поправил и с горя затянул песню — свою самоедскую — про тундру.

Антон затопил печку, отогрелся Егорушка; печь не то, что мех самоедский, молью проеденный; хорошо и тепло спать на широкой Зининой постели, но когда тревожно переборами стучит сердце, даже и лилипут не спит.

А высокий, хозяин новый, не уходит: сидит перед печуркой, на огонь глядит и все усмешается.

Видит Егорушка сквозь переплет спинки железной, что усмешается: от щепок пылающих бьет в лицо блеснь переменчивая, кругом темно, а лицо на свету, и на лице усмешка.

— Спи, — говорит хозяин. — А я посижу немного. — Хорошо говорит, почти как говорила Маргарита, не исчезает.

Так час, другой: лицо освещенное, усмешка, углы в темени, окна запущенные, сизые, щепки трещат.

— Почему не спишь? — спрашивает хозяин. — Спать надо. Завтра в дорогу.

Так другой, третий час: огонь на лице, лицо застывшее, треск щепочный, мальчик за стеной спросонья плачет, а впереди какая-то дорога, неведомая, откуда-то вдруг взявшаяся... Господи Боже... с кем это, не с ним ли, скуластым,

* Стремление свойственно человеку (*лат.*).

куда это? — соскочилась головка, бьется пробор взъерошенный о прутья, плачет лилипутское горе.

И — в слезах — жгли они, как жгут и больших, в ком рост человеческий, а не для показа за деньги, — и, разомлев от давно не изведанного тепла, робкой трепещущей дреме — вот-вот всколыхнется она и убежит от покорных ресниц — все же подставляет Егорушка свое измученное тело.

А проснулся: мрак, тишина, ни хозяина, ни огня, ни усмешки — лилипутский страшный сон.

II

И страшная бесконечная ночь для Антона, пытка неукротимой души, извод — все в эту ночь вместе: куклы, бомбы, лилипуты, Шурка — мальчик, зачатый в сумасшедшую ночь на берегу Кубани, черные брови и черная любовь — велика ли твоя возлюбленная? В уровень моего сердца, а оказалось: едва по пояс.

Все одним клубком: Яшка-Безрукий, каша для деда, человек-бог, человек-труха, зеркала кривые, рожи кривые, барахло на базаре, снег красно-селимский, Кремль московский — орех нераскалываемый, — рукопись деда — завет новейший, третий, Евангелие от Мариуса, апостола в клетчатых кальсонах, и опять лилипут, и снова коршуны-брови, — как в темноте путаной, кромешной, тонкую ниточку найти, клубок размотать?

Долга ночь, как скорбь, ночью шаги гулки, старые половицы кряхтят и жалуются обидчиво: не дают им покоя нелепые неугомонные человеческие ноги.

И радуются куклы человеческой казни: учащенно бур дышит и нутром фыркает, Рашель, забыв про оголенность, трагически хохочет, араб копьём крутит.

И зеркала вздрагивают — дед будит Антон. И дед, и Антон смутно отражаются, еле-еле.

— Дед, так ты говоришь, нельзя так? Ведь все позволено свободному. Ты сам учил.

Дед к подбородку притянул рубашку, точно женщина, застигнутая неодетой, и сказал ночным — с трещиной — тихим голосом:

— Не этому учил...

А потом в потемках шарил, ловил руку Антона.

— Антон! — Тугожилную руку, на которую все надежды возлагал, твердую, как насадка стального кинжала, предназначенную на погибель мировой машины.

А рука не давалась — упорная рука.

— Никто надо мной не усидел: ни Бог, ни царь, ни рабочий... Сам я себе власть: ни рабочая, ни крестьянская, ни дворянская — развозжаевская. А Серафима цепко держала... Отыграться хочу.

— Антон!.. — Но ускользала рука.

— Дед, мстить хочется. Развеселое дело — месть. Как люблю без оглядки... — люблю, люблю, дед, — так и мстить хочется, не оглядываясь. Развернет в вагоне одеяло, Шурку вынуть в тепле, после саней, а там лилипут. Сморщенный, лысый, руки пауچی. Хо-хо.

Задрезжали стекла — тускло блестели, тускло задрезжали.

— Дед... Потом с тобой, с Шуркой... Потом куда хочешь — Далай-Ламе бороду выщипать, Лондон взорвать...

И перегнулся дед пополам, преодолел сахалинские рубцы:

— Отдай ей Шурку, отдай!

И поймал дед руку и прижался к ней горькими старческими губами.

— Отдай! — И, ослабнув, подалась задрожавшая рука.

Рассвет...

Скользит рассвет по зеркалам, снимает с них ночные завесы, а под завесами по подушке зеленой, что пухнет стогом сена, две головы огромные — прижавшись вплотную: одна лысая, другая русая.

III

Соломон и Васенька шли городом к станции — белый город, все белым-бело.

Снег слепил базедовые безнадежно усталые глаза, рьяно кромсал снег длинноногий Васенька — смеялась над сугробами горячая красная кровь.

IV

Пока сани не затарахтели у подъезда, дед не отходил от Антона.

И дед же, хоть и тяжело было, сам понес к саням закутанного Шурку.

— Прощай, Антон,— сказала Серафима и, быстро нагнувшись, схватив руку Антона, поцеловала и запнулась о порог: два поцелуя за день — слишком много! — с криком отшатнулась русая голова.

Немного погодя вторые сани подкатили.

Дед торопливо убирал со стола рукописи, тетрадки, старые газеты и шамкал:

— С сундучком-то, с сундучком-то как?

— Не беспокойся, дед,— говорил Антон.— Все заберем. И лилипута тоже.

— Какого? — спрашивал дед, но тут же, спохватившись, бормотал: — Бери, бери, все пригодится.

Суетился дед, Антон из Зининой комнаты вел к саням Егорушку, Егорушка, в коленках переламываясь, тянул за собой корзиночку — галстучки свои цветные, манжеты.

— Подожди, дед! — крикнул Антон.— Чуть не забыл.— И обратно в подъезд кинулся.

Куклу за куклой тащил Антон, приплющивал к стеклам одну за другой и на ходу выключателями действовал — побежали по снегу, рассыпались огни, тормоза красно-селимскую темень, сонную зимнюю заводь.

Сани тронулись.

Стоя в санях, лицом окаменевшим к Паноптикуму, отъезжал Антон. Лилипут всхлипывал, дед уже дремал.

В двенадцатом часу из ворот Чрезвычайной двинулась пятерка шинелей; впереди мохнатая бурка бурчала:

— Тышэ!

Как в незабвенное для Цимбалюка время — дни гала-экстренных программ,— переливались все лампочки Паноптикума — романтически-розовые, драматически-зеленые и фиолетовые-эффектные.

В окнах, торчком, в ночь вперив мертвые глаза, Рашель, тиролька, араб и безголовая Мария Антуанетта поджидали гостей.

*Красково — Москва
1921—1922 гг.*

*Вступление, публикация и примечания
Веры КАЛМЫКОВОЙ.*



Дневник 1939 года

4 февраля 1998 года исполнилось 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина.

Полвека проработал в литературе Пришвин. Наряду со многими рассказами, повестями, романами он оставил нам свои дневники — уникальную летопись русской жизни самого трагического времени. Только сейчас, с отменой политической цензуры, дневники открываются во всей полноте и правде.

Публикация дневников Пришвина стала событием в литературной жизни последних лет, существенно обогатила привычные, устоявшиеся представления о писателе — «певце природы».

«Наверное, это вышло по литературной наивности (я не литератор), что я главные силы свои писателя тратил на писание дневников», — признавался Пришвин в последние годы жизни.

Редакция журнала «Октябрь» горячо поддержала предложение сотрудников мемориального музея М. М. Пришвина опубликовать ранее неизвестные материалы из архива писателя, и вот уже девять лет начиная с 1989 года в «Октябре» печатались пришивинские дневники 30-х годов.

Журнал участвовал и в других акциях по поддержке музея и пришивинского наследия: в трудное время сотрудники перечислили свой однодневный заработок на счет музея М. М. Пришвина (инициатива Российского фонда культуры), «Октябрь» и его ведущие авторы провели в Московском университете им. М. В. Ломоносова благотворительный вечер, сбор от которого пошел также на музейный счет.

Мы благодарим «Октябрь» за неизменную помощь в эти непростые для нашей культуры годы и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

В этом году мы завершаем печатание дневников Пришвина 30-х годов.

В 1940 году произошло событие, которое резко изменило жизнь Пришвина и сильно повлияло на его творчество.

Я имею в виду встречу писателя с Валерией Дмитриевной Лебедевой, вскоре ставшей его женой. Этой встрече посвящен почти полностью пространственный дневник 1940 года, на основе которого Михаил Михайлович и Валерия Дмитриевна в соавторстве создали книгу о своей любви «Мы с тобой» (она опубликована в 1996 году в издательстве «Художественная литература»).

Мне выпало счастье быть многолетней помощницей Валерии Дмитриевны, вместе с ней расшифровывать, готовить к печати и издавать дневники писателя — эту исповедь выдающегося мыслителя и художника слова.

Вчитываясь в строки ежедневных записей Пришвина, поражаешься целомудрию писателя, его борьбе за право быть самим собой, за свою творческую свободу.

Дневник 1939 года (мы публикуем в этом номере записи первой половины года) продолжает темы дневника предыдущего.

Жизнь писателя также делится между Москвой и Сергиевым Посадом. Продолжается работа над романом «Осударева дорога», зреют новые литературные замыслы, писатель активно печатается в московских литературных и природо-ведческих журналах.

Также Пришвин совершает охотничьи вылазки под Сергиев, строит новые планы путешествий на грузовике — в «доме на колесах».

В связи с участием в это время в работе Тургеневской комиссии вновь перечитывает Тургенева, и в дневнике появляются мудрые и печальные записи о своей орловской родине, о русской деревне. К подобным мыслям можно было прийти, только сполна хлебнув жизни в советской России, не приспособиться, не подладиться,

остаться самим собою — не побояться творить и мыслить, по слову Пришвина, «среди людоедов».

В общую ткань дневника влетают вечные, надмирные темы о любви, о жизни и смерти, об испытании художника славой и бесславием.

Ничто, казалось бы, не предвещает грядущей чудесной встречи, а мы, читатели, уже посвящены в то, что предстоит пережить героям захватывающего действия, имя которому — жизнь.

Л. А. РЯЗАНОВА

1 января. Вчера потеплело и полетела пороша. Новый год вышел с обновкой. В душе праздник от вчерашнего письма «Сибирячки»¹. Никогда еще от читателей я ничего такого не получал: недаром кажется, старый год прошел — получено это письмо; недаром писал почти 40 лет — кое-что сделал.

2 января. Опять мороз. Еду в Москву.

«Из Вашего письма, дорогая Сибирячка, вижу я, что мы с Вами птицы одной породы: и давайте галку выберем, и пусть это будет, что мы с Вами галки. А Вы пишете «Учитель»! Не будет этого! Мне у Вас, как читателя, как женщины, есть чему поучиться не меньше, чем Вам у меня. В том-то вот и дело, что в настоящем творчестве жизни, где мы, как Вы пишете, сами себя рождаем, нет больших и малых: там все мы птицы одной породы, все галки».

Умер Г. И. Чулков².

3 января. Вас. Павл. Ильенков³ и договор с «Октябрем». Первое звено: «Сказка о покупке дома в Загорске»⁴ — вышло очень хорошо.

4 января. Похороны Чулкова.

Сюжет «Записок охотника»: ходить и смотреть на свою же родную землю удивленным взглядом: это происходит от народных путешествий по святым местам.

Свойство власти: он думает, почуяв силу, что это он такой умный, и **общее** принимает за **свое**. И в этом погибает.

6 января. -7° после метели.

Изобразить спор девушек о своей трудовой копейке (горло перегрызу) и через Павловну⁵ как-то перевести это на власть: наш народ получил власть, смотрит на нее как на собственность... Колхозы вращаются вокруг городов — планеты вокруг солнца, а власть, что все вокруг нее.

7 января. Рождество.

Теперь определилось, что Старое Рождество остается праздником народным, а новое (Солнцеворот) предается астрономии. А Новый год удержится как новый.

Читал историю ВКП и ставлю себе задачу стать через эту работу на ступеньку выше, то есть понять эту «историю» по-своему.

Рабочий ведь поднят у нас за то, что он работает. Но если рабочий не хочет работать...

Мысли о Большом деле и Малом.

Большое дело

Мужское
Разум
Война
Герой
Редакция
Обещающие
Герой

Малое дело

Женское
Чувство
Любовь
Прекрасная Дама
Я — сам
Лес
Чающие
Счастье: **быть как все**

Бюрократизм есть общественный эгоизм.

План
Закон
Центробежная
Наука
Человек
Человечество
Земля

Случай
Игра
Центростремительная
Религия
Своак
Народ
Родня

Из-за чего поднят рабочий план. Чтобы создать счастье (Большое-то дело, оказывается, работает для Малого: оно Большое, потому что труднее делать не для себя, чем, как в Малом, для себя: «А за свою трудовую копейку я горло перегры-

зу»). И все-таки Большое дело существует на пользу Малого, а Малое состоит из себя и для себя, само в себе. Вещь в себе: счастье — исток человеческого рода.

Малое дело бессловесно: дело не в словах! Оно сигнализирует Большому делу своим состоянием хорошим или плохим...

У большевиков их ошибка (и эта ошибка повторяется везде) состоит в том, что **цель** и зависимость от дела забываются, и их центробежная сила объявляется как самоцель. Вследствие этого бесконтрольный План превращается в бюрократизм. Сталин у большевиков первый был вынужден заговорить о счастье, о родине, о семье. Поднимать Игоря Святославича и Александра Невского на благо народа. Переход от **класса к народу** не назван в истории ВКП.

Появились борцы за Малое дело и явились как **враги** Большому. Уничтожение врагов внутренних после известного предела стало на пользу врагу внешнему: мы начинаем отступать.

Чающие (Малое дело) и Обещающие (Большое).

Я думаю о всем, но позволяю действовать только образам. Мне всегда кажется, что если мысль моя переходит в образ и ряд образов в сказки, то значит я «додумался» и могу **действовать**. Итак, я думаю о всем, но действую лишь, когда мне становится ясно. А ясность дают мне только образы.

В образе я нахожу оправдание.

Образ есть **выход** из борьбы Большого и Малого — это моя «сказочка» личная («душа»). И то же самое «творчество».

Зачем рисковать собой и творить, если можно делать полезное без всякого риска... и оставаться в пределах «долга»?

Педагоги именно по чувству «долга» остаются при классиках и не понимают новое искусство.

Ученые не любят литературу по существу и ограничиваются в лучшем случае знанием классиков.

8 января. Два часа на платформе в ожидании поезда. И все-таки это настоящий и единственный путь к коммунизму, к сознанию того, что человек един, что не нами свет кончается — это первое, — сознание человека в своем потоке. Второе, что путь к коммуне все-таки через **личное сознание**. К этому мы все и подходим: все же, кто не обрел личного сознания, являются **жертвами**.

— Интеллигенция! — сказал кондуктор, увидев, что я локтями пробиваю себе путь в вагон.

9 января. В Москве.

Слышал, что будто в группом «Советский писатель» явился Демьян Бедный и заявил, что Демьяна Бедного не существует и потому, чтобы выдали ему документы на Ефима Придворова.

Буду строить передвижной домик (на грузовике), а тянет к писанию в Загорске.

11 января. Актер Комиссаржевский приезжал просить помочь строить жизнь в Арденских лесах (Шекспир: «Как вам угодно»), как в Даурии. Оказывается, что мое писательство и есть строительство Даурии, люди (читатели мои) собираются...

13 января. Сейчас только понял слезы Горького в Дмитрове, когда одна воровка благодарила советскую власть за свое исправление: Горький не то чтобы не знал, что она не исправилась, а может быть, и еще больше испортилась — он это знал. Но он не мог удержаться от слез, просто слушая сюжет исправления, чувствительно переживая самую возможность его.

В детской литературе после разгрома ЦК (два слова не прочитываются) страшный упадок: говорят, что снова на первый план выдвигается Маршак. Я уклонился от предложения борьбы.

14 января. Вчера перед вечером вдруг стало теплеть, и сегодня -15° .

Друг мой, чистый, невинный человек погиб, но и злой недруг полетел к чертям, и самый заскорузлый себялюбец, нашедший в бюрократизме себе защиту, теперь трепещет, как осиновый лист.

Друг мой погиб, но я готов завтра же разделить его участь: у меня все к этому приготовлено. Так зачем же унывать: день-то ведь, кажется, еще мой...

Обойдут критики — промолчат о твоих несомненных заслугах, вместо тебя возведут в гении врагов твоих, совершенные ничтожества, — как неприятно бывает. И было бы хоть в утешение, что вот не сейчас, придет пора — и о тебе заговорят. Но вот в том-то и беда, когда о тебе заговорят, да еще с похвалой, то еще хуже бывает: тогда уж вовсе и надежды не остается услышать голос друга, который поднимет тебя, и ты узнаешь, что недаром искал...

И так без друзей, без внимания гаснешь к вечеру и ложишься в постель, как в

могилу. Но утром забудешь о том, что было вчера, садишься за работу с радостным чувством жизни: «Хоть день, да мой!» и пишешь, будто не день, а сто лет тебе жить.

Вот счастье бывает какое — дожить до преклонного возраста и не склоняться даже, когда согнется спина, ни перед кем, ни перед чем не склоняться и стремиться вверх, наращивая годовые круги в своей древесине.

Вечером приехали в Загорск, по пути думал: когда пишу, то верю, что так надо, что все по чистой правде пишу. Если бы, однако, приставили ко мне человека, точно измерившего и взвесившего всю правду, и он бы меня поправлял, когда я пишу, то я бы ничего по правде не мог написать.

15 января. Русский простой человек не может стать выше крови, чтобы не свояк был ему человеком близким, а всякий согласный с ним человек. В прежнее время, когда огромное большинство крестьян так и держалось возле земли родовыми союзами, — вреда от этого не было. Но когда свояк полез в производство, в *(одно слово не прочитывается)* и стал тянуть за собой свояка...

16 января. Все теплеет, дошло до -2° ночью, а снега все нет, земля чуть прикрытая.

Все народное богатство и все силы ума, искусства отданы рабочему классу — и на вот! Сам рабочий до того стал бездельничать, пьянствовать, что приходится сдавать для него каторжный режим.

Гуманность, красота, искусство, возрождение — все это связано с человеческой личностью, как с реальностью. Наше время (и у фашистов) направлено к обратному (реакция), и мы никак не можем свыкнуться с этой верой (хотя она уже была в прошлом). Рабочий сказал: «Человек — это... х... ли в этом?»

19 января. Крещение.

Вчера был весь день дождь. Мы ходили на княжеские места. На козырьке выростали сосульки, образовалась на снегу корка и стала греметь.

...Процесс осмысливания замеченного у меня иногда растягивается на десятки лет. И оттого из прошлого к старости накопился огромный запас замеченного, подлежащего пересмотру и выводу: смысл же является посредством догадок и облекается в форму сказок. Все похоже на образование торфа из растений, не до конца разложившихся. Мои сказки — это и есть торф.

Трагическая действительность, которую мы переживаем, не сама собой умудряет, а тем, что вспоминаешь людей из прошлого, которые догадывались о будущем и нас предупреждали о нем.

Со всех сторон поступают сведения, что с законом об опаздывании служащие попали в положение, подобное колхозникам в старое время, и рев подняли о «последних временах»⁶. Они говорят, что никогда не испытывали столь унижительно-го положения. И правда, рассказывают, что в Загорске в поликлинике во время приема больных сняли старейшего и лучшего врача Орлова, который опоздал на 20 минут.

Всю ночь дождь. Под утро крупа закрыла черную землю. В природе этой зимой (и лето, и осень) было так же мало радости, как и в обществе.

Ждут перемен.

Не от стихийного движения возникает соц. идеология, сказал Ленин, а от науки.

В народе сейчас, пожалуй, скорее можно найти человека, который предскажет о завтрашнем дне, чем среди ученых.

20 января. В Москве.

После дождя хватил мороз -10° и голые поля оледенели.

Положение литератора похоже на положение горбатого человека: все кажется, я не такой, как все, все что-то мешает, и оттого постоянно завидуешь жизни самых обыкновенных людей и страстно хочется быть, как все. И оттого, когда я вошел в собственный домик на окраине города, взял в руки метелку, чтобы разместить улицу, стал воду носить из колодца, встретился с соседями *(три слова не прочитываются)*, мне было в первое время, как будто вечный горб мой выпрямился и я стал таким же чудесно-обыкновенным человеком, как все.

Не о хлебе едином жив человек, ему еще нужны сказки, и так было всегда, от самых первых людей на Земле: в шелесте листьев или в прикосновении волн с каменными берегами, в мерцании звезд... люди сливаются, и в ту минуту, когда сливаются с этим, сами начинают шептать.

Вспомнилось о Фрумкиной — какой уважаемый человек! Когда случается с таким всеми уважаемым честным человеком беда (ее отстранили от редакторства «Юного натуралиста»), то все возмущались, а потихоньку, иногда сами того не сознавая, отстраняются от него, отходят, как бывает с покойником или с тяжелобольным: уважаемый человек, но выполнил свой долг, поклонился — и поскорей бы уйти.

21 января. Ленинские дни. Читаю историю ВКП. Понимаю, что РАПП⁷ целиком вышел из Ленина, и сейчас он продолжается и перейдет в войну, которая и закончит всё.

Ленин центрировал в себе ход русской истории, в нем и народничество, и раскол, и все... только нет Аполлона⁸.

23 января. Можно проводить время, раскладывая пасьянс: интерес этот в том, что дело не делаешь — просто сидишь, а время проходит. Но тоже приятно можно проводить время, если копаться в технике какого-нибудь любительства, что-нибудь свинчивать, подгонять, подпиливать, прилаживать, пристругивать, наклеивать этикетки, расставлять в ящики. Даже не надо фотографировать, охотиться, бегать на лыжах, ездить на мотоциклах — довольно чистить мотоцикл, довольно... Так можно и **страшное время** проводить...

То, что сейчас деется на свете, было всегда, но только было для отдельных людей: они это видели, другие же ни о чем страшном не думали: жили-были. Теперь же это страшное, о чем отдельные люди предупреждали всегда, увидели **все**, и рядовой человек стал в положение героя, рядовой человек стал перед необходимостью взять на себя то, что добровольно берет на себя герой. А как же иначе, если знаешь — жить для себя нельзя, а стать на место для работы на людей — тоже скоро прогнать. Значит, надо выдумать такое, чего не было, надо всех перегнуть и стать впереди всех, а это же и есть путь героя.

25 января. Вчера вечером приехал в Москву. Надо начать соединять интеллигенцию, разделенную РАППом.

Ленин состоит из: 1) Лев Толстой, 2) Чернышевский, 3) Добролюбов, 4) РАПП — весь целиком (злость и разделение во имя добра), 5) Черный бог⁹.

26 января. А Тургенев-то ненавидел Чернышевского и Добролюбова, для него они были наш РАПП.

Чернышевский, Писарев, Добролюбов, Лев Толстой, как моралист, и Ленин — все вместе породили Сталина (с его РАППами и колхозами). Другая сторона — гуманизм, либерализм («барин»), бессилие.

Почему в языке Ленина, как у семинариста, много церковно-славянских слов — постоянное «ибо», «архи»?

29 января. ...Слова наши — только вспышка разных цветов, а самой силы жизни не хватает в словах, и, как ни пиши, как ни трать свою жизнь на слова, никогда не добьешься чего-то в них, чтобы слова, даже Шекспира, даже Христа, стали действительно плотью, как хочется.

Так залейся автор слезами, но мужайся, пиши и не теряй своей веры — что когда-нибудь скажешь: «Остановись!» — и твое чудесное мгновенье остановится и воплотится...

...Когда же уймется война и начнет действовать сила любви, то движение рода человеческого силой любви будет сопровождаться таким же свечением, как при перевозке пассажиров в электрическом вагоне скольжение проволок тоже сопровождается вспышкой голубого света.

Думал о женщинах, и ведь ни одной не вспомнилось такой, даже возможной, чтобы меня бы, писателя, не оценила своей собственностью. Сила писателя в его писании, но «как человек» он слабее даже всякого самого маленького лейтенанта. Вот почему всякая женщина непременно делает писателя своей собственностью и в лучшем случае относится к нему, как к своему ребенку, и защищает его, как курица.

У философа жена должна быть курицей. (Так же сложились и отношения Толстого с женой: ему все хотелось быть лейтенантом...)

Безвыходность труда находит выход: 1) в разумном действии, порождающем веру в то, что посредством науки (Ленин) можно изменить жизнь к лучшему. На самом деле эта вера приводит не к лучшему, а удовлетворяет новые потребности, возникающие с размножением; 2) в сердечном стоне, разрешаемом песней и сказкой (личность), искусством и верой, что «слово плоть бысть», хотя слово никогда не делается плотью.

Из всего этого получается, что, **делая**, человек становится бессердечным, а создавая личность (слово-сказку), человек теряет интерес и веру к действию...

30 января. Телеграмма от Новикова¹⁰: завтра 31-го в 6 час. веч. Тургеневская комиссия.

Потихоньку про себя я уже который год разрабатываю одну и ту же тему «Медного Всадника»: «дело из разума» — есть Медный Всадник; дело из сердца — «личность» — есть Евгений.

31 января. Именно же ведь и называется тот человек **хорошим**, кто не посвящает себя какой-нибудь «идее», например, общего дела, а в каждом отдельном случае знает, как надо действовать. Еще должна быть у хорошего человека внутренняя свобода (а не служба и «долг»).

Большая Волга, Большое дело, Медный Всадник — в понятие «большое» входит и жестокое, как будто большим делом оправдывается жестокость.

Большое дело есть и отвлеченное дело, так как оно складывается из малых дел путем уничтожения их особенностей.

Умиравший Горький и Сталин (Горький оглянулся: все ложь у писателей, все его дело — ложь. А Сталин стоит...).

1 февраля. Тальников¹¹ сообщает о получении Знака Почета, и последующая кутерьма.

Расширение ордена Знак Почета: ворошиловский значок перестали <давать> — научились стрелять.

Советский деятель до того пронизан готовностью услужения коллективу, что не допускает возможности отношения индивидуального, и если это даже писатель или художник, то говорят о нем — не писатель такой-то или художник, а такие писатели и такие художники, как (имярек), имея в виду, что если таких сейчас нет, а раз-два — и обчелся, то все равно в таком роде при поощрении государства народится сколько угодно. Одним словом, имеется в виду род, а не личность: в этом и ужас весь современности.

— Мы навоз! — сказал N.

2 февраля. Митинг орденосцев. Ни слова не дали, не выбрали и в президиум, и глупо вел себя я с репортерами, глупо говорил — ничего моего не напечатали. Сижу в перекрестном огне прожекторов, щелкают лейки (*одно слово не прочитывается*) в жаре. А Толстой¹² пришел, прямо сел в президиум, и после, как сел, Фадеев объявил: «Предлагаю дополнительно выбрать Толстого». Все засмеялись — до того отлично он сел. И даже мне, обиженному, понравилось. Маршак, смертельный враг, получил орден Ленина и поздравил меня с Почетом. Положение лишнего человека: презираю их и в то же время обижен, что не сижу на их месте. Так Пушкин и Лермонтов презирали «свет» и в то же время умирали за положение в свете, и вот это-то и есть **«чертовщина»**, то есть что все хлопают — и ты должен хлопать. Спасение только в читателе.

3 февраля. Собрание деятелей Детгиздата. Маршак счастлив. Чуковский, как получивший «ордер» степенью ниже Маршака, заболел. Торжествующий Михалков.

— Кто лучше?

4 февраля. Метель снежная. Праздную рождение — 66 лет. Все литераторы выражают мне свое смущение по поводу моего «ордена». Шолохов будто бы где-то сказал, что он желал бы иметь такой орден, какой у Пришвина получается благодаря его таланту и читателям. Только искренно ли это?

Говорили потихоньку вчера на собрании о враге, что ведь и в этом вот деле награждения писателей действовал **враг**.

И вот пришло мне в голову поискать черты этого «врага» непосредственно возле нас. И так, начинаем искать врага (творчества).

5 февраля. Здешие, московские, все, встречая меня, как бы сомневаются, поздравлять или нет: поздравлять — может быть, обижать. Напротив, читатели отдаленные шлют от всего сердца искренние приветствия, поздравления «с высокой наградой».

В журнал «Охотничий промысел»: 1) Вороны, 2) Селезень и утята, 3) Глухарь с лирой, 4) Бекас и дятел.

6 февраля. Валят снега. Вчера показывался доктору. Про рассказ о митинге — что страшно было: а вдруг «просветят», — доктор сказал:

«Это у вас было близко к действительности, невозможно, что и теперь уже можно до некоторой степени просвечивать».

Бывает, я и весь мир в согласии (пан), и бывает, я (душа), и мир как бы весь во мне восстает на тебя. Бездушный мир — без вдохновенья — а все-таки в восторге.

Тут к чему-то тебя вызывают, чего ты не можешь, к восторгу без вдохновения, и в то же время и угроза какая-то и тебе страшно становится, мелькнет мысль, что тебя юпитером просветят насквозь и все увидят, какой ты, — и разорвут. (Вспомнилось радение возле головы Маркса на Сенной площади в Ельце.)

Тамара рассказывала, что чем выше поднимался Коля¹³... тем суживался светлый круг впереди: как будто не на «козе» уже ехал, а в автомобиле ночью и видел только, что видно в освещенном кругу впереди. До того дошло, что все отношение к людям сводилось к отношениям пяти лиц. И так на этих-то пять лиц пришлось донести (оказались врагами народа), после чего его посадили, и лиц этих посадили, и свет закрыли (вот так карьера!).

Наш «враг» в наших маленьких делах является лишь отблеском борьбы наверху, где «враг» — жертва необходимости найти личную форму расстройств созидательной деятельности для того, чтобы ее покорять, как врагов.

Это совсем новое явление, точно такое же, как новое явление, — прямое участие всего тыла в войне. Раньше борьба министров при царе за власть не так скоро сказывалась на состоянии общества; например, от Аракчеева до Столыпина сменились четыре царя, а большие шайки оставались в достаточном количестве. Теперь же через несколько дней после перемены в составе правительства вдруг исчезают большие шайки (*два слова не прочитываются*).

Положение писателя похоже на положение человека, прижатого подушкой, на которой сидят: изволь освободиться!

7 февраля. С. И. Огнев¹⁴, как натуралист, далеко ездил и снимал орлов и думал, что в этом красота: снять орла. Но через меня он понял, что красота не в отдаленных и трудных предметах, а везде, и если снимешь хорошо, то все и будет хорошо. Поняв это, он, почти старик, снимает возле дома в Загорске веточки деревьев после метели.

Получение ордена.

8 февраля. Опять вода!

Сохранялся стыд в душе, и жил свидетель моего стыда. Но вот теперь больше нет того человека, и, может быть, я бы и не вспомнил его. Но стыд в душе сохранился, и каждый раз, когда мне при воспоминании становится стыдно, я вспоминаю того человека и говорю себе: «Да ведь нет же больше на свете свидетеля твоего стыда, чего же ты?»

9 февраля.

«Клара Милич»¹⁵ — не упадочная вещь, в ней человек жизни вступает в борьбу со смертью и побеждает: любовь сильнее смерти. Прочитал эту вещь и я «Женьшень» свой понял как такую же борьбу, и свою собственную жизнь, и последнюю тему мою о сказке, что сказка есть такая же сила, как электричество.

10 февраля.

Барто определилась в Союзе четко, как пуговица.

Женщина в секретариате ССП причислила меня к глухим старикам Вересаеву и Шагинян и кричит, когда хочет мне что-то сказать.

13 февраля. Дождь всю ночь (это после двадцати-то градусов). Грозит худолетье.

19 февраля.

Какой это ужас, какая боль была — подумать только, что когда-нибудь это пройдет!

И вот оно прошло. И нет боли и сожаления, прошло — и нет его, и мало того: прошло — и слава Богу!¹⁶

И так точно самая жизнь и мысль о смерти — что умру, и какой это ужас, что жизнь пройдет и я умру. На самом же деле будет то же самое: жизнь прошла — и слава Богу.

Страх смерти создается силою жизни.

20 февраля.

Молиться надо, только никому не надо о том говорить.

Социализм выпрямляет и очищает религию, он есть средство борьбы, но не религия.

Жизнь под социалистическим контролем.

24 февраля.

...РАПП коренится в рабстве... тогда как тургеневщина является как бы выражением воли художника в том смысле, что пусть кругом рабы, я и в этих гнусных условиях утверждаю право художника на красоту. И еще: я художник и хочу слушать красоту, сейчас, в этих условиях, вы же требуете того, чтобы я отложил свое дело и работал бы над улучшением общественных условий, в которых люди могут заниматься искусством.

Так бывает: лелеешь в будущем цель, а когда достигнешь и надо с этим достигнутым жить бок о бок, стирать пыль, трепать, чистить, раскладывать и укладывать,

то оказывается все достигнутое ненужным и скучным. Оказывается тогда, что сладость обладания растерялась в процессе достижения, что интересно достигать, но не обладать.

Я помню, она¹⁷ мне на ходу передала письмо к матери незапечатанное...

— Коротенькое письмо,— сказала она,— позволь мне, я прочту.

И прочла мне о том, что она случайно со мной познакомилась и думает, что человек я хороший и за меня можно выйти замуж.

Все похолодело во мне после чтения, все вдруг прошло, я искоса поглядел на нее и увидел, что она самая обыкновенная и не очень даже красивая барышня, что все ошибка у меня ужасная, но что теперь уже деться некуда и поступать, как оно выходит.

— Что же, хорошо! — сказал я, принимая письмо.

Наверно, она все поняла и через несколько минут где-то на лавочке попросила обратно письмо и сказала:

— Нет, мне кажется, я тебя не люблю.

— Как же так? — воскликнул я.

И тогда опять началось сумасшествие.

Невозможность достижения была условием моей любви. И она это поняла и, отказав навсегда, взяла меня в плен на всю жизнь.

Так рождается на свете поэзия.

И я думаю, что именно так было и у Тургенева.

Антипод Тургенева — это Никишка. На этой земле в этой природе есть что-то навсегда отравленное, опошленное, униженное в самом человеке, то есть в самом источнике прекрасного. Так что хочешь полюбоваться, а тут Никишка осклабится.

Я как увидел на фото эту нашу родную деревеньку, так сразу и не захотелось мне ехать на Бежин луг.

Есть барственное основание в тургеневском чувстве прекрасного.

Тургенева из Спас-Лутовинова, пожалуй бы, не выгнали совсем, но дали бы ему во флигеле одну комнату, как было у Дунички¹⁸ в школе, у Варгунина¹⁹, то есть эта милость горше, чем просто выдворительная.

Верно то, что никакой праведник в этих условиях не мог оставаться самим собой. И вот в этом-то и есть страшная тайна Никишки, и его избы, и его деревни.

В орловской природе, в самом ландшафте орловском есть отрицание всего тургеневского (и в человеке орловском, в деревне).

Когда в орловском пейзаже появляется поэзия, то все вокруг спешит доказать, что это неправда, и раз неправда, то она и не должна существовать.

25 февраля.

В лесной России между барином и мужиком был кустарь: бондарь, горшечник, пушник, скорняк: это смягчало жизнь. В тургеневском краю мужик и барин — единство в двух лицах.

Великий пост. В Москву совершаются из деревни тайные паломничества: церкви на местах закрыты, и поговорить можно только в Москве.

В свое время было же известно, что Клюев читал стихи в салоне старой императрицы. Так почему бы и Барто, и Михалкову тоже не прочесть в подобном салоне?

Тяготение Пушкина и Лермонтова к «свету» так же неизбежно, как и всемирное тяготение: тянет, как, например, Лермонтова, хотя бы только для того, чтобы кому-нибудь там в морду дать.

5 марта.

Кончил составлять и отдал в переписку «Лисичкин хлеб».

9 марта. Прощай, снежок, ты растаял, и больше мы с тобой никогда не увидимся. Придет зима, и придет с ней, конечно снег, но это будет другой снег, а ты больше никогда не вернешься.

Прощай навсегда!

И дым из трубы, и это облако, и все-все пройдет, и перед собственной смертью ты будешь один — вот это и страшно, что все-все, связанное с тобой, пройдет, не будет даже твоей могилы, когда совсем ничего от тебя не останется, а ты все еще будешь повторять: я-я-я!

«Враг» у N перемещается: раньше это были большевики, а когда пришлось с ними помириться, то враг оказался сначала у иностранцев, потом у троцкистов, потом в невежестве своего народа: «свой враг», — и кончается тем же, чем кончилось

у сектантов: сначала антихристом, а потом враг с тобой за одним столом сидит, одной ложкой ест.

Новый день получает копилку от старого, и сам, проходя, бросает что-нибудь от себя. Некоторые видят в содержимом этой копилки и вечность и цель.

10 марта. Утром переехал в Загорск. Валит снег.

Внутренняя поэзия и формализм. А получается: душевная поэзия и деланная. Проза честнее поэзии, в прозе невозможно поэтический ритм подменить метрическим, в поэзии? — да вся поэзия и стоит на этой подмене (Маршак, Чуковский и Шкловский).

А в общем, я писал, как чувствовал, как жил, не обращая внимания ни на Чуковского, ни на Маршака, ни на Шкловского. Я исходил от русской речи устной, и этого оказалось совершенно достаточно.

11 марта. После метели ясно и мороз около -20° .

Когда я живу где-нибудь на лесной поляне, закрываю глаза, когда солнце садится, и открываю при первом свете — мне все хорошо.

Но, пожив некоторое время в городе, потолкавшись досыта в литературной среде, я становлюсь пессимистом и начинаю думать, что в человеческом мире всегда Маршак побеждает Чуковского.

Какой-то серый человек взгляделся в меня, и я понял: он меня узнал. Но я не помнил его и сделал вид, что не узнал. А когда вышел из метро, он меня настиг. Ему надо было мне что-то сказать, но внизу в толпе ему было неудобно. Я взгляделся в него и вдруг узнал: это был один букинист. Когда же мы поднялись из метро и остались одни, я вдруг понял, что он мне хочет сказать, что мне все говорят в Москве вместо поздравления: говорят, что я заслужил большего. И в этот раз, как всегда, я отгадал, букинист, оглядевшись во все стороны, склонился к моему уху и прошептал:

— Тот ли орден заслужили вы, Михаил Михайлович?

После ордена телеграмма шла за телеграммой, письмо за письмом от читателей и так долго: неделю, другую. Я наконец убедился, что в народе у меня есть настоящий читатель, которому действительно приятно увидеть меня орденосцем... Читателю кажется, что это его самого наградили. В этом большом признании я почувствовал и радость тоже и от ордена.

Начинаю понимать своего «врага» и все от замечания Чуковского: «Вы подходите внутренне, а они подходят внешне, можно ведь и так подходить».

Вот в этом внешнем подходе и есть мой враг. И если от литературы пересмотреть всю жизнь, то как раз же в этом и есть мое расхождение, моя борьба: материализм в жизни, формализм в литературе. В то же время понятно, почему не хотят и меня совсем заклевать: им хочется от внутреннего метода взять его духовность, идеализм, героизм.

12 марта. Утром снимал (солнце — мороз: весна света), но мысли никакие в голову не приходили. Вечером было, как после тяжелой болезни.

Из разговора с Кочетковым²⁰: я, со своей «внутренней» (бострёмовской²¹), точно говорю, что напрасно губили ценности кустарного быта. Он же мне отвечает:

— А если бы на кустарей ориентироваться, то ведь тогда невозможно бы было создать избытки продуктов, значит, невозможно осуществить «каждому по потребностям», то есть «коммунизм».

Значит, вот и тут, в этом маленьком разговоре, видно столкновение, скажем, спиритуализма и материализма, то есть в конечном счете личности и среды.

На практике вопрос разрешается войной личности со средой и войной тайной, потому что личность есть нечто **непроизносимое**.

Алеша Вихляев, совсем молодой человек, работает шофером, ночью пишет и раз в неделю ездит в Москву в литобъединение «Рабочей Москвы» читать свои вещи.

— У меня, — сказал он, — составила маленькая библиотека, есть весь Пушкин, один том Лермонтова, восемь томиков Чехова, Толстого бы надо! Где же взять его: Толстой стоит пятьсот рублей. Тургенева и то не могу достать.

— Погодите, я вам подарю «Записки охотника».

— Спасибо, большое спасибо, вы мне Тургенева «Записки охотника», а я вам рессору подарю... Что это, скажите, езжу я в Москву и нет мне пользы от этой литературы ни малейшей и, по всей вероятности, и не будет никогда, стремлюсь — и больше ничего.

— Вот это самое «бесполезное» стремление и есть самое главное, и когда-нибудь оно обернется вам с пользой.

15 марта. Москва. Валит снег. Вчера А. М. Коноплянец²² рассказал, что жи-

вет на диване (все та же одна комната) и сыновья-комсомольцы, и зарастает его диван комсомолом: Миша женился, привел комсомолку. Так и зарастает старый богоскатель на диване комсомолом и октябрятами.

16 марта. Валом валит снег: снег выпал только в марте.

В ГИЗе говорил Лукину, и от его согласия со мной самому становилось ясно: это что стихотворчество, закрепляясь в метре, при большом мастерстве перебивает естественный органический ритм народной речи; что борьба с этим должна быть не личной, с Маршаком или Багрицким, а вообще с формализмом. И ясна становилась задача современного русского писателя: писателю классическому, «внутреннему» русскому, нужно овладеть внешней формой, и не потерять силы своего внутреннего творчества, и не впасть в пошлость. В такой борьбе за национальную литературу исчезает борьба с «одесситом», потому что «одессит» со своим формализмом является достойным тружеником в творчестве. Так что нам, коренным русским, надо не сетовать на засорение русского языка «одесситами», а учиться у них формальному подходу к вещам, с тем чтобы в эти меха влить свое вино.

19 марта. Валит снег. Видел во сне Ленина с горящими глазами в мирной домашней обстановке. Все сидят в тревоге: «Мы окружены с Азии».

Германия заняла Чехословакию, ультиматум Румынии, а тут своя весна... И так вот все: те, кто сейчас «наверху», должны так и жить и думать, что война и все для войны, а кто-то должен думать, жить, устраивать все, как будто вовсе не будет войны. И так она, «египетская» (по Розанову), жизнь (священная), совершается, осуществляется пусть даже в последней секунде своей, как священная, и самое главное, называется презренно «сверху» обывательством, мещанством. «Гражданство» лишь при условии внутреннего истока.

Читаю «Всадник без головы» и думаю воспользоваться его динамикой и тем начать свою большую борьбу с формализмом.

Форма питается одновременно и силой необходимости и силой свободы. Гений может создавать форму одной свободой, исходящей из внутреннего порыва. Все другие «работают над формой», исходя из чувства необходимости.

Кончил «Всадник без головы». Такая динамика в романе, что умный пожилой человек с величайшим волнением следит за судьбой дураков. И таким механизмом романа не пользуются!

20 марта. Не обошлось без снега и сегодня. Вот и навалило снегу без осадки под самое половодье.

Социалисты (марксисты) ищут между людьми отношений вещественных, они считают, что только вещь реальна в человеческих отношениях.

Это, наверно, правда, что только вещь может свидетельствовать о тех или других массовых отношениях людей между собой.

25 марта. Загорск.

Вчера ринулась весна воды и наш дом окружился водой. Сегодня готовится красный день с легким утренником.

1 апреля. Мороз -15° . И ветер легкий. Очень ясно и ярко, к 12 дня развезет. Принимаюсь за «Весну» (хочу так назвать «Падун»)²¹.

Ночью вспомнил письмо комсомолки к доктору с вопросом: можно ли оперативным путем вернуть девственность? А доктор будто бы (это уже снилось) ответил: «Едва ли это возможно, и если возможно, то на что это вам? Но вам без всякой операции и по-настоящему самой можно вернуть себе девственность. Я научу вас, для этого вам стоит только полюбить по-настоящему. Ведь это для состояния девственности вовсе и не важно, все ли как следует обстоит в отношении физических органов. Важно душевное состояние: если женщина способна самозабвенно полюбить, то девственность к ней возвращается, без девственности души нельзя полюбить. Полюбите — и к вам вернется девственность».

3 апреля. -18° .

Пудра вчерашней пороши по насту, и на ней звезды. Каждая былинка смотрится и видит себя голубой. В овраге нет еще воды, но следы зверушек двойные: бегают друг за другом — это у них весна света.

Акт насилия после минувшей необходимости в нас должен скрыться — скрывается. Только церковь с поломанным шпилем и крестом свидетельствует.

Время создавать фольклор.

Талант — не собственность, это похоже на квартиру в Москве: ты можешь ей пользоваться, и без особых причин у тебя ее не возьмут никогда, но продать свою квартиру ты не можешь. Точно так же и талант: настоящий талант не продается.

И сама жизнь человека тоже как и талант: вся в твоём распоряжении, но проданная жизнь — это не жизнь, и покончить с ней тоже не в твоей воле, не собственность она, и если покончишь с собой — будет считаться за преступление.

Не только помириться, но даже войти в какое-либо сотрудничество с этой жизнью возможно лишь или при полном незнании прошлого, или если считать, что жизнь эта **вышла** сама собою, а не делалась сознательно, как нас уверяют.

8 апреля. Первая песня зяблика слышится с первой песней воды.

Никакими полезностями не интересуюсь, но ценности собираю, и они становятся полезными для других только через меня. В этом и заключается удовлетворение, что только через меня.

10 апреля. Снежная буря.

Начинается собственность из хаоса, близкого к моему Я — это самое близкое к Я — это личный хаос, из которого сила. «Талант куёт вещь, представляющую собой мою собственность».

Собственность как продукт личного творчества и собственность как традиция родовая, групповая. Человек в силу традиции «на право наследства» получает право распоряжаться трудом других. Вот эта собственность есть варварство.

11 апреля.

Со Ставским²⁴ о власти, что все из-за власти и что сам Ставский теперь физическая жертва стремления к власти. Но если бы Ставский мог, как я, сидеть и писать, он не стремился бы к власти. И не один он. Значит, власть иной природы. Она рождается в стремлении каждого насиловать и через это получать нечто себе, усиливать себя.

Стремиться к власти — значит, насиловать других и через это усиливаться.

16 апреля.

Продала кровь и сделала себе причёску «перманент».

...Тоня²⁵ продала свою кровь за причёску «перманент» и, вовсе не думая об этом, — спасла жизнь женщины.

Кого же благодарить за спасение жизни? Я думаю, что докторов, а Тоня была их жертвой жизни: это они перелили кровь из одной жизни в другую.

18 апреля.

Для художника Страшный суд есть правда.

Форма договоров — Пушкин: да будет воля Твоя! Не моя, не художника. Счастливый договор, неповторимый итог.

Претенденты на трон Правды: Гоголь, Толстой, Достоевский...

Мой договор: Правда ловит художника слова — эту иллюзию надо преодолеть в себе (*два слова не прочитываются*) и ещё надо преодолеть все «полезное».

Я часто думаю о себе, как я мог уцелеть как писатель в тяжёлых условиях революции, как не стыдно так **сохраниться**.

26 апреля. Знаю, что все звезды со временем будут открыты, приблизятся к нам и станут не только сказками, но верю, что никогда не откроется для всех ночной час человека спящего...

27 апреля. Райский день: вчера ударил первый гром, сегодня, я думаю, лягушки выйдут.

Первое Тургеневское чтение. Говорят, хорошо, но самому было нерадостно.

28 апреля. Возвратился в Загорск с мукой в душе за свое счастье. Все Молчалины.

-1°. Солнце полное. Тихо. Пока люди спят, с деревьев слетают грачи и важно разгуливают по улицам города. В этом и есть счастье мое — чувствовать себя, как грач, знать время, когда можно быть самому собой.

29 апреля. Токующий зяблик: мил и смешон, как токующий зяблик. Найду ли я в лесу ещё клочок снега, чтобы проститься (после Москвы)?

Настоящие властелины потому и собирают людей, что могут быть и жестокими убийцами и нежнейшими, задушевными товарищами. Вникая своей задушевностью в самые тонкие сплетения душ, они берут их к себе и ведут, а если плохи окажутся — уничтожают. (Это можно видеть и в Павловне.)

30 апреля. -5°. Ярко, безоблачно. Распевает скворец на липе.

Время проходит так, что хранит нечего, оно уносит все, и, когда мы встречаем и предлагаем участие, на нас и не глядят сидящие во времени.

Писатели потому не идут на Тургенева, что им стыдно выходить из своей пустоты.

1 мая. На Кубре. Цветут неодетые деревья и травы: ранняя ива, ольха, осина, волчье лыко. На неодетый лес прилетела кукушка — нехорошо!

Старый пень с мастерской дятла, и вокруг пня густо-зеленые пустые еловые шишки: всю зиму дятел кормился.

Общественное стадо нас окружило, пастух пришел покурить...

Уснули под мирное мычание и бляение, и слышно, как щука плеснулась...

2 мая снег, мы в Загорске, 3-го — в Москву.

3 мая. Продолжается на вторые сутки дождь, и в воздухе стало так сыро, что над Москвой стали чайки летать и так спокойно, как будто им и тут хорошо.

Раз нет быта, значит, нет правил, по которым люди живут, то какие же могут быть праздники? Конечно, только на Красной площади принудительные. И есть признаки, что эти праздники начинают притягивать к себе, находятся из студентов и пр. чисто казенные люди, которым на официальных праздниках хорошо.

Сплошной дождь, но весной небо плачет, а земля зеленеет.

12 мая. Мороз -5° , но ясно и весна стихает. Надеясь на потепление и выезжаем. Вечер в Терибреве на тяге. После ехали дальше, за Новым повернули налево и остановились ночевать в поле.

13 мая.

Утро по тетеревам. Приехали к Усолюю.

14 мая. Продвижение к воде, устройство лагеря. Поворот в природе к теплу.

Дачники жалуются на весну, но разве у себя-то в городских домах часто у них бывают праздники и легко ли их было устроить, а они требуют от природы, чтобы одни только праздники давала.

15 мая. Влажное утро после вечернего дождя. Такая тишина, что Бой на кукушку лаял.

Нигде не сказывается тишина, как в сосновом бору на моховом основании.

16 мая. Светлый рассвет, шум над рекой, мороз и жаркое солнце.

О трясогузке: скучно ли ей сидеть одной на дереве? Увидит, спрыгнет, и прибежит, и станет тебя в упор в два-три шага разглядывать.

17 мая. Влажно-солнечное утро. Собираемся. Там, где первобытный человек жег костер и современный рыбак на обогревом месте тоже свой костер зажигает. И нам тоже сухая площадка первобытного человека оказалась единственным местом, чтобы развернуться машине.

19 мая. Узел неволи.

Если губят лес — это значит губят свободу народа...

И вот идут по Ярославскому шоссе желтые, изможденные люди из Архангельска: люди эти сводили северный лес.

Идут машины, испуская свои ужасные и тоже страдающие звуки на ямах и ухабах. И в этом сила государства, что оно без конца может собирать для себя свободу нарождающихся людей. Нас много, а в запасе Китай — еще больше!

А из-за чего?

Автомобиль на этом шоссе в два-три часа разбивает человека больше, чем бывало телега разбивала за эти часы. Но зато телега бежала в два часа от силы 20 верст, машина же сто. Все это устроено за счет сокращения жизни.

А из-за чего?

Культурные народы живут теперь, воюют за счет своего прошлого, то есть они тратят скопление энергии своих отцов, дедов и прапрадедов.

Некультурные народы делают то же самое за счет силы своего размножения, за счет энергии масс настоящего времени — сила варвара.

И вот вопрос — это ли победа или то?

А из-за чего?

Это война Запада с Востоком... силы личной с силой родовой, разума с природой.

При-рода похожа на воду, и человек в ней, как в воде капля. Но тем отличается человек от природы, что каждая отдельность в нем действует силой своей отдельности. Человек понял, что в мире человеческом нет подобных капель, и каждый человек чем-нибудь отличается от другого, и эта сила отличия стала силой всего человека на земле.

Культура — это скопление силы от-личий.

Цивилизация — это захваченная родовой силой сила отличий.

Сила отличий есть творчество.

И человек есть творец.

Индивидуализм есть последствие цивилизации: индивидуализм есть расширение культуры.

Культура в конце концов должна попасть в руки варвара, но варвар, вкусив

культуры, отравляется в своей варварской силе размножения и, пережив физическую безнадежность, становится в свою очередь деятелем культуры.

Настоящая большая война есть процесс обмена культурной силой отличия с силой природы варварства. Из-за этого и есть война.

А кто победит?

Конечно, варвар победит в первую очередь, но только неизвестно, какой варвар: наш, восточный, или же их, западный.

Наш процесс «жить хочется» обертывается в общий процесс.

Шестерня заменима, но человек должен быть незаменим, а они поступают с человеком, как с шестерней, и рассчитывают на то, что их много и всякого есть кем заменить.

Государство — это прежде всего механизм.

Горе наше, что люди цветут, не как деревья каждый год, а только раз в жизни, и все в разное время, и у каждого человека своя весна. Вот почему, когда вся природа в мае цветет, на человека грустно смотреть — так он сер кажется в это время. И разодетые дачники своим нарядом не создают весну: не народ весну делает.

Исток необходимости (чувство смерти). Исток свободы, легенды (я живу, как бессмертный) — теория относительности.

Для той женщины, которой надо отдаться, ничего не нужно от тебя, тут нечего придумывать, нечего готовить, ты будешь, наверно, вечным дурачком и совершенно бессильным, а она, всем недоступная красавица, будет глядеть на тебя и не наглядится.

Смерть чудовищна и непобедима никакой логикой, никакой поэзией, но сделайте жизнь религией, превратите ее в единое творчество Всего-человека, и смерть потеряет свое «жалю».

Солнце, великий множитель жизни, поднялось на горизонте.

31 мая. После мороза яркий день: какая трава, какая роса! Летит осиновый пух, весь воздух наполнен пушинками, и против солнца не поймешь, где пушинки, где пчелы.

Бострем сказал, что он о своей беспредметности думал — это самое и есть реализм.

Субъективно каждый думает, что он реалист.

Критерий: признание во времени — **остается** там реальным.

Против Бострема: абсолютно мы не правы, и глупо даже поднимать об этом вопрос — сила массы нашей само по себе явление чудовищное. Но в отношении европейской цивилизации мы ведем священную войну: нас, варваров, посылает священный множитель жизни.

Они же спасают цивилизацию и тоже ведут в отношении нас, как им кажется, священную войну.

А если не война, то мы затеем какое-нибудь истошающее строительство.

Конец Ежова: виноватых и нет, их создают подхалимы.

2 июня.

Узнал, что умер Петров-Водкин²⁶, страшная была у нас с ним неприязнь.

Есть люди, столь значительные, что весть о их кончине не так уж и обидна: они живут в делах своих.

Красота избегает тех, кто за нею гоняется: человек любит свое что-нибудь, трудится, и эта любовь к труду, и из-за любви, бывает, (*два слова не прочитываются*) и появится красота. Она вырастает даром, как рожь и как счастье. Мы не можем сделать красоту, а посеять и удобрить землю для этого мы можем.

6 июня.

Годы мои проходят, но я не беднею от этого.

Мне хотелось бы, чтобы так было бы и до конца: все мои годы пройдут, а мне станет лучше, чем было, и смерть моя стала бы новым моим рождением.

Культура — это осознание того, что жизнь не есть личная твоя собственность,

не Я, и твое отношение к что Я — это только сознание, а сама жизнь не твоя, и со-
знать ее до конца — значит присвоить себе невозможное.

Личность — это сознание, но никак не право распоряжаться жизнью как соб-
ственностью.

«Личная жизнь» — это значит сознательная жизнь, у нас же личную жизнь по-
нимают как присвоение.

7 июня.

Последняя иллюзия собственности — это моя жизнь: я почувствовал, что моя
жизнь не есть моя собственность.

9 июня.

Художество — это понятный разговор о непонятных вещах.

Все, кто в 17 году находил свое счастье в большом деле, все теперь или погиб-
ли в глубоком несчастье, или еле-еле живут...

10 июня. В семь вечера выехал.

11 июня. Ночевали в д. Предаево возле плетня и ржи, вид на леса и пойму
Нерли. Рожь колосится.

12 июня.

— За 21-й палец меня нехватишь!

— Человек есть смелость и рыск.

— В воде рыба и микроб... леший-водяной.

— Есть Бог? Нет. Невидимый, а раз невидимый — и нет.

Аксюша:

— А скажи, где найти путь?

— Зачем ты одиноличника спрашиваешь?

16 июня.

Вороны млявые сидят, видно, что вывели и отдыхают, а самцы хлопочут о детях.

Гармония — это когда что-нибудь в природе вызывает ответ в человеке.

«Я» — это все, что мог бы сказать Евгений Медному Всаднику.

Это драма Медного Всадника, то есть что «гигант» как фактор истории боль-
ше человека и в смысле обязательств к единственной и неповторимой человеческой
личности он свободен (бессознателен).

Национальность: когда в живом чувстве своей народности расширяешься до
границы нации и хочешь упереться в эту границу ногой, чтобы твердо стать, то гра-
ница отодвигается и ты падаешь в грязь. Народность в творящем человеке должна
действовать подсознательно.

Бог есть творческое выражение человеческой сокровенности, не ограничен-
ной ни отдельным человеком, ни отдельным народом. Но почему-то народ делает
бога своим. Всякая революция, как универсальная сила, освобождает богов от лю-
дей.

Скопление чужого ума является творческой личности, как вторая природа, ко-
торой надо овладеть, чтобы стать на свой собственный путь.

Попробуйте хотя бы Шекспира взять себе в постоянные советчики, и вам бу-
дет неловко жить с простыми людьми, вы тогда будете вперед знать их мысли и по-
ступки. Им это передается, и они будут вас стесняться, а вы будете себя считать в
чем-то перед ними как бы виновным. Вот подходит к вам человек с целью поиграть
на вашей струне, а вы, угадав его намерение, спрашиваете, как Гамлет: «Умеешь ли
ты, друг мой, играть на флейте?»

17 июня. В 11 утра прибыли на Кубрю и купались. В семь вечера приехали в
Загорск.

24 июня. Дождь окладной, теплый. Пчелки рады отдохнуть хоть денек.

Вчера был Горский²⁷, пророк воскрешения отцов. До того маньяк, что в «Мед-
ном Всаднике» видит воплощение идей Федорова: Евгений чего-то добивается —
чего? найти невесту. И находит ее домик, но домик пуст. Ему остается воскресить
ее... Значит, Пушкин — федоровец.

Письмо от Разумника, что на свободе и «реабилитирован». Слух о смерти Ман-
дельштама.

26 июня. Приехал Разумник.

27 июня. Летний дождь и гроза.

Рассказы Разумника о русском народе. — Как же это мало сказалося в литера-
туре! — Потому что Россия была кустарная страна, и православное христианство
укрывало зло. Революция в отношении такой кустарной России была явлением зла.

И вышел из революции Чужой человек, и начался процесс отчуждения.

Каждый уголок земли также жил в своеобразии. Революция дала идею **общей** жизни (колхоз), и это **отвлечение** сопровождалось отчуждением.

При такой неправде и таком отчуждении как же и не появиться окаянству, от-ветному на сознательное зло (ради будущего добра).

Появился план переустройства во всей жизни, и старое, существующее в насто-ящей жизни, было отвергнуто и убито ради будущего общего блага всех людей.

В этом об-общении (от-влечении) и заключаются отчуждение людей и сопро-вождающее это явление зло.

Поглощение живой индивидуальности процессом, Большим делом, Цивилиза-цией и т. п. То же явление и при наступлении капитала на кустарей, и то же самое при наступлении Социализма: то же расширение и отчуждение людей между собой.

29 июня. Людей покоряет не зло, а добро.

Есть люди, которых нельзя покорить никаким насилием, но стоит им сделать добро — и они на всю жизнь становятся пленниками своего благодетеля. На этом вся природа стоит: покормите получше птицу, зверька, и они становятся ручными.

30 июня. Лодку на Торбееве проверили, а вечером, когда сидели на террасе, ужжи-нали, небо такое было чистое, такое умытое, и на столе васильки и раковые шейки.

КОММЕНТАРИИ

1. Лицо не установлено.

2. Чулков Г. И.— писатель (1879—1939).

3. Ильенков В. П.— советский писатель (1898—1967), отец известного философа Эваль-да Ильенкова.

4. Речь идет о повести «Домик в Загорске», которая осталась незавершенной.

5. Ефросиния Павловна — жена писателя.

6. Имеется в виду Постановление от 8 января 1939 года, по которому любое опоздание на работу более чем на 20 минут приравнивалось к неоправданному отсутствию, а повторное опоздание вело к увольнению.

7. Имеется в виду Российская ассоциация пролетарских писателей, просуществовавшая с 1925-го по 1931 год. Отличалась грубыми, жесткими приемами борьбы против других литера-турных группировок, отталкиванием писателей старой школы, объявленных «попутчиками», в числе которых оказался и Пришвин.

8. Излюбленный образ Пришвина в его размышлениях о сущности творчества в искус-стве и жизни, где Аполлон — образ гармонического, светлого начала.

9. Всевидящий, преследующий «черный безликий бог» — образ неминуемой кары, чер-ной необходимости, присущей русской жизни. См. повесть Пришвина «У стен града невидимо-го» (1909).

10. Новиков И. А.— советский писатель (1877—1959).

11. Тальников Д. Л.— критик, театровед (1882—1961).

12. Имеется в виду Алексей Толстой.

13. Речь идет о Дедкове Н. И., бывшем ученике деревенской школы под Дорогобужем, где Пришвин в 20-е годы работал учителем. Впоследствии стал партийным деятелем, аресто-ван, сослан в Сибирь, вернулся в Москву в 1955 г. Тамара — его жена.

14. Огнев С. И.— ученый-зоолог, дружил с Пришвиным.

15. «Клара Милич» — повесть И. С. Тургенева.

16. Речь идет о первой неосуществленной любви Пришвина к В. П. Измалковой, кото-рой посвящены многие страницы дневника писателя.

17. Измалкова В. П.

18. Имеется в виду двоюродная сестра писателя Игнатова Е. Н. (1852—1936), народовол-ка, всю жизнь проработавшая в деревне учительницей.

19. Лицо не установлено.

20. Возможно, кто-то из сергиево-посадских знакомых Пришвина.

21. Бострем Г. Э.— художник, друг писателя по Сергиеву Посаду.

22. Коноплянцев А. М.— друг Пришвина с гимназических лет.

23. Одно из первоначальных названий романа «Осударева дорога».

24. Ставский В. П.— писатель, журналист, в 1937—1941 гг. главный редактор журнала «Новый мир».

25. Лицо не установлено.

26. Имеется в виду художник Петров-Водкин К. С. (1878—1939).

27. Лицо не установлено.

*Подготовка текста,
комментарии и публикация
Л. А. РЯЗАНОВОЙ.*

Развертывание альтернатив

Когда раздвинулся занавес, отделивший нас почти от всех духовных течений XX века, интеллигенция бросилась на запретные книги русских мыслителей. После «основ марксизма» это было таким живым, вдохновенным, человеческим чтением, что возник своего рода изоляционизм, сосредоточенность на своем собственном, русском, в ущерб связям с окружающим миром. Между тем Бердяев, Булгаков, Франк, Федотов просто непонятны без их широкой европейской образованности. Так же как непонятен Рублев без византийских канонов, Достоевский — без европейского романа. И нельзя возродить дух русской философии, дух живого отклика на глобальные проблемы, не войдя в поток европейской мысли, начиная с авторов, уже ставших классиками, но нами все еще не освоенных.

Замечательным шагом в этой области стала серия «Лица культуры». В ее рамках были опубликованы, с 1994-го по 1996 годы, Якоб Буркхардт «Культура возрождения в Италии», Макс Вебер «Образ общества», Вильгельм Виндельбанд «Дух и история», Георг Зиммель «Философия культуры» и «Созерцание жизни», Карл Манхейм «Диагноз нашего времени», Эрнст Трёльч «Историзм и его проблемы». О некоторых из них я уже писал, теперь хочется собрать воедино свои заметки о Вебере.

Каждый человек, следивший за иностранной научной периодикой, не мог не удивиться множеству ссылок на работы Макса Вебера. За полвека кое-что устарело, частности индийской или японской культуры, которых он касался, смотрелись иначе, и все же многие статьи начинались с изложения идеального типа культуры по Веберу, протестантской этики по Веберу, понятия мирской харизмы по Веберу... Это не было ритуальной обязанностью (как у нас — ссылка на Маркса). Нет, исследователям действительно нужен был «идеальный тип», выстроенный Вебером, нужно было искать аналогию протестантизма в японских буддийских сектах, нужна была теория харизматического руководства для понимания сдвигов в Гане и Гвинее. Такая живучесть старых концепций в современном мире, далеко ушедшем от начала века, о многом говорит.

Для нескольких выдающихся мыслителей еще важнее был духовный облик Вебера, стиль его мышления. «Макс Вебер,— говорил Карл Ясперс,— хотел быть ученым в области специальной науки и считал свою социологию специальной наукой. Но это — странная специальная наука, которая не имеет своего материала, ибо весь ее материал уже ранее разрабатывался другими науками, действительно только специальными. Наука, которая фактически становится универсальной, заставляя, как прежде великая философия, работать на себя все науки и все их оплодотворяя,— в той мере, в какой их объектом является человек. Внешнее сходство социологии с философией состоит в том, что в той и другой нет общепризнанного уровня, нет объективного критерия научной значимости, как в специальных науках. Близость социологии к философии внешне проявляется как будто и в том, что к ней обращались официально признанные философы... Среди современных философов в качестве примеров можно назвать Зиммеля и Трёльча, причем Трёльч признает, что он многому научился у Вебера. Философия там, где она жизненна, всегда имеет конкретные корни...

Философ — нечто большее, чем просто познающий. Его характеризует и материал, который он признает, и происхождение этого материала. В личности философа присутствуют время, его движение, его проблематика, в ней силы времени необычайно жизненны и ясны. Философ представляет собой то, что есть время, и представляет субстанционально (т. е. целостно.— Г. П.), тогда как другие отража-

ют лишь части, уклонения, опустошения, искажения сил времени. Философ — сердце в жизни времени, но не только это, — он способен выразить время, поставить перед ним зеркало и, выражая время, духовно определить его. Поэтому философ — человек, который всегда готов отвечать всей своей личностью, вводить всю ее в действие, если он вообще где-либо действует. Если бы он этого не делал, у него не было бы материала для наиболее оригинального познания, он совершал бы только интеллектуальные ходы. Тогда возникали бы знания, оторванные от существования, которые производят как бы в безвоздушном пространстве пустое действие с помощью безразличного материала, не предполагающего экзистенции, — в руке каждого как бы стертая монета. В Максе Вебере же мы видели воплощение экзистенциального философа. Люди обычно заняты, в сущности, лишь своей личной судьбой, в его же великой душе действовала судьба времени». Ясперс подчеркивает «живое движение его экзистенции, в котором достигались мгновенные завершённые синтезы и в котором он, производя оценки, не забывал об объективности...»¹

Синтезы Вебера действительно мгновенны. Они никогда не становятся застывшими формулами. Почти за каждым выводом следует «впрочем», возражение самому себе. Если для Достоевского характерное слово — «вдруг», то для Вебера — «впрочем». Многие примечания могли бы стать началом особой статьи, особого пути исследования, иногда параллельного основному, иногда — уходящего в сторону. Найдя решение, Вебер тут же оценивает альтернативы, возвращается к стволу мысли и снова оказывается в гуще ветвей. Мысль его непрерывно ветвится. Многие работы Вебера остались незавершёнными, и сами завершения чисто формальны: внимательный читатель увидит в них побег ветвящейся мысли, остановленные в своем развитии. Отчасти поэтому Вебер никогда не мог бы стать идеологом. Он, впрочем, и не хотел этого.

Идеология — своего рода катехизис. Она сводит любое многообразие к принципу и дает однозначный ответ на любые вопросы. В Китае 50-х годов издание древнего текста назвали немарксистским, потому что старый ученый-текстолог признал некоторые иероглифы не поддающимися бесспорному толкованию. Вебер — полная противоположность такому катехизисному уму. Он живет в мире открытых вопросов. «Идеальные типы» — мысленные образы, постоянно проверяемые фактами. Вебер не сводит историю к классовой борьбе, или борьбе этносов, или к либидо, или еще к чему-то. Жизнь стоит перед его взором в своей бесконечной сложности. В этом калейдоскопе явлений интуитивно выделяется «тип», некоторая вторяемость, и мысль оперирует с «типом» как с атомарным фактом — но все время сознает, что это не факт, что это *идеальный* тип, создание исследователя, артефакт.

Своей способностью извлекать из жизни идеальные типы Вебер — предшественник экзистенциалистов, лепивших свои категории из материалов личного опыта. Не случайно у Вебера учился Ясперс. Идеальный тип — это не понятие точной науки, за которым стоит лабораторный эксперимент. Никакой эксперимент не может подтвердить идеальный тип пророка, парии, протестанта, которыми оперирует Вебер в своей социологии религии. Они рождаются не в материале самом по себе (слишком пестром и восстающем против таких обобщений), а во впечатлении исследователя. Идеальный тип — такое же создание Вебера, как Собакевич — создание Гоголя. Это образ, описанный языком понятия. Борис Хазанов, в одном из разговоров со мной, около 1980 года, назвал такое мышление метахудожественным.

Большинство исследователей-эмпириков лишено метахудожественных способностей, и многие чувствуют себя вынужденными брать артефакты Вебера как исходную точку в обработке материалов полевого исследования, как эталон, с которым сравниваются факты. Но Вебер вовсе не был фабрикантом эталонов. Если бы он прочел некоторые работы своих учеников, то мог бы сказать нечто вроде того, что сказано было Марксом после чтения Лафарга: если это марксизм, то я не марксист.

Когда мы сравниваем две версии происхождения капитализма, Маркса и Вебера, мы обычно не учитываем, что у Вебера нет жесткого деления факторов на первичные и вторичные, на базис и надстройку. Вебер подчеркивает роль кальвинизма в движении, который произошел в экономическом развитии Европы. Но внимание его все время приковано к социальному в религии, к интересам, которые диктуют выбор того или иного вероисповедания и находят в избранной доктрине свою опору. Земные интересы вовсе не отброшены в область несущественного, второстепенно-

¹ К. Ясперс. Речь памяти Макса Вебера. В кн.: М. Вебер. Избранное. М., «Лики культуры», 1994, сс. 555—557.

го, надстроечного. Они прослеживаются на каждой странице «Социологии религии».

Вебер легко создавал доктрины, но он не был доктринером. Единой теории исторического процесса у него нет. Есть несколько блестящих подступов к отдельным глобальным проблемам, к отдельным аспектам исторического процесса, единство которого созерцается, но не артикулируется. Каждый подступ опирается на определенную группу фактов, охваченную единым взглядом. Каждая концепция Вебера — инструмент, приспособленный к решению определенной задачи, а не отмычка ко всем замкам. Вебер никогда не скажет «история всех предшествующих обществ — это история классово́й борьбы» (Маркс) или «так зарождалось на семи холмах волчье племя квири́тов, ставших римлянами, конфессиональные общины ранних христиан и мусульман, дружины викингов... монголы в XIII в., да и все, кого мы знаем» (Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера. «Природа», 1970, № 1, с. 50). Формулу теории *всех* обществ, *всех*, кого мы знаем, он не ищет. Однозначное объяснение всего на свете — примета полунауки, идеологии, приспособленной к массовому сознанию, знак неспособности мыслить альтернативными парами и группами решений. Вебер очень популярен среди ученых, но горячие головы в Америке или во Франции никогда им не увлекались. Увлекались Маркузе или Мао Цзедуну.

Отдельные подступы Вебера к истории мне дважды припомнились, когда я строил схему историографических схем, привязав каждую из известных теорий к определенному масштабу времени и пространства. Основная идея этой схемы схем впервые (насколько мне известно) высказана Кантом: при взгляде на историю с птичьего полета видно закономерное, *глядя вплотную* — хаос. Я разделил точки зрения историков на несколько уровней. Когда историю меряешь тысячелетиями, бросаются в глаза накапливающиеся процессы: рационализация человеческих взаимоотношений с природой (Вебер); рост производительных сил (Маркс); рост разделения труда, дифференциация (Дюркгейм) и т. п. Если же мерить сотнями лет, удивляют разрывы в развитии, гибель отдельных культур (циклические процессы, подобные рождению, росту, расцвету и гибели организмов: Вико, Шпенглер, Данилевский, Гумилев); наконец, маятниковые движения устойчивых культур, сохраняющих равновесие, переходя от средних веков к новому времени, от Возрождения к барокко, от барокко к классицизму и Просвещению, от Просвещения к романтизму и т. д. Если же масштаб соизмерим со сроками человеческой жизни, то бросается в глаза случайность, вовремя поданный стакан воды Скриба, и вырастает роль отдельной крупной личности, угадавшей возможности времени.

Это не значит, впрочем, что результат деятельности крупной личности так же недолговечен, как ее жизнь. Иные личности оказали влияние на тысячелетия, но лишь в том случае, если сквозь них прошла струя из очень большой глубины; а это бывает редко. В дальнейшем я дополнил первую классификацию второй, параллельной, по типам движений: кумулятивных (накаплиющих свои достижения), циклических, маятниковых и вулканических (взрывных). На последнем уровне мы снова встречаем Вебера. Соперничая с Марксом в понимании кумулятивных процессов, он предшествует Л. Н. Гумилеву в описании движений взрывных.

Вебер берет в качестве модели отношения пророка с его учениками — и переносит это на Кромвеля, на Наполеона; чувство исторического призвания сравнивается с харизмой, осенившей Моисея или Иисуса Навина. В XX веке ученики Вебера признали харизматиками Ганди, Гитлера, Ленина, Кваме Нкруму и прочих вождей национальных и социальных движений, вокруг которых стихийно возникло преклонение. Теория Вебера предусматривает и рутинизацию харизмы, то есть перенос преклонения на наследника. Так, папа римский — наследник харизмы Петра, вне зависимости от личных качеств. Мы могли наблюдать, как любой наследник Ленина становился выдающимся марксистом (даже не умея правильно произнести слово «марксизм»).

Трудно сказать, знал ли Л. Н. Гумилев эту теорию; во всяком случае, евразийцы, его учителя, Вебера знали. Гумилевская концепция пассионарности напоминает пересказ Вебера. Пассионарий, страстный зачинатель движения — харизматический лидер. Переход консорциев (объединения страстных натур) в инерционную конвизию — рутинизация харизмы. Нет у Вебера только одного: роли пассионариев в создании этноса. Вебер не считал, что новая ментальность, созданная Кромвелем или Наполеоном, — это новый этнос. Думаю, что и в жизни этносы возникали иначе.

Когда я в конце 70-х годов послал в журнал «Диожен» статью, где, в частности, критиковал теорию этносов, редактор мне ответил, что просит опустить разбор идей господина Гумилева: на Западе это никому не интересно. Я попытался понять:

почему? Одной из причин показалось мне знакомство западного читателя с Максом Вебером.

Зададимся теперь вопросом: почему сам Вебер, накопивший почти весь материал для построения схемы схем, ее не построил? Он создал одну из теорий кумулятивных процессов, «расколдовывания мира», изгнания богов и духов из природы; он создал общепринятую на Западе теорию взрывных движений, возглавляемых обожаемым вождем; его идеальные типы азиатских культур были подступом к теории «культурных кругов» Шпенглера и «цивилизаций» Тойнби. Он созерцал те исторические тела, в которых совершался квазибиологический цикл развития и гибели либо (как пытался это показать я) маятниковые колебания между господством «вертикальной» направленности (к целостному и вечному) и «горизонтальной» (к миру предметов в пространстве и времени). Ему не хватило только сознания того, что принесла катастрофа мировой войны. В 1918 году, когда вышел «Упадок Запада» Шпенглера (в русском переводе «Закат Европы»), Веберу оставалось два года жизни: он умер в 1920 году. Его творчество относится к периоду «до Шпенглера и Тойнби», когда закономерным казалось только кумулятивное развитие и взрывное противостояло кумулятивному как иррациональное вообще — рациональному вообще, когда самой проблемы соотношений кумулятивной, циклической и маятниковой закономерности еще не было.

Такой была атмосфера времени. Но и сам Вебер был фигурой переходной. Его «идеальные типы» — шаг от историографии к историософии, но шаг незавершенный. Творческое воображение Вебера все время обуздано требованием науки: не отрываться от фактов. Но факты всегда единичны. Факты — осколки бытия как целого. Не уходя далеко от фактов, можно создать идеальные типы отдельных, бросающихся в глаза групп. Но образ истории в целом виден только с птичьего полета, с уровня неба над историей, с тверди абсолютно целого.

Когда читаешь исповедь американского социолога и религиоведа Роберта Беллы, как он переходил от Маркса к Веберу, то невольно возникает параллель с авторами круга «Вех». Белла подобно веховцам вернулся от марксизма к христианству. Но Вебер не религиозен. Он блистательно исследует религии как структуры, организующие человеческое поведение как идеологии — и только. Сердце религии, соединение с Богом, ему чуждо. Обожение, разрушение перегородок между комком плоти и Богом, рассматривается как иллюзия самообоожествления. Уровень целого (духовного целого) для Вебера — не реальность, не один из двух основных аспектов бытия, а игра воображения. Факты для него — не один из уровней реальности, а *вся* реальность.

«Экстаз как средство спасения или «самообоожествления», — пишет Вебер, — может иметь характер полной отрешенности, одержимости и более или менее постоянного религиозного поведения, которое выражается как в усилении интенсивности жизни, так и в удалении от жизненных забот. Путем к состоянию экстаза была, разумеется, не продуманная методика спасения, а различного рода способы преодоления естественных тормозов: табак (вероятно, «травка», — Г. П.), алкоголь или другие наркотические средства, музыкальное или эротическое возбуждение... и *оргии*. В ряде случаев провоцировались истерические или эпилептические приступы у предрасположенных к этому людей, что вызывало оргиастическое состояние у остальных. Однако *экстазы по своей природе и по своей цели преходящи и не оставляют значительного следа в повседневной жизни. К тому же они лишены «осмысленного» содержания, открываемого пророческой религией* (подчеркнуто мною. — Г. П.). Более мягкие формы *эйфории*... вернее обеспечивают длительность харизматического состояния...» (М. Вебер. Избранное. М., 1994, с. 196).

Можно возразить, что особая форма экстаза, называемая просветлением, положила начало буддизму. Другая форма экстаза породила слова «Я и Отец одно», за которые Иисус был распят. Опынение ценно для поэта тем, что оно создает подобие подлинного экстаза, стирающего грани между предметами, дающего пережить мир как единство. Опынение ценил и воспевал Блок. Но экстастическое чувство единства само по себе не опынение. Это радость открытия, которая может стать совершенно спокойной. «Ваш обычный повседневный опыт, но на два вершка над землей», — сказал Д. Т. Судзуки, апологет и исследователь буддизма дзэн. Экстаз — знак перехода от помраченного разума, для которого реальность сводится к фактам, к просветленному разуму, сознающему мир как единство Единого и Единичного (или, в христианских терминах, как единство Отца, Сына и Святого Духа). Все корифеи буддизма, начиная с самого Будды, прошли через экстаз открытия (в чем-то подобный экстазу Архимеда) и сохранили живую память этого экстаза в своих философских размышлениях, ясность которых говорит сама за себя. Право-

славная аскетика особо предостерегает против разгула мистического воображения и подчеркивает важность «трезвения». Между тем Вебер различает только виды опьянения, острую форму мистического пьянства от вяло текущей. Реальность двойственности он не пережил и в рассказы тех, кто пережил, не верит.

Можно возразить, что идеальный тип нравственного действия слишком резко противопоставлен у Вебера типу мистического созерцания. Недостаток опыта помешал понять, что из созерцания, доведенного до нужной глубины, рождается мощный импульс действия. Это сегодня просто факт, установленный культурологией. Некоторые формы буддийского созерцательного мистицизма в Японии оказались чрезвычайно благоприятными для входа в современность, и темпы развития японской экономики намного выше, чем на Западе. Вебер прав, подчеркивая, что капитализм мог *начаться* только на Западе. Но он оказался неправым, предполагая, что такие страны, как Япония, навечно останутся спутниками и имитаторами Запада и не внесут ничего нового.

Можно возразить, наконец, что замечательным примером перехода от мистического созерцания к действию был апостол Павел. Несколько лет он созерцал, усваивал то, что испытал по пути в Дамаск, а потом — не теряя достигнутого уровня сознания — отдался строительству церкви (дело не менее трудное, чем создание концерна или политической системы). Когда апостол Павел пишет о духовной нищете, Вебер его просто не понимает, говорит об «интеллектуализме», «который выражался в гордой уверенности, что лишь призванные Богом понимают смысл притч...». Ему кажется, что Павел «гордится тем, что истинное знание «для иудеев соблазн, для эллинов безумие»...» (с. 175). На самом деле, у Павла нет ни гордости, ни интеллектуализма. Есть верное понимание, что «духовно богатые» в плену своей образованности, логичности, хорошего вкуса и не могут понять нового, нарушающего их правила. Это так не только в истории религии, но и в истории искусства. Абсолютно новое, неслыханно новое, нарушающее все привычки, кажется нелепым. Его принимают люди, у которых сердце сильнее ума, которые правил хорошего вкуса, хорошего тона просто не знают. «Кто хочет быть мудрым в мире сем, тот будь безумным...», — писал Павел. — Ибо мудрость века сего — безумие перед Господом». Именно таков был I век и таков XX век. Даже в современной физике безумные теории кое-где истинны, а разумные (близкие к здравому смыслу) ложны.

Вебер не дожид до атомной бомбы, до взлета и падения Третьей империи, до театра абсурда. Он был сыном своего времени и сделал все, что разум века сего позволил сделать. Было бы нелепым ожидать и требовать большего от его трудов, блестящих потрясающе широкой эрудицией и острой мыслью. Вебер не хочет заменить идеологию классовой борьбы идеологией этнических и конфессиональных страстей, и это прекрасно. Чтение Вебера — прививка против желания обрести идеологию, подготовка к устойчивой жизни среди открытых вопросов. А веру, взлетающую поверх всех вопросов, надо искать в других книгах. В таких, где звучит «голос из бури».

Эрнст Трёлч считал, что в Вебере Германия потеряла и политического вождя. «В глубине души он был политиком, обладал натурой властелина, был горячим патриотом, который видел, что его родина идет по ложному пути, и страстно желал стать ее руководителем... Он не был догматически настроенным демократом. В демократии он просто видел судьбу современного мира, и она означала для него утрату бесконечно великого и прекрасного. Вебер видел в демократии лишь то преимущество, что она... давала возможность избрать новых вождей... Вебер не был и социалистом... Вебер предвидел, что наступит время, когда преобладание гильдий и цехов вытеснит свободную индивидуальность, и боролся за государство, в котором либерализм, то есть богатство и свобода индивидуального развития, еще был бы относительно возможным... Нация не поняла значение этих выдающихся политических способностей и не использовала их» («Макс Вебер. Слово прощания». В кн. Культурология. XX век. Антология. М., 1995, с. 606).

Литературная критика

«Это светлое имя — Пушкин»

По страницам Онегинской энциклопедии

Три года назад «Октябрь» начал публикацию своеобразной книги в журнале — Онегинской энциклопедии, продолжив традицию литературных журналов XIX века, знакомящих читателя с тем или иным произведением глава за главой.

Большой авторский коллектив уже несколько лет кропотливо и вдумчиво работает над материалами Онегинской энциклопедии. «Октябрь» все это время непосредственно связан с ее создателями и из года в год отдает свои страницы большим оригинальным подборкам разнообразных статей. Таким образом читатели «Октября» получили возможность стать очевидцами создания Онегинской энциклопедии, этого уникального труда, который в полном объеме выйдет в свет к двухсотлетию великого поэта в издательстве «Русский путь».

В этом номере журнал предлагает вниманию читателей очередную подборку, которая состоит из статей, связанных с самыми различными явлениями литературы, искусства, культуры и быта, так или иначе отразившимися в романе «Евгений Онегин». Надеемся, что материалы, опубликованные в «Октябре» (а за три года их появилось более двадцати пяти), помогут приблизиться к постижению главного и любимого произведения Пушкина, ставшего одним из центральных явлений русской культуры, к эпохе, которую мы называем пушкинской.

Н. И. МИХАЙЛОВА,
академик РАО,

руководитель издательского проекта

АНАНАС — «плод грановитый, круглый, на коем кожа желтая, тело же рудожелтое, разделенное вязкими перепонками, имеющее отменно приятный винный вкус и ароматический запах» (Словарь Академии Российской. Т. 1. Спб., 1789, с. 32). Традиционный для пушкинского времени десерт в дорогих ресторанах Санкт-Петербурга, ананас был подан к столу обедавшего у Talon Евгения Онегина зимой 1819 г. («И трюфли, роскошь юных лет, <...> И Стразбурга пирог нетленный / Меж сыром Лимбургским живым / И ананасом золотым».)

Ананасы стали известны в Европе с XVI в. (эти экзотические тропические растения были завезены в Испанию в 1514 г.). Полтора столетия спустя в Голландии были проведены первые опыты по выращиванию их в теплицах. Жители Старого Света вскоре по достоинству оценили «сладкое, тающее, душистое тело» самого «лучшего и вкусного из <...> плодов» (Энциклопедический Лексикон. Т. 2. Спб., 1835, с. 202).

К середине XVIII в. на пирах русских вельмож ананасы уже нередко соседствовали с традиционными блюдами национальной кухни. Так, например, фавориту императрицы Елизаветы Петровны И. И. Шувалову «нравился печеный картофель при ананасах на столе» (Тимковский И. Ф. Мое определение на службу. «Москвитянин», 1852, № 20, ч. III, с. 64). Об этом же читаем в обращенных к И. И. Шувалову стихах М. В. Ломоносова (1753): «Спасибо за грибы, челом за ананас / <...> Российско кушанье сразилось с Перуанским» (Ломоносов М. В. Сочинения. Т. 2. Спб., 1893, с. 289). М. И. Пыляев упоминает другого русского аристократа — графа А. П. Завадовского, который ел ананасы не только «сырыми и вареными, но даже квашеными: у него ананасы рубили в кадушках, как простую капусту, делали потом из них щи и борщ» (Пыляев М. И. Старое житье. Спб., 1892, с. 17).

По мере увеличения количества оранжерей, в которых разводились ананасы, это изысканное лакомство перестало украшать лишь дворцовые обеды. Возмож-

ность отведать их сочные золотисто-желтые плоды появилась у обитателей богатых дворянских и купеческих особняков. В 1780 г. в послании к откупщику М. С. Голикову Г. Р. Державин вспоминал о картине, увиденной в его доме: «Гремит музыка, слышны хоры / Вкруг лакомых твоих столов; / Сластей и ананасов горы, / И множество других плодов / Прельщают чувства и питают» (Державин Г. Р. Сочинения. Ч. 1. Спб., 1808, с. 199).

В онегинские времена ананас по-прежнему оставался одним из наиболее желанных для желудка гурмана угощений («Несут огромные подносы — / На них предстал роскошный сад: / Вот ананасы, абрикосы, / И персики, и виноград» (Филимонов В. С. Обед. Спб., 1837, с. 142).

Ананасы перестали быть диковинкой. Жителям обеих столиц, привыкшим обедать у себя дома, достаточно было послать за ними в соседнюю лавку, а всегдашними рестораций могли, как это сделал Онегин, заказать ананас на «четвертую перемену» (то есть десерт), следовавшую обыкновенно за жарким или пирогами. (В черновых вариантах «Евгения Онегина»: «И рябчик и двойной бекас — / И ты, душистый Ананас».) Провинциальный же помещик при желании имел возможность развести в своем имении целую тропическую плантацию, приобретая в семенной конторе по вполне приемлемой цене (от 2 до 10 рублей ассигнациями) саженцы «ананасового растения» — см.: «Санкт-Петербургские ведомости», 1819, № 104 (30 декабря).

Ананасы подавали к столу сырыми, вареными в сахаре, их плоды помещали в укус или делали из них мармелад. Немало было тогда и почитателей блюда, о котором Пушкин писал жене 2 сентября 1833 г.: «Вечер у Нащокина, да какой вечер! шампанское, лафит, зазженный пушш с ананасами — и все за твое здоровье, красота моя».

А. Я. НЕВСКИЙ

БОВА (примеч. 31) — персонаж лубочной «Сказки о славном, сильном, храбром и непобедимом витязе Бове Королевиче и о прекраснейшей супруге его, королевно Дружневне», авантюрной повести, распространившейся с начала XVII в. в списках, а затем и многочисленных массовых печатных изданиях для простого народа. Тема «Бовы» оказалась предметом непреходящего творческого интереса Пушкина, который на протяжении двадцати лет творчества, начиная с 1814 г., периодически возвращался к этому сюжету и проецировал его на собственные художественные создания.

В «Евгении Онегине» Бова упомянут Пушкиным в примечании, комментирующем стих «Людская молвь и конской топ». Контекст упоминания следующий: «В журналах осуждали слова: хлоп, молвь и топ как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ» («Сказка о Бове Королевиче»)). Пушкин указывал на этот стих, как на прямую цитату из лубочной сказки, и в возражениях на критику «Атенея», и в «Опровержениях на критику»; во всех случаях цитата заключена в кавычки. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что в печатных изданиях лубочной сказки пушкинского времени ничего подобного не было. Цитата относится к эпизоду, предшествующему знаменитой сцене сказки — битве Бовы с Полканом-богатырем. В сборнике «Дедушкины прогулки» (1791), наиболее распространенном источнике текста пушкинского времени, была помещена краткая редакция «Бовы», но соответствующая фраза звучала вполне описательно: «Вот выходит он однажды из шатра своего и слышит, что далеко в поле идет гул от топота конского, слышится ржание, и ветер доносит до слуха голоса человеческие» (Лубочная книга. М., 1990, с. 57). Даже в ориентированной на фольклор редакции списка XVII столетия было лишь отдаленно напоминающее «четырёхстопный ямб», приведенный Пушкиным: «И Бова вышелъ из шатра холодитца. И <...> какъ услышалъ Бова конскую потопь и людскую молву...» (Памятники литературы Древней Руси. XVII в. Книга первая. М., 1988, с. 293). Так что перед нами либо фольклорный вариант, взятый «со слуха» (как в третьей из «Песен о Стеньке Разине» — «Что не конский топ, не людская молвь...»), либо образование, придуманное самим поэтом, который в 1822 г. пытался перекладывать «Бову» как раз четырёхстопным ямбом.

Показательны и упоминания Бовы в черновиках «Евгения Онегина». В вариантах второй главы он вспоминается как символ текста, стоящего у самого начала жизни русского человека:

Фадеевна рукою — хилой
Ее качала колыбель

Стлала ей детскую постель
 Помилуй мя читать учила
 Гуляла с нею, средь ночей
 Бову рассказывала [ей]...

Лубочная сказка оказывается наряду с «колыбелью», «детской постелью» и первой детской молитвой. Здесь Пушкин, несомненно, использовал собственные детские воспоминания «о мамушке моей», рассказывающей ночами «о мертвецах, о подвигах Бовы», отразившиеся в раннем стихотворении «Сон» (1816).

В беловых рукописях той же главы «Бова» появляется при характеристике не Ольги, а Татьяны и в более «взрослом» контексте. Няня Фадеевна

...за ней одна ходила
 Бову рассказывала ей
 Чесала шелк ее кудрей
 [И чаем] поутру поила...

А в окончательном тексте поэмы «Бова» так и не появился: он исчез вместе с Фадеевной, и литературными «знаменами» героини стали «...обманы / И Ричардсона, и Руссо».

«Исчезновение» это не случайно: между работой над рукописями второй главы (создававшимися в 1823 г.) и окончательным текстом (готовившимся в 1826 г.) Пушкин узнал очень существенную особенность знаменитой «лубочной книги» — ее «нерусское» происхождение. Летом 1825 г. он услышал о существовании средневековой итальянской поэмы «*Вуово d'Antona*» и даже подробно законспектировал пересказ ее сюжета из «Истории итальянской литературы» П. Л. Женгене (см.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.-Л., 1935, сс. 486—490). А эта поэма была несомненным «западным» источником русского «Бовы». Осознание же его как «вечного», «бродячего» европейского сюжета изменило ориентации в отношении Пушкина к самой лубочной повести-сказке. В сравнении с «обманами» Ричардсона и Руссо «Бова» явно проигрывал и уж никак не мог осознаваться в качестве «детского», «нянинного» национального «противовеса» этим «знакам» юношеского созревания Татьяны, — он вообще утратил прежнюю национальную «знаковость». Поэтому Пушкин убрал «Бову» из основного текста, оставив лишь указание на языковые особенности русского варианта средневековой рыцарской повести.

В. А. КОШЕЛЕВ

АДАМ СМИТ (1723—1790) — британский экономист и философ, шотландец по происхождению. Родился в маленьком шотландском городке Керколди в семье таможенного чиновника, учился в университетах Глазго и Оксфорда. Путешествовал по Франции в качестве воспитателя молодого английского аристократа. Был профессором нравственной философии (в сущности, общественных наук) в университете Глазго, последние годы жизни — одним из таможенных комиссаров Шотландии. Умер и похоронен в Эдинбурге. Главное сочинение Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» опубликовано в Лондоне в 1776 г.

Адам Смит упоминается в строфе VII первой главы «Евгения Онегина» в контексте образования и чтения Онегина в период формирования его интеллектуального и духовного облика. Чтению Смита противопоставляется отрицательное отношение Онегина к древнегреческим поэтам Гомеру и Феокриту. Иначе говоря, в глазах Онегина занятия политической экономией — полезное и важное дело, в противоположность классической учености, изучению греко-римской культуры. По мнению Ю. М. Лотмана, этот мотив подсказан Пушкину речью декабриста Н. И. Тургенева при вступлении в литературное общество «Арзамас». Тургенев был знатоком политической экономии, поклонником Адама Смита, автором одного из первых русских сочинений по этой науке. В указанной речи он критиковал бесполезный, по его мнению, перевод «Илиады» Гомера Н. И. Гнедичем, выступая за создание и публикацию трудов по политической экономии.

Еще одно упоминание Адама Смита у Пушкина содержится в незаконченном «Романе в письмах» (1829). Речь там идет об изменении преобладающих интересов в светском обществе после декабрьского восстания 1825 г.

Смит был основоположником классической школы в политической экономии. С появлением этой школы экономическая мысль вышла, можно сказать, из донаучной стадии и стала наукой. Такая оценка роли Смита, уже достаточно сформировавшаяся ко времени Пушкина, была впоследствии принята всей мировой наукой, включая марксистское направление.

В первой четверти XIX в. идеи Смита пользовались большим влиянием в России. Это влияние распространилось на три основных сферы: науку и преподавание, политически радикальные круги, светское общество. Эти три сферы переплетались и тесно взаимодействовали. Пушкин имел достаточно серьезное представление о Смите и его учении из лицейского курса, где политическую экономию и ряд других общественных наук преподавал А. П. Куницын, друг и во многом единомышленник Тургенева. Пушкин также хорошо знал, что несколько молодых офицеров (будущих декабристов) слушали частные лекции по политической экономии у Куницына и других профессоров.

Увлечение Смитом и политической экономией было лишь частью увлечения политическими науками и вопросами, проистекавшего из волны либеральных веяний, охвативших образованное русское общество после победы в Отечественной войне 1812 г. и походов русской армии в Западную Европу в 1813—1814 гг. В государственном аппарате, в печати, в салонах, в тайных и полутайных обществах активно обсуждались вопросы конституционного правления и отмены или по крайней мере смягчения крепостного права.

Светское увлечение западными либеральными идеями имело немало карикатурных черт. Первый биограф Пушкина, П. В. Анненков, писал о периоде 1815—1825 гг.: «Что бы ни говорили современники эпохи о повсеместном изучении политических наук, о занятиях Смитом, Бентамом, Филанжиери и проч., но способ занятия ими вполне был *«светский»* и никакого испытания выдержать не мог». Это явление, хорошо осознаваемое Пушкиным с его наблюдательностью, с его склонностью к иронии и самоиронии, отразилось в описании воспитания Онегина и его занятий политической экономией.

Онегин мог читать Смита в русском переводе, поскольку «Исследование о природе и причинах богатства народов» было издано в 1802—1806 гг. за казенный счет. Однако это маловероятно, учитывая французское воспитание Онегина и царившие в светском обществе нравы. Вернее всего, он читал Смита во французском переводе. Английский язык был вплоть до XX в. не в моде и потому, безусловно, недоступен Онегину, как и подавляющей части его окружения. В первые два десятилетия XIX в. на русском и французском языках был издан также ряд учебников и других книг, содержащих сокращенное и упрощенное изложение книги Смита.

Политическую экономию в первой четверти XIX в. часто называли «системой Смита». Эта «система» представлялась современникам Пушкина неким завершенным зданием, в котором все основные проблемы были распределены «по этажам», взаимосвязаны и подчинены общим принципам анализа. Почитателей Смита привлекало то, что он толковал экономическое развитие (и вообще общественное развитие) как естественный процесс, подчиненный законам, отчасти подобным законам природы. В этом смысле Смита иногда сравнивали с Исааком Ньютоном. Хотя государство занимает важное место в учении Смита, его роль сводится к тому, чтобы не допускать нарушения этих естественных законов, чтобы следить за соблюдением принципов «естественной свободы». Смит считал, что наемные работники должны иметь право свободно выбирать себе нанимателей, руководствуясь своими интересами. Применительно к России это означало категорическое отрицание крепостного права и принудительного труда. Смит выступал против любых форм монополии в экономике, за свободную конкуренцию производителей товаров и предпринимателей, считая, что это в интересах всего общества. Важное место в учении Смита занимал принцип свободы внешней торговли, минимального ограничения ее пошлинами и другими мерами. По его мнению, это способствует росту экономики всех торгующих наций.

По своим политическим взглядам Смит был убежденный либерал, сторонник парламентской монархии при жестком ограничении власти короны. По многим высказываниям можно полагать, что он склонялся к республиканской форме правления. Он в принципе положительно относился к государственному устройству Соединенных Штатов Америки — молодого государства, отколовшегося в итоге войны 1775—1783 гг. от Великобритании. Это соответствовало взглядам радикального направления в русском либерализме, которое воплотилось в движении декабристов.

Как философ Смит в основном исследовал мотивы поведения людей в обществе. Он может быть отнесен к шотландской школе «реалистической философии», основанной такими мыслителями, как близкий друг Смита Дэвид Юм и его университетский учитель Френсис Хатчесон. Прилагая свою трактовку мотивов поведения к экономике, Смит считал, что интересы общества будут в наибольшей степени обеспечиваться в том случае, если люди будут в первую очередь руководствоваться собственным «свокорыстным интересом», прилагать усилия не ради кого-то и не ради абстрактных (даже благородных) целей, а прежде всего ради своего собственного благосостояния. Государство не должно мешать в этом людям при условии, что они не нару-

шают законы и обыкновенную мораль. Эти идеи носили антифеодальный характер и соответствовали условиям прогрессивного буржуазного общества.

Упомянув Адама Смита и назвав Онегина (несомненно, с изрядной долей иронии) «глубоким экономом», Пушкин в следующих строках лаконично и образно раскрывает некоторые черты «системы Смита» в противоположность господствовавшим до XVIII в. теориям так называемых меркантилистов. Последние видели богатство нации в деньгах (золоте, а также серебре), крайне односторонне толкуя процесс экономического развития. Кстати сказать, еще А. Н. Радищев, который много писал по экономическим вопросам, выразительно называл эти взгляды «мнением стародедовским». Смит и его последователи покончили с этим мнением, объяснив, что на самом деле богатство нации состоит в массе непрерывно производимых в ее хозяйстве товаров (продуктов), тогда как деньги играют лишь вспомогательную роль, обслуживая оборот этих товаров. Конечной целью хозяйственной деятельности является потребление, но для потребления нужно вовсе не золото, а «простой продукт», т. е. масса разных полезных товаров. Одновременно со Смитом схожие идеи развивали французские экономисты, известные под названием физиократов, что в переводе с древнегреческого означает сторонников «власти природы». Однако по цельности и полноте экономического мировоззрения они уступали Смицу.

Даже если бы в «Евгении Онегине» и других сочинениях и записях Пушкина не было важных и выразительных экономических деталей, мы по «экономической» строфе могли бы констатировать, в какой мере Пушкин был в курсе взглядов современной ему науки. У нас нет достоверных сведений, что сам Пушкин «читал Адама Смита», но он, безусловно, хорошо знал его важнейшие идеи и был в курсе экономических дискуссий своего времени.

Замечательно то, что, выразив в ярких стихах мудрость классической (Смитовой) школы, Пушкин двумя последними строками строфы оттеняет и ограниченность этой мудрости. Отец Онегина, стоящий перед суровыми фактами действительности практик, не понимает ученого сына. Дело в том, что, как бы ни был важен «простой продукт», он может в определенных условиях оказаться бесполезным, если его нельзя обратить в деньги. На ученом языке мы назвали бы это осознанием проблемы реализации продукта или товара. В сложности проблемы реализации заложена возможность экономических кризисов. Эта логика, воплощением которой становятся действия отца героя, оказывается еще более ясной, если учесть, что в пушкинском черновике имеется экономически еще более отчетливый вариант двух последних строк: «Отец с ним спорил полчаса /И продавал свои леса».

Дело не просто в том, что Евгений Онегин воспитан и образован на новомодных идеях, тогда как его отец принадлежит XVIII в., эпохе наивного барского расточительства и хлебосольства. Гораздо важнее то, что мысли Онегина отражают несколько высокомерные иллюзии классической школы о незначительности денег, а представления его отца — скептицизм и реализм практиков, нутром чующих, что товар, не нужный его владельцу для потребления, мало что стоит, если он не продан (или не заложен).

«Экономическая» строфа «Евгения Онегина», упоминая имя Адама Смита, породила обширную литературу самого различного рода. Это указывает на содержание в ней богатство ассоциаций. Исходным пунктом этой литературы может считаться рецензия на первую главу «Евгения Онегина», опубликованная в 1825 г. в журнале «Московский телеграф». Рецензия без подписи почти несомненно принадлежала перу издателя и редактора журнала Николая Полевого. Рецензент приводит стихи об Адаме Смите и отмечает их «простоту», считая ее важнейшим поэтическим достоинством. Далее он задает риторический вопрос: «...что же проще, добродушнее этой насмешки над толпами модных последователей Смита?» Естественно, не будучи экономистом и оценивая текст по свежим следам, он не мог уловить более сложные аспекты этого текста. Как мы видели, Анненков, описывая жизнь и деятельность Пушкина в годы создания первой главы, приводит имя Смита в таком же контексте.

По-видимому, Карл Маркс был первым экономистом, который обратил внимание на более глубокие аспекты этих стихов Пушкина. С тех пор многие авторы, как марксисты, так и немарксисты, упоминают об этом примечательном факте и по-разному толкуют его. В книге «К критике политической экономии» (1859) Маркс в одном из примечаний к тексту иллюстрирует ссылкой на отца Онегина, лучше своего сына понимающего важность наличных денег в противоположность товару, который еще надо продать, свой анализ трактовки категорий товара и денег классической политической экономией. Конкретно в этом месте речь идет о теории Давида Рикардо, крупнейшего последователя Адама Смита. Исследователи полагают, что Маркс почерпнул эти сведения либо у Энгельса, который в эти годы изучал русский язык и читал первую главу «Онегина», либо из опубликованного в 1854 г.

стихотворного перевода романа на немецкий язык, сделанного Фридрихом Боденштедтом.

Энгельс перевел прозой на немецкий несколько первых строф, включая «экономическую», а впоследствии несколько раз обращался к ней в своих поздних работах. В статье «Внешняя политика русского царизма» он иллюстрирует этой строфой свою трактовку внешней политики и внешней торговли России в начале XIX в., а в письме Н. Ф. Даниельсону — методологию научного подхода к экономическим явлениям.

Термин «простой продукт», придуманный и употребленный Пушкиным, послужил поводом для целой серии противоречивых комментариев. Начиная с В. В. Святловского, автора одной из первых книг по истории экономических идей в России (1923), несколько комментаторов, особенно Н. Л. Бродский, полагали, что этим термином Пушкин заменил характерный термин физиократов «чистый продукт» (product net), источником которого, по их мнению, могло быть только земледелие. На этом основании комментаторы считали, что Евгений Онегин у Пушкина представлен не столько последователем Адама Смита, сколько физиократов.

На наш взгляд, такая трактовка ошибочна. Она приписывает Пушкину чуждый его образованию и усвоенным взглядам ход мыслей. Пушкин прямо увязывает взгляды и интересы Онегина с чтением Адама Смита, что очень точно соответствует духу эпохи и среды, и непонятно, почему он перешел бы в последующих строках к физиократам. Очевидно, термином «простой продукт» Пушкин хотел показать, что речь идет о всем многообразии товаров, пригодных для потребления, в противоположность деньгам, которые непосредственно для потребления не нужны. Этот вывод подробно обосновывается в книге А. В. Аникина «Муза и мамона. Социально-экономические мотивы у Пушкина» (1989).

Авторы трудов по русской экономической мысли, как правило, цитируют «экономическую» строфу «Евгения Онегина» и используют ее в изложении. Приведем лишь два примера: книгу И. Г. Блюмина «Очерки экономической мысли в России в первой половине XIX века» (1940) и книгу американца Дж. Ф. Нормано «Дух русской экономической науки» (1945, на английском языке).

Из других случаев цитирования и ссылок на «экономическую» строфу укажем на выступление британского премьер-министра Маргарет Тэтчер в московском Кремле во время государственного визита в СССР в марте 1987 г. Она привела эти строки Пушкина, чтобы показать традиционную взаимосвязь русской и британской культур.

А. В. АНИКИН

БАШМАЧОК

То в хрупком снеге с ножки милой
Увязнет мокрый башмачок...

На протяжении всей истории костюма женская обувь зависела от общего силуэта одежды, от прически, от длины и ширины юбки. Так, в конце XVIII — начале XIX в. произошли коренные изменения в форме обуви, связанные и с развитием промышленности, и с изменением длины платья, и с распространением влияния более практичной и удобной английской моды. В первых номерах журнала «Ценные информации о моде и обычаях XVIII века» за 1786 г. говорится: «Одним из замечательных появлений в моде есть реформа туфель и каблуков. Входят в моду грубые английские башмаки и широкие низкие каблуки. Важнейшим является то, что можно спокойно ходить, не уродая стопу, не мешая здоровому движению и не получая катар» (Цит. по: Козлова Т. В. Обувь и костюм. М., 1967, с. 50).

В 1820-е гг. подол юбки вновь становится короче: «В то время платья были пребезобразные: узки как дудки, коротки, вся нога видна, и от того под цвет каждого платья были шелковые башмаки из той же материи» (Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. М., 1989, с. 288). Столь привычное нам наименование женской обуви — туфли или туфельки — в языке первой трети XIX в. почти не употреблялось. Башмаки или башмачки — вот обычное название, встречающееся в воспоминаниях того времени, в журналах мод, в литературных произведениях.

Форма башмака XIX в. была в достаточной степени консервативна: мягкие, на тонкой подошве, без каблука или с незначительным каблуком. Бальные туфли были сильно открыты, декорированы бантами, розетками или маленькими металлическими пряжками. Шились они из бархата, атласа, шелка или сафьяна. В отличие от формы цвет ткани часто менялся. Цвет обуви мог быть подобран в тон платья, как вспоминает Янькова, либо подчинялся господствующей моде. Например, в 1816 г.

«Модный вестник» (книга 1, июнь, с. 49) рекомендовал своим читательницам башмаки фиолетового цвета; в 1825 г. для новогодних визитов предлагалась обувь из черного атласа и черного или же белого кашемира, для девушек же обязательным цветом был белый («Московский телеграф», 1825, ч. 2, сс. 35—36). В начале двадцатых годов, к которым относится действие пятой главы романа, в моде был красный или зеленый цвет туфель. «Башмаки на бал одевались открытые, низкие без каблуков, из цветного сафьяна. Иногда зеленого или красного, чулки всегда шелковые. По случаю коротких платьев вся нога была на виду» (Воспоминания Е. И. Раевской. «Исторический вестник», 1898, № 11, с. 554). В Петербурге модные дамы заказывали обувь у Пецольда, причем пара атласных башмаков стоила очень дорого. Прочнее и выгоднее было носить обувь кожаную — козловые башмаки, которые можно было купить в Гостином дворе. По будням барышни носили опойковые башмаки; видимо, такие были и у Татьяны Лариной. Опоек (опойк) — мягкий кожевенный товар, идущий главным образом на легкую обувь. Материалом для него служили шкуры молодых телят, в возрасте меньше одного года, питавшихся только молоком. Опойковые башмаки могли быть черного или белого цвета.

В рукописях Пушкина неоднократно встречаются рисунки с изображением женских ножек в открытых бальных башмаках. Как правило, их форма совпадает с описанием обуви, модной в первые десятилетия XIX в.

Е. И. ПОТЕМИНА

БИША Мари Франсуа Ксавье (1771—1802) — французский анатом, физиолог и врач. Сообщая в восьмой главе «Евгения Онегина», что Онегин «стал вновь читать <...> без разбора», Пушкин упоминает Биша в ряду таких имен, как Гиббон, Руссо, Манзони, Гердер, Шамфор, мадам де Сталь, Тиссо, Бель, Фонтенель.

Когда умер Биша, врач Главной парижской больницы, основатель французской школы терапии Ж. Н. Корвизар написал Наполеону: «Никто не сделал так много и так хорошо за такое короткое время».

Получив медицинское образование в Лионе и Париже, помимо непосредственной врачебной деятельности, Биша проводил изучение органов и тканей человека, вскрывая умерших людей и животных, а также читал лекции по анатомии, физиологии и хирургии. Круг его научных интересов был широк, но основным направлением исследований стало изучение тканей тела человека. Он первый систематизировал ткани организма, выделив двадцать одну тканевую «систему», заложив основы современной гистологии. По мнению Биша, ткани организма являются основными структурными и физиологическими единицами жизни. Изучая патологические изменения в органах и тканях, произошедшие у людей, погибших от различных заболеваний, он внес существенный вклад в патологическую анатомию.

Наряду с чисто практическими и экспериментальными исследованиями Биша занимался общебиологическими и общемедицинскими проблемами. Рассматривая понятие «жизнь», он определил ее как «совокупность отправления, противящихся смерти». В живом организме противостоят непрерывное созидание и разрушение. Биша считал, что болезненный процесс локализован не в органе, а в патологически измененной ткани.

Книги, написанные Биша, основные из которых: «Трактат о мембранах и оболочках» (1800), «Физиологические исследования жизни и смерти» (1800), «Общая анатомия в приложении к физиологии и медицине» (1801), были изданы во Франции и затем переведены на другие языки, в том числе на русский. В 1865 г. в Санкт-Петербурге были напечатаны «Физиологические исследования жизни и смерти» в переводе П. А. Бибикова с его обширными примечаниями о Биша.

Общебиологическое и общеполитическое значение трудов Биша давало основание для современников Пушкина относить его книги к числу «произведений центральных, которые знать необходимо всякому образующему себя человеку» (Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975, с. 215).

В библиотеке Пушкина было 5-е издание книги Биша — «Recherche physiologiques sur la Vie et la Mort» (1829, 528 стр.). Разрезаны стр. 1—96 (первые шесть глав), заметок нет. Издание, принадлежавшее поэту, вышло накануне работы над VIII главой «Евгения Онегина» (Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. М., 1988, с. 172).

Н. Л. Бродский в первом издании «Комментария к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»» (М., 1932, с. 172), полагал, что Онегин, читая сочинение Биша, пытался найти средство от «болезни», вызванной его любовью к Татьяне, однако в последующих изданиях это предположение исключил.

Несмотря на то, что Онегин «стал вновь читать <...> без разбора», выбор его

книг, сделанный Пушкиным, не случаен. В черновом автографе вместо «Madame De Stael, Биша, Тиссо», — «Madame De Stael, Парни, Тиссо», «Madame De Stael, Токвиль (?), Тиссо». Учитывая, что основные работы медиков (Тиссо, Фонтенель), упомянутых в XXXV строфе восьмой главы, посвящены жизни и смерти, можно предположить интерес Онегина к вопросам, которые сегодня определяются понятием «жизнь после смерти».

М. И. МИХАЙЛОВ

БУМАГА. «Дай, няня, мне перо, бумагу», — обращается Татьяна к «седой Филипьевне», чтобы написать к Онегину. <...>

Бумажных заводов или фабрик в 1825 г. в России было восемьдесят семь; здесь производили бумагу для печати, техническую и писчую. Последняя выпускалась трех видов: для письма, гербовая для документов и концептная для копий и черновиков. Бумага для письма могла быть разного цвета, размера и качества: небеленая желтоватого или слабого кофейного оттенка; беленая; синяя, голубая, розовая, зеленая — окрашенная; неокрашенная серая из плохого сырья. Изготавливали бумагу тонкую и грубую, с филигранью и без нее, полупроклеенную и многократно проклеенную, лощеную и нелощеную... В 1817 г. появилась бумага со штемпелем. Тогда же, в 1817 г., на Петергофской казенной фабрике была установлена первая машина — самочерпка, с помощью которой бумагу отливали не вручную, листами, а длинной лентой. Машинная бумага обязательно обрезалась и могла иметь простой, киноварный или золотой обрез; сделанная вручную чаще всего была с необрезанными неровными краями. В Россию также ввозили лучших сортов бумагу из Голландии, Англии, Франции, Германии. Выбор был достаточно широким, особенно в столицах, но хорошая бумага — и русская, и иностранная — стоила дорого.

В «Приходо-расходной книге» князя Петра Андреевича Вяземского есть такая запись за 1823 г.: «Генваря 25 — Бумаги пишей две дести — 5.50». Значит, за 48 листов (одна десть — 24 листа) была заплачена довольно большая сумма. Дестями бумага не только измерялась, но и продавалась: каждая спрессованная десть заворачивалась в серую упаковочную бумагу, на ней ставилась печать фабрики или наклеивалась этикетка; в таком виде ее можно было купить прямо на заводе или в книжной лавке. <...>

Какая же бумага была в поместье Лариных? Вряд ли там имелось несколько сортов, скорее всего на ближайшей мельнице было куплено две или три дести какой-то не очень дорогой писчей бумаги; возможно, была выбрана проклеенная, потому что на ней не расплывались чернила. Несомненно, это была почтовая бумага. В XVII в. почтовой называлась филигрань с почтальонами, трубящими в рожки и скачущими на лошадях, а в XVIII в. это имя получил определенный формат листа: большой почтовый и малый. Вся бумага для письма в начале XIX в. называлась почтовой. Когда Пушкин 20 декабря 1824 г. из Михайловского просил брата Л. С. Пушкина: «Пришли бумаги почтовой и простой...», он, по-видимому, имел в виду гладкую и лощеную — почтовую и более дешевую шершавую и грубую нелощеную — простую.

Вероятно, Татьяна писала на простой бумаге. Незвестный автор рассказа «Мой письменный стол» так сказал о письмах своей возлюбленной — бедной барышни: «Простая бумага, некрасивый почерк, особый язык, понятный только тому, кто любим» («Бабочка», 1829, 3 июня, среда, сс. 211—212).

Пушкинская героиня Лиза Муромская («Барышня-крестьянка»), чтобы казаться настоящей крестьянкой, нарочно изменила почерк и взяла именно простую бумагу для писем к Алексею Берестову, который в условленном месте «находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной».

В окончательном тексте «Евгения Онегина» слово «бумага» Пушкин употребил один раз; в черновиках только однажды появился Трике «с бумагой» — «листом торжественным в руке». Но так или иначе тряпичная почтовая бумага косвенно упоминается и в других эпизодах романа.

К петербургскому dandy Онегину «записочки несут», написанные, по-видимому, на бумаге высшего качества — веленовой. Ее отливали изобретенной в Англии в середине XVIII в. формой со сплошной сеткой, не оставившей отпечатков на листе. Это была превосходная, очень тонкая бумага, именно она чаще всего обрезалась во вторую, в четвертую, в восьмую долю листа и продавалась со сплошным золотым обрезом. Формат in quarto (в четвертую долю листа) Пушкин упомянул, рассказывая о «рукописном и великолепном альбоме» «блистательной дамы».

Ленский послал Онегину записку с вызовом на дуэль. Вряд ли важно, на какой бумаге: купленной в России или привезенной из Германии. Вероятно, из той же дести он взял следующий лист и написал свои последние стихи.

Онегин больше не получит писем от Татьяны; несколько лет спустя он развернет приглашение ее мужа князя Н и, проговорив вслух: «Боже! к ней!..», наверное, не заметит, на веленовой или верже оно будет написано. Шелковистая и очень гладкая бумага верже была изобретена в 1757 г. английским типографщиком Дж. Баскервилем. Он пропустил листы между нагретыми медными валами, и бумага стала тонкой, с красивыми продольными частыми углублениями от медных пластин. В России верже появилась в 1806 г. и позднее производилась на многих фабриках (в том числе и на бумажном заводе А. Н. Гончарова, деда Н. Н. Пушкиной). Скорее всего свои «страстные посланья» к Татьяне Онегин писал на верже или веленовой...

Заканчивая роман, Пушкин вспоминал о тех, «которым в дружной встрече / Я строфы первые читал...». Поэт знакомит друзей с новым произведением, конечно, не по печатному тексту, а по автографам.

В книгу «Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме» (М.—Л., 1937) составители Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский включили подробные описания бумаги 824 автографов Пушкина. Приведем отрывок о белой рукописи четырех строк третьей главы «Евгения Онегина» от «Не спится, няня, здесь так душно!» до «Старушку в длинной телогрейке». В описании сказано: «Фабричный полулист 221x358 мм; вод. знак: овальный щит с изображением льва и меча». В таблице в конце книги есть такие сведения: «верже белая без обреза, посередине: Г. г. Хлюстиных / 18<18>» и подробное описание филигранный: «На развернутом листе в тройном овале с пятью геральдическими лилиями геральдический лев, повернутый влево (морда фас) с молниями в правой поднятой лапе, пересеченной через туловище сверху вниз жезлом с трезубцем на верхнем конце».

Е. А. ПОНОМАРЕВА

ДМИТРИЕВ Иван Иванович (1760—1837) — поэт, преимущественно сентименталистского направления. В тексте «Евгения Онегина» встречается несколько упоминаний имени Дмитриева, цитат и реминисценций из его произведений.

В главе IV в полемике с «критиком строгим» — поборником классической оды и противником элегии (имелся в виду Кюхельбекер) — автор ссылается на поэтический опыт Дмитриева: «Одни торжественные оды! / И, полно, друг; не всё ль равно? / Припомни, что сказал сатирик! / Чужого толка хитрый лирик / Ужели для тебя сносней / Унылых наших рифмачей?». В сатире «Чужой толк» (1794) Дмитриев высмеивал поэтов, пишущих оды ради выгоды, но не выступал против самого одического жанра; в «Евгении Онегине» же он оказывается «союзником» автора, считающего этот жанр устаревшим и предпочитающего ему новейшую элегию. Возможно также, что описание дня стихотворца в той же сатире Дмитриева отозвалось в описании дня Онегина в главе первой: «Назавтра, лишь глаза откроет, — уж билет: / На пробу в пять часов... Куда же? В модный свет <...> / Потом опять домой: здесь холься да рядись: / А там в спектакль, и так со днем опять протись!» (ср. в «Евгении Онегине» гл. I, строфа XV и далее).

Один из трех эпиграфов к главе VII: «Москва, России дочь любима, / Где равную тебе сыскать? Дмитриев» — взят из стихотворения «Освобождение Москвы» (1795), посвященного событиям 1612 г. Эпиграф сопрягает в тексте главы эпоху далекую и относительно недавнюю, но уже тоже ставшую историей — 1812 год, тема которого дана у Пушкина в торжественном стиле, как бы в традиции Дмитриева. По мнению А. Е. Тархова, эпиграф намекает и на «неосуществленную героическую потенцию» Татьяны (отмечались параллели между образами Татьяны и Полины из пушкинского «Рославлева»). Вместе с тем одический пафос цитаты из «Освобождения Москвы» (отозвавшегося и в ранней лирике Пушкина — см. «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность») корректируется у Пушкина двумя другими эпиграфами к этой же главе — из поэмы Баратынского «Пирры» и из «Горя от ума», несущими в себе соответственно ироническую и сатирическую оценку московской жизни. Диалог эпиграфов по-своему отражает сложный поэтический мир главы и свидетельствует о диалогичности художественного мышления автора.

По предположению П. А. Вяземского (см.: «Русский Архив», 1887, № 12, с. 578), Пушкин изобразил Дмитриева в строфе XLIX главы седьмой: «... Об ней (Татьяне. — А. К.), поправя свой парик, / Осведомляется старик». Эти строки (1828) могли быть своеобразным поэтическим отголоском встреч самого Пушкина с Дмитриевым в Москве во второй половине 20-х гг. Очевидно, московская тема в «Евгении Онегине» во многом связывалась для Пушкина с фигурой Дмитриева — крупнейшего в ту пору московского литератора старшего поколения. И творчество, и сам воз-

раст его давали возможность некоей поэтической ретроспекции, органичной для пушкинского поэтического осмысления богатейшей истории древней столицы.

В беловой рукописи главы восьмой (строфа V, в окончательной редакции — II) после упоминания о «благословившем» юного автора «старике Державине» шел стих «И Дмитрев не был наш хулитель», а далее говорилось о Карамзине и Жуковском, тоже высоко оценивших талант поэта-лицеиста. Эта поэтическая формула восходит к «Посланию от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» (1798) самого Дмитриева: «Великодушный Гарт был мой путеводитель; / Конгресс меня хвалил, Свифт не был мой хулитель...». О Дмитриеве Пушкин писал в таком ключе и в лицейском послании «К Жуковскому» (1816): «...И Дмитрев слабый дар с улыбкой похвалил...» и т. д. В «Евгении Онегине» Пушкин намекает на историю девятилетней давности (1820), когда Дмитрев, прежде не «хуливший» Пушкина, критически отозвался о поэме «Руслан и Людмила». Пушкин узнал об этом по намеку в статье А. Ф. Воейкова («Сын Отечества», 1820, ч. 65, № XLIII, с. 115) и по рассказам друзей, знавших о дмитриевской оценке. Так, Дмитрев писал П. А. Вяземскому 18 октября 1820 г.: «...жаль, что не поставил в эпиграф известный стих с легкою переменою: *La mère en défendra la lecture à sa fille*» («Мать *zanpetum* читать это своей дочери»; Письма И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому 1810—1836 годов. СПб., 1838, с. 25). Имя своего критика Пушкин мог определить и по аналогии со стихотворной надписью Дмитриева «К портрету М. Н. Муравьева» (1803), содержащей тот же оборот: «Я лучшей не могу хвалы ему сказать: / Мать дочери велит труды его читать». Этот измененный стих из комедии французского драматурга А. Пирона «Метромания» Пушкин, в свою очередь, перефразирует в предисловии ко второму изданию «Руслана и Людмилы» (1828), где вспоминает об «увенчанном, первоклассном отечественном писателе» (выражение Воейкова), который «приветствовал сей первый опыт молодого поэта следующим стихом: Мать дочери велит на эту сказку плонуть». Отголосок этой истории еще прежде звучал в черновом варианте строфы IX главы второй:

«Его труды конечно мать
Велела б дочери читать — — —
[La mere] en prescripa la lecture à sa fille
Piron

Стих сей вошел в поговорку. Заметить, что Пирон (кроме своей Метром[ании]) хорош только в таких стихах, о которых невозможно и намекнуть, не оскорбляя благопристойности». Пассажа о «стихах» (вместо «трудов») Леньского повторен и в беловой рукописи. Не исключено, что обращение к «друзьям Людмилы и Руслана» в главе первой (строфа II) предполагало мысль и о противниках поэмы, прежде всего о Дмитриеве. Очевидно, для Пушкина, «поставившего себе за правило помнить зло и не отпускать должникам своим» (П. А. Вяземский в кн.: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985, т. I, с. 121), Дмитриев был одним из таких «должников». Вместе с тем ссылка на литературные авторитеты в восьмой главе важна ввиду литературной ситуации рубежа 20 — 30-х гг., прежде всего полемики с Н. Полевым (см. также стихотворение 1830 г. «Мы рождены, мой брат названный...»). Отсутствие упоминания о Дмитриеве в окончательной редакции объясняется, вероятно, тем, что к началу 30-х гг. конфликт со старшим поэтом был исчерпан, отношение к нему стало уважительно-вежливым (см. Письма Пушкина к Дмитриеву 1832—1836 гг.), и напоминать о неприятной для обеих истории Пушкин не хотел.

В примечании 42, относящемся к отступлению о дорогах, поэт приводит строки из стихотворения П. А. Вяземского «Станция», в частности: «...Дорога, скажешь, хороша — / и вспомнишь стих: *для проходящих!*» Вяземский цитировал здесь басню Дмитриева «Проходжий» (1803), герой которой зашел в монастырь и восхищенно говорил монахам о красоте здешней природы: «...Не правда ли?» — вопрос он задал одному / Из братьев, с ним стоящих. / «Да! — труженик, вздохнув, отвечивал ему: — / Для проходящих». Ссылка на иронические стихи Вяземского и через них — Дмитриева оттеняет неприглядную картину дороги в «Евгении Онегине».

Пушкин цитирует Дмитриева в черновиках «Путешествия Онегина» (1830): «Тоска, тоска!... [но Волга] / Но [Волга — рек, озер краса] / Его манит на пышные воды / Под полотняны паруса». Имеется в виду строка из стихотворения Дмитриева «К Волге» (1794): «О Волга! рек, озер краса...» Усомнившись в необходимости цитаты, Пушкин зачеркнул ее, однако в последующем варианте восстановил: «Тоска! Евг[ений] ждет погоды / Уж Волга рек озер краса / Его зовет на пышные своды / Под полотняны паруса». В итоге же «волжские» строфы в опубликованный Пушкиным текст «Путешествия...» вообще не вошли. Стихотворение Дмитриева могло

привлекать Пушкина затронутой в нем темой восстания Степана Разина, упомянутого и Пушкиным в той же строфе, где он цитирует Дмитриева. В 30-е г. тема «русского бунта» становится одной из ключевых в пушкинском творчестве.

Возможно также, что в строках «...И ревом скрыпок заглужон / Ревнивый шопот модных жен» последнее словосочетание восходит к сатирической стихотворной сказке Дмитриева «Модная жена» (1791), в пушкинскую эпоху широко известной (Пушкин цитирует ее в письме к Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу от 15 марта 1825 г.).

А. В. КУЛАГИН

ДОНСКОЙ ЖЕРЕБЕЦ.

Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца...

Донская — одна из старейших отечественных конских пород. Среди отдаленных предков дончаков были половецкие «скоки» (т. е. легкие быстроногие скакуны), лошади других народов, кочевавших в древности в южнорусских степях. Основу породы составили приведенные в начале XVIII в. переселившимися на Дон калмыками лошади монгольского корня, которые смешались с местными казачьими, а также с захваченными казаками в сражениях горскими, турецкими, персидскими и другими восточными лошадьми. К концу XVIII в. сложился характерный тип дончака — с узкой горбоносой головой, заметным кадыком на шее, глубокой грудью, подобранным животом, крепкими костистыми ногами и очень прочными копытами. Лошади были большей частью рыжей, бурой, гнедой или караковой масти, реже серые и вороные. Они уступали западноевропейским верховым лошадям в росте и красоте, были, как тогда выражались, не «конисты», но зато очень выносливы, гибки, ловки, быстры и крайне неприхотливы к корму и условиям содержания. На дончаке можно было проскакать без отдыха двадцать и даже тридцать верст. Множество донских лошадей поступало на пополнение русской армии. Их охотно покупали частные лица для разъездов и конной охоты, тем более что стоили они в несколько раз дешевле лошадей заводских «культурных» пород (в середине XIX в. — в среднем 30—40 рублей за голову). Воспитанные в вольных табунах дончаки имели, как правило, ровный и твердый характер, не боялись шума и выстрелов, смело перескакивали через препятствия, но часто бывали излишне горячими и недоверчивыми к человеку. Ездить на донской лошади, особенно на жеребце, мог только смелый и опытный, уверенно держащийся в седле всадник. Именно такими качествами, которые Пушкин высоко ценил, он наделяет своего героя.

Д. Я. ГУРЕВИЧ

АЛЬБАНИ (АЛЬБАНО) ФРАНЧЕСКО

(1578—1660)

Итальянский художник Болонской школы. Учился у Д. Кальварта, затем у братьев Караччи. Писал на сюжеты Евангелия, но главным образом приобрел известность картинами на мифологические сюжеты. Работал в Болонье, Риме и Флоренции.

Имя Альбани упомянуто в пятой главе «Евгения Онегина» (строфа XL):

В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотелось вроде мне Альбана
Бал петербургский описать.

Тетрадь первая — строфа XXX — о петербургском бале;

Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманый наряд;

Ко времени создания первой тетради (первой главы), писавшейся в 1823 г. (Кишинев — Одесса), Пушкин был знаком с подлинными произведениями Ф. Альбани, находившимися в Эрмитаже: «Благовещение» (из собрания Р. Уолпола, Англия), «Крещение» (из того же собрания) и «Похищение Европы» (из собрания гр. Брюля, Дрезден).

Пушкин мог познакомиться с подлинниками Альбани не только в Эрмитаже, но и в Галерее А. С. Строганова в Петербурге, а также видеть воспроизведенные полотна в цветных гравюрах и альбомах у Карамзиных, Олениных, в копиях, продававшихся у книгопродавца И. В. Сленина.

Современники Пушкина и художественная критика XIX в. воспринимали искусство Альбани восторженно: «живописцем прекрасных детей и пригожих женщин» на-

звал Альбани В. Кюхельбекер (Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи., Л., 1979, с. 43). «Превосходен и в безделицах/ кисть Альбана в самых мелочах», — писал А. Ф. Воейков. (Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971, с. 278). «Свежий колорит», «нежность исполнения», «грация фигур и положений» (Неустроев А. А. Картинная Галерея Императорского Эрмитажа. СПб., 1898, с. 73); «много грации и светлого веселья»; «лучше всего изображал он женское тело, моделью для которого служила красавица-жена» (Сомов А. Картины Эрмитажа. СПб., 1859, с. 54).

Ассоциация петербургского бала с живописью Альбани объясняется восприятием Пушкиным-художником декоративной пластики женской фигуры и роскошной красочности туалетов дам, сверкающих обнаженными плечами в танце.

С искусством Альбани Пушкин, по-видимому, мог познакомиться еще до Лицея и, вероятнее всего, по изданиям, бывшим в библиотеке дяди, В. Л. Пушкина; в частности, в Альбоме штриховых гравюр с картин, находившихся в Эрмитаже, выпущенном Ф. И. Лабенским в 1805-м (1-й том) и в 1809-м (2-й том) гг., были две гравюры с картин «Благовещение» и «Похищение Европы». Такой же альбом вполне мог быть в библиотеке Лицея, где с 1811 г. Пушкин слушал лекции П. Е. Георгиевского по эстетике и доктора философии и свободных искусств Н. Ф. Кошанского.

Имя Альбани впервые появляется в трех стихотворениях лицейского периода: «Монах» /песнь 3-я/ (1813)

Ах, отчего мне дивная природа
Корреджию искусства не дала?

.....

Трудиться б стал я жаркой головою,
Как Цициан иль пламенный Албан;

«К живописцу» (1815)

Сокрытой прелестью Альбана
Мою царицу окружи;

«Сон» (1816)

Подайте мне Альбана кисти нежны,
И я мечту молодой любви вкусил.

«В словесном живописании» (выражение Б. В. Томашевского), в эпитетах, в которых Пушкин говорит об искусстве Альбани, сказалось воображение юного поэта («пламенный», видимо, был в его представлении романтическим синонимом «итальянский»), а в иных случаях (сентиментальные «кисти нежны») прямое заимствование текста Ф. Лабенского из описания картины «Благовещение»; там же он мог прочесть и другой текст: «Ничья кисть не изображала с таким превосходством прелести любви и юности».

Звучание эротических мотивов в связи с именем Альбани опосредованно вошло в сознание Пушкина и через поэзию Анакреона, произведения которого были ему известны: увлечение лирикой Анакреона приходится на эпоху сентиментализма. Пушкин, бесспорно, был знаком с переводами и подражаниями теосскому старцу (Н. А. Львов. Стихотворения Анакреона Тийского, кн. 1—3, СПб, 1794; Анакреон или могущество любви. М., 1796; анакреонические стихотворения Г. Р. Державина, В. В. Капниста). В творчестве А. Пушкина, Н. Гнедича, К. Батюшкова эта традиция была продолжена. «В эпоху романтизма Анакреон представлялся романтиком эпохи античности. В. Г. Белинский писал «о греческом романтизме... как о течении, воспевающим чувственное стремление... идею красоты. В Анакреоне ценили пафос жизнеутверждения... полное грации наслаждение» (Турчин В. С. Орест Кипренский, М., 1975, сс. 146—147). Недаром Альбани в то время называли «Анакреон живописи».

Позже, в «Евгении Онегине», ассоциация с Альбани возникла в ином, чисто декоративном ключе понимания его искусства.

Л. И. ПЕВЗНЕР

ВАЛЬС в «Евгении Онегине» упоминается трижды: два раза в сцене именин Татьяны и один — в седьмой главе (бал в Дворянском собрании).

Исследователи танца и мемуаристы называют вальс танцем «романтическим», «демократичным», даже «простонародным», поскольку он строится по принципу хороводного движения в отличие от танцев старого времени (в том числе полонеза, которым по этикету начинался бал), где танцующие церемонно выстраиваются в колонну в соответствии с сословно-иерархическими отношениями.

Вальс ведет свое происхождение от немецких крестьянских танцев (нем. walzen — выкручивать ногами в танце, кружиться) и получает уже в XVIII в. большую популярность в Германии, а потом и во всей Европе. Благодаря красоте мелодий, отсутствию сложных фигур и необходимости выполнять их в определенной последовательности он становится любимым танцем всех сословий, несмотря на то, что долгое время подвергается гонению со стороны церкви и представителей власти. «В одном из городов Германии в 1572 г. специальным служащим разрешалось штрафовать и даже заключать в тюрьму тех, кто будет в танце чрезмерно кружить девушку или женщину» (Друскин М. С. Очерки по истории танцевальной музыки. Л., 1936, с. 178). Этот же исследователь утверждает, что Екатерина II тоже была против вальса. поэтому при русском дворе он был введен только после ее смерти (1798 г.).

В 1820-е гг., когда мода на вальс распространилась в России, вальс по-прежнему считался излишне вольным. «Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются особы обоого пола, требует надлежащей осторожности <...>, чтобы танцевали не слишком близко друг к другу, что оскорбляло бы приличие» (Правила для благородных общественных танцев, изданные <...> Людовиком Петровским. Харьков, 1825, с. 72.). Поэтому даже обучать вальсу молодых людей должно поодиночке, дабы молодые люди привыкли сами себя хорошо выдерживать, тем более что танцевать с таким партнером, которого нужно поворачивать или поддерживать, есть «сущее телесное наказание» (там же, с. 72).

Пушкин называет вальс «безумным», «резвым» и связывает его с любовной игрой, ветреностью:

И вальсы резвые, и шопот за столом,
И взоры томные, и ветреные речи...

или:

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный,
Чета мелькает за четой.

Эпитет «безумный» связан с той характеристикой танца, которую мы дали выше. Этот же образ использован Е. А. Баратынским в стихотворении 1824 г. «Оправдание».

При гуле струн, в безумном вальсе мча
То Делию, то Дафну, то Лилету,
И всем троим готовый сгоряча
Произнести по страстному обету;
Касаяся душистых их кудрей
Лицом моим; объемля жадной дланью
Их стройный стан...

(Е. А. Баратынский. Стихотворения
и поэмы. М., 1971, с. 113)

Вальс «“Однообразный” — поскольку в отличие от мазурки, в которой в ту пору огромную роль играли сольские танцы и изобретение новых фигур, а уж тем более танца-игры котильона вальс состоял из одних и тех же повторяющихся движений. Ощущение однообразия усиливалось также тем, что “в это время вальс танцевали в два, а не в три па, как сейчас”, — поясняет Ю. М. Лотман в «Беседах о русской культуре» (СПб, 1994, с. 94), ссылаясь на книгу Ю. Слонимского «Балетные строки Пушкина» (Л., 1974, с. 10).

Определение «резвый» связано с быстротой кружения в вальсе: «Wiener Walz, состоящий из 2-х шагов, которые заключаются в том, чтобы ступить на правой да на левой ноге и притом так скоро, как шалёной, танцевали» (Цит. по кн.: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре, с. 95).

Е. Я. ВОЛЬСКАЯ



Наше всё

Пробыв целый месяц между скотиниотами, я до того соскучился, что возненавидел жизнь. Их подозрительность, упрямство, раздражительность, самонадеянность, при совершенном невежестве, ежедневно причиняли мне неприятности.

Фаддей Булгарин

Трудно высказать, сколько новизны в этой стране и сколько будущности.

Райнер Мария Рильке

Они пересекли Россию, наняв на пограничном посту нового проводника, большого бордатого курда, претендовавшего на хорошее знание нужд иностранцев.

Джулиан Барнс

Одной из самых загадочных фигур русской словесности продолжает пребывать маркиз Астольф де Кюстин, этот нежноглазый двойник Жозефа де Местра, русофобское пугало с капустного огорода, робкий поклонник Николая I и питерских ванек, ученик Шатобриана, собеседник князя П. Б. Козловского. Клерикал, путешественник, бисексуал, он сочинил самую странную книгу в отечественной литературе XIX века, само название которой намекает на репортерскую строгость, выверенность статистического отчета, холодность научного анализа, но ничего этого, конечно, в «России в 1839 году» нет.

Чтобы быть точным, то книга, написанная французским автором на французском языке, принадлежит французской словесности (должна принадлежать); тем не менее есть такие исключения, когда некий Джек Лондон, ничего для американской литературы не значащий, ого-го как значит для русской. Потому будет он (как сказал бы большой любитель «Любви к жизни») «нашенским». И маркиз, вернее, его «Россия в 1839 году» будет нашенской, нашей, русской; во французской литературе это сочинение почти никакой роли не сыграло, а вот у нас...

Сказать, что это скандальная книга, — значит не сказать ничего. Скандальные книги писал анально-вагинальный «божественный маркиз», но наш герой, хотя тоже маркиз, отнюдь не «божественный», скорее «богобоязненный». Кто Бога боится по-настоящему, тому кесарь не страшен. Даже российский. Известен гнев Николая I по поводу «России в 1839 году». Александр Тургенев свидетельствует: «Государь был очень рассержен книгою Кюстина... Он раз пришел в 11 часов вечера — в салон к императрице, проведя весь вечер в чтении Кюстина и весь в гнев... Он не мог спокойно говорить о книге Кюстина». Кажется, ничего удивительного. Императору обидно за вверенную ему Русским Богом державу. И все. Однако другой меуарист (М. Д. Бутурлин) утверждал, что высочайший гнев был вызван получением известий о предосудительных наклонностях маркиза. Иными словами, Николай I ожидал, что Кюстин распишет его как великого властелина великой империи, а получилось: «Внимательно взглядываясь в прекрасное лицо этого человека...», или: «Живи я в Петербурге, я сделался бы царедворцем не из любви к власти, не из алчности, не из ребяческого тщеславия, но из желания отыскать путь к сердцу этого человека» и, наконец: «Как! скажут мне, вы намерены прилепиться сердцем к человеку, в котором нет ничего человеческого». В будущей книге Кюстина Николай I претендовал на роль Цезаря, а был выведен Антиномем.

Но дело, конечно, не в императорском гнев. Вся (или почти вся) сочинительствующая Россия возмутилась: от эпиграммиста Вяземского до героя эпиграмм Гре-

ча, от Филиппа Филипповича Вигеля, немца и русского патриота, до Федора Ивановича Тютчева, русского поэта и автора «Стихотворений, присланных из Германии». Маркиз явно задел за живое. А где оно, «живое», у русской словесности?

«Русофобия», быть может. Кюстина считают классиком мировой русофобии, ее чемпионом и рекордсменом. Если не все считают, то по крайней мере истинные патриоты, те, чей патриотизм незбылемо расположился на благороднейшем из фундаментов — на русском славянофильстве. Парадный вход в райский сад бород, армяков, Русского Бога и упоительной соборности увенчан симметрично расположенными статуями братьев Киреевских, братьев Аксаковых и непарных Самарина с Хомяковым. Последнего и было бы логичным считать полным антиподом океяного маркиза, тем более что Хомякову принадлежит статья «Мнение иностранцев о России» — один из выпадов против книги Кюстина. Все того же Хомякова считают автором первого теоретического манифеста русского славянофильства — реферата «О старом и новом», читанного дома у Ивана Киреевского. Судьба-злодейка (по Шпенглеру) запараллелила Алексея Степановича не (увы!) с братом по крови и убеждению, а с французским литератором сомнительной репутации: текст «О старом и новом» был написан в том самом 1839 году, в котором Кюстин путешествовал по России.

«Когда подделываются под форму общества, не проникаясь его животворным духом; когда за уроками цивилизации обращаются к чужеземцам, завидуя их богатствам и не считаясь с их характером; когда подражают с враждебным чувством и притом с ребяческой буквальностью, заимствуя у соседа (с деланным презрением) все, вплоть до привычек домашнего быта, одежды, языка, — тогда нельзя самому не сделаться сколком с чужой жизни, чужим эхом или отражением, не утратить собственный облик». Нет, это не цитата из славянофильского катехизиса, но очередной антипетровский пассаж из сочинения «О старом и новом». Это абзац из 36-го письма «России в 1839 году». На самом деле, книга Кюстина переполнена славянофильскими эмоциями; все исконно русское (от песен и одежды до московского Кремля) — хорошо, все заимствованное, западное, цивилизованное (от флота до лжеклассической архитектуры) — плохо. «Славянин от природы смышлен, музыкален, едва ли не сострадателен к людям; просвещение сделало русского двуличным, деспотичным, подражательным и тщеславным. Чтоб привести здесь национальные нравы в согласие с новейшими европейскими идеями, потребуется века полтора...» Восхищение Кюстина всем «русским», «варварским», «неевропейским» отчасти объяснимо для француза спустя двадцать пять лет после того, как «варварское», «русское», «неевропейское» торжественными колоннами вошло в Париж. Но не только этим. Почему бы не Хомякова, а Кюстина считать основоположником славянофильства? Хотя бы исходя из возможного влияния на русскую публику. Думаю, что «Россию в 1839 году» в стране прочитало более 10—15 человек, слышавших хомяковский реферат на вечере у И. Киреевского (Герцен утверждал, что не знает ни одного приличного дома, где бы не нашлось экземпляра кюстиновой книги). Рискну даже предположить: не перенимал ли порой Алексей Степанович кое-что у маркиза?

Кюстин, ехавший в Россию на аттракцион счастливого самодержавия (как ездил Токвиль в США «за демократией»), не добравшись даже до Бологого, начинает высказывать сентенции типа «Чума на оба ваших дома»: «Абсолютная демократия — это грубая сила, своего рода политический вихрь, который по глухоте своей, слепоте и неумолимости не сравнится с гордыней какого бы то ни было государя!!! Никто из аристократов не может без отвращения смотреть, как у него на глазах деспотическая власть переходит положенные ей пределы; именно это, однако, и происходит в чистых демократиях, равно как и в абсолютных монархиях». Девять лет спустя Хомяков мимоходом резюмирует: «Северная Америка находит так же мало поклонников, как и Порта Оттоманская или Испания Филиппа II».

Кюстин, как истинный эстет, равнодушный ко всему «исконному», «местному», «экзотичному», восхищается: «Народ здесь красив; чистокровные славяне... выделяются светлыми волосами и свежим цветом лица, но прежде всего безупречным профилем, достойным греческих статуй. Наряд этих людей почти всегда самобытен; порой это греческая туника, перехваченная в талии ярким поясом, порой длинный персидский халат, порой короткая овчинная куртка, которую они носят иногда мехом наружу, иногда внутрь — смотря по погоде». Сказано Кюстином, сделано Хомяковым и К^о. А. В. Никитенко иронизирует: «Познакомился на вечере у министра с одним из коноводов московских славянофилов, Хомяковым. Он явился в зало министра в армяке, без галстука, в красной рубашке с косым воротником и с шапкой-мурмолкой под мышкой. Говорил неумолчно и большей частью по-французски — как и следует представителю русской народности». В отличие от старшего товарища Константин Аксаков более налегал на «длинный персидский халат» из кюстинского описания: известна шутка Чаадаева о том, что Аксакова в русском платье народ на улицах Москвы принимал за персиянина. Впрочем, развязка игрищ

славянофилов-травести была нешуточной: 10 апреля 1856 г. московский полицмейстер Замятнин пригласил Хомякова к себе и, следуя высочайшему повелению, заставил его написать расписку об обязательстве сбрить бороду и не носить на публике русского платья. История совершенно в духе Кюстина. Если бы она мистическим образом попала в его книгу, то истинные патриоты тут же причислили бы ее к разряду возмутительных нелепостей, сказанных маркизом о России.

А вот история Чаадаева в «Россию в 1839 году» попала. По сути своих историософских, политических, некоторых других ориентаций Кюстин и Чаадаев — близнецы-братья; любопытно, что к 1839 г. ни Петр Яковлевич сочинений маркиза, ни маркиз сочинений Петра Яковлевича не читывали. Тем изумительнее родство душ. Переключка, устроенная ими самими, их взглядами, их сочинениями, удивительна. Кюстин родился в 1790 г., Чаадаев — в 1794-м, оба были несомненными денди*, светскими людьми, оба слыли чудаками (а себя считали маргиналами); наконец, репутация и того, и другого была сильно поколеблена (но не уничтожена вовсе): у Кюстина странным происшествием с молодым солдатом в 1824 г., у Чаадаева — известным скандалом с публикацией первого «Философического письма» в 1837-м. Оба — рьяные католики; Кюстин — явный, Чаадаев — уже почти не тайный. И тот, и другой испытали влияние ультракатоликов, прежде всего Жозефа де Местра, и видели главную причину всех российских несчастий в национально-государственном статусе православной церкви. Потому можно совершенно спокойно приписать нижеследующий отрывок Кюстину: «Вы знаете также и то, что по признанию самых даже упорных скептиков уничтожением крепостничества в Европе мы обязаны христианству... известно, что духовенство показало везде пример, освобождая собственных крепостных, и что римские первосвященники первые вызвали уничтожение рабства в области, подчиненной их духовному управлению... Почему, наоборот, русский народ подвергся рабству лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйского? Пусть православная церковь объяснит это явление»; а этот — Чаадаеву: «Примкнув к греческой схизме и тем отделив себя от Запада, она (православная церковь. — К. К.) много веков спустя с непоследовательностью уязвленного самолюбия вновь обратилась к нациям, сложившимся в лоне католицизма, дабы перенять у них цивилизацию, до которой не допускала ее сугубо политическая религия. Перенесенная из дворца в воинский стан, чтобы поддерживать там порядок, эта византийская религия не отвечает высочайшим потребностям души человеческой». Впрочем, концовку абзаца «она помогает полиции морочить народ — и только» пуганый Чаадаев бумаге бы не доверил.

Иногда они препираются. Кюстин утверждает: «...средний же возраст нации всегда нелегок — а его-то и переживает Россия». Чаадаев не согласен: «И если мы иногда волнуемся, то... в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тычется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица». А вот перспективы у этого младенца среднего возраста самые волнующие: «Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в человечество, а существуют лишь для того, чтобы преподавать великий урок миру» (Чаадаев); Кюстин подхватывает и уточняет: «Провидение неспроста копит столько бездействующих сил на востоке Европы. Однажды спящий гигант проснется, и сила положит конец царству слова». Как тут не вспомнить блоковское:

Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!?

Певец «Скифов» следует, конечно, не осторожно-оптимистичному Чаадаеву, а металлической интонации кюстиновой угрозы, выкованной на огне, раздуваемом мехами дутого русского понта**.

Кюстин в «России в 1839 году» довольно верно пересказывает историю «телескопской» публикации «Философического письма» и высочайшего объявления Чаадаева сумасшедшим. Под конец, правда, не смог удержаться и не досочинить от себя вполне логичное завершение сюжета: «...несчастный великосветский богослов лишь недавно начал пользоваться известной свободой; но — вот диво! — ныне сам он сомневается в своем разуме и, доверяясь слову императора, признает себя умали-

* «Господин де Кюстин представляет собою разновидность гения, чей дендизм доходит до идеальной беспечности» — так писал Бодлер, один из двух главных экспертов прошлого века по дендизму.

** Тяга русских к понту непреодолима. Герой лучшей русской повести понтирует, а основным стремлением русской имперской внешней политики был захват Константинополя и превращение Понта Эвксинского во внутреннее русское море.

шенным!» И что же Чаадаев? Обиделся? Рассерчал? Как бы не так! В письме брату Михаилу от 20 апреля 1849 г. он мимоходом роняет, что маркиз сочинил это «с добрыми намерениями». В другом письме брату (5 января 1850 г.) кюстинова байка поминается как нечто, прочно вошедшее в саму жизнь: «Она (болезнь.— К. К.) между прочим состояла в нервических припадках... которые... доводили меня до безумия: страшное подтверждение слов Кюстина». Маргинал Кюстин прекрасно понял маргинала Чаадаева. Чаадаев чувствовал это.

В 1838 г., накануне рокового 1839-го, Петр Чаадаев написал Александру Тургеневу следующее: «(Чтобы вернуться к В.), никто, по моему мнению, не в состоянии лучше его познакомить Европу с Россиею. Его оборот ума именно тот самый, который нынче нравится европейской публике. Подумаешь, что он вырос на улице St. Нопге, а не у Кальмажного двора». В.— это князь Петр Андреевич Вяземский, написавший в начале 1844 г. антикюстиновский памфлет, где обозвал «Россию в 1839 году» «скучным злословием человека с подпорченной репутацией». Правда, он не опубликовал свой опус из-за того, что русское правительство в очередной раз совершило очередную никчемную глупость, будто стараясь как можно более соответствовать репутации, созданной книгой Кюстина. Словно отвечая Чаадаеву, Вяземский написал: «благомыслящему русскому нельзя говорить в Европе о России и за Россию».

Что же заставило его, либерала и оппозиционера, цитировавшего в 1834 г. в своей легендарной записной книжечке сочинение Кюстина «Мир как он есть», увидеть в «России в 1839 году» «сплошь крики и брань черни»? Аргументы и контраргументы, язвительный тон и благородное негодование можно найти в его так и не опубликованной в прошлом веке брошюре. Думаю, достоинства ее и достоинства аналогичных сочинений Якова Толстого, Николая Греча и Ксаверия Лабенского несравнимы. Но Петр Андреевич Вяземский вовсе не Яков Николаевич Толстой: по заказу правительства писать не станет. Он сам по себе. Значит, маркиз задел князя за «живое». А где же «живое» у князя Вяземского?

Петр Андреевич мог, конечно, обидеться из патриотических соображений. Однако не обиделся же он на Чаадаева? Более того, не разделяя почти ни одного положения первого «Философического письма», Вяземский назвал его «превосходной и мастерской сатирой». Разве «Россия в 1839 году» не заслужила хотя бы этой оценки? Быть может, он следовал словам Пушкина, высказанным в письме ему же: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство»? Сильный довод. Закроемся цитатой из того же Петра Андреевича Вяземского: «При всей просвещенной независимости ума Пушкина, в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в отношении суда над иностранными писателями».

Вариант второй. Вяземский бросился (с пылом кулачного бойца, как сказал бы Пушкин) опровергать маркиза, так как маркиз в своей книге иронически прошелся (с тросточкой, цилиндр набекрень — так, наверное, показалось мизантропичному князю) по брошюре Петра Андреевича о пожаре в Зимнем дворце 29 декабря 1837 г. В одном и том же событии — рекордно-героическом восстановлении Зимнего дворца по приказу Николая I — Вяземский видит символический триумф «паллады нашей славы... Кремля нашей современной истории», а Кюстин — сплошные мучения любезных его сердцу питерских мужиков. Так сказать, что князю хорошо, то маркизу карачун. Но вот вопрос: кто ближе к магистральной линии русской литературы, к Достоевскому и Толстому, — маркиз де Кюстин или князь Вяземский?

Однако, как мне кажется, дело совсем в другом. В конце 1828-го — начале 1829 г. Вяземский, «прокипятив на картах» огромное состояние, пофрондировав, повозившись в журнальной луже, отчаявшись ласковой лживостью предыдущего императора и холодностью (и недочерием) к нему нынешнего, решил-таки произвести вторую попытку послужить царю-батюшке, но лица при этом не потерять. Иными словами, князь решил принять власть такой, какая она есть, следовать девизу «делай что должен и будь что будет». Результатом стала «Записка о князе Вяземском, им самим составленная» — удивительный по аристократической независимости документ, попытка объяснить императору Николаю I, почему князь Вяземский собирается ему служить. Документ завершается замечательной фразой: «Впрочем, для устранения всякого подозрения обо мне, для изъявления готовности моей совершенно себя очистить во мнении я готов принять всякое назначение по службе, которым правительство меня удостоит». В феврале 1829 г. Бенкендорф передал «Записку» Николаю I; император косо посмотрел на нее, расценив, вероятно, как очередную проделку оппозиционера. Петру Андреевичу пришлось унизиться: его допустили до службы лишь после второго, более верноподданного письма. Кюстин не знал (и не мог знать) этой истории, Вяземский был для него лишь «царедворцем», но маркиз со своей дьявольской интуицией попал в точку: «Всякий, кто не дает себя провести, считается здесь изменником; посмеяться над бахвальством, опровергнуть ложь, воз-

разить против похвалы, *мотивировать свое повинование* (курсив автора.— **К. К.**) является здесь покушением на безопасность державы и государя...» Можно предположить, насколько Вяземский, «мотивировавший свое повинование» в «Записке», был взбешен догадкой Кюстина.

Так что же получается — маркиз и первый славянофил, и первый западник, и первый мужиколоб, и первый политический сатирик? Так, значит, он, залетный французик из сен-жерменского предместья, «наше всё»? Что же тогда единственное и неповторимое «наше всё», Пушкин?

«Его стиль очень хвалят, но для человека, родившегося в стране непросвещенной, хоть и в эпоху утонченно цивилизованную, это заслуга небольшая», — разряжает Кюстин свой лепаж в мертвого поэта. Пушкин отстреливается со страниц первого посмертного выпуска своего «Современника»: «Всем известно, что французы народ самый антипоэтический. Лучшие писатели их, славнейшие представители сего остроумного и положительного народа, Montaigne, Voltaire, Montesquieu, Лагарп и сам Руссо, доказали, сколь чувство изящного было для них чуждо и непонятно». Причина неприязненности между солнечным поэтом и лунным путешественником ясна: «наше всё» бывает только одно. Остается выяснить: как же выглядит загадочное «наше»?

«Наше» (в смысле отечественной словесности) выглядит, как наш же герб — двуглавый пернатый. Одна голова думает над общественными вопросами, другая — над наилучшей расстановкой наилучших слов в наилучшем из предложений. Одна смотрит в сторону Матушки-Общественности, другая — в сторону Батюшки-Аполлона. Голова-Некрасов и Голова-Фет. Голова-Солженицын и Голова-Набоков. Вырастил этого монстра девятнадцатый век; еще для Державина генерал-губернаторство и одописание были разными сторонами одного дела. А потом явился Пушкин и написал «Пока не требует поэта...». Затем приехал Кюстин и суммировал все предрассудки о России и русских, имевшие хождение и в Париже, и в Петербурге. На него, честное зеркало, обиделись. Пушкин тоже обиделся бы, проживи он еще лет десять. А ведь и пушкинские предрассудки нашли свое место на страницах «России в 1839 году». Вот, например, предмет, сильно занимавший поэта (и не очень сильно — маркиза): роль русской женщины в свете. Кюстин начинает: «Переходя из дома в дом, вы остаетесь в одном кругу людей, где под запретом любые беседы о чем-либо любопытном; я нахожу, однако, что изъять этот восполняется изощренным умом женщин, отлично умеющих намеками внушить то, чего не произносят вслух». Пушкин завершает тираду: «О мужчинах нечего и говорить. Политика и литература для них не существуют. Остроумие давно в опале как признак легкомыслия. О чем же станут они говорить? о самих себе? нет, — они слишком хорошо воспитаны. Остается им разговор какой-то домашний, мелочной, частный, понятный только для избранных». От женщин — к аристократии, принадлежность к которой, по тайному убеждению Кюстина, давала ему ордер на любое суждение, например, такое: «Мне всегда представлялось, что политически узаконенная аристократия — благодетельна, тогда как аристократия, жиждущаяся на одних лишь химерах да несправедливых привилегиях, — вредоносна». Сомнительный аристократ Пушкин отчеканил эту мысль вполне по французскому литературному канону: «Аристократия чиновная не заменит аристократии родовой». Разница между этими высказываниями того же свойства, что и разница между «аристократией» и «аристокрацией». Еще более трогательное согласие у двух голов Змея Горыныча нашей словесности по поводу русского правительства. Почти в унисон: «...правительство у нас всегда впереди на поприще образования и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно», — так звучит эта мысль по-русски; теперь ее французский перевод: «В обычном обществе простой народ толкает вперед всю нацию, а правительство его осаживает; здесь же правительство погоняет, а народ его сдерживает».

Так о чем же в конце концов книга Кюстина? О России? Нет, о «России». Его книга сама есть «Россия», образ, обреченный на бессмертие, историко-культурный архетип, симулякр нашего любезного отечества. Потому-то «всё» маркиз увидел, «всё» предвосхитил: образ — в отличие от живого общества, живых людей — развивается по заданным ему законам. Только вот ни страны, ни людей в его сочинении нет. И не может быть ни в каком другом сочинении. Словесность — она по другому ведомству, тем более русская.

Вообще Кюстин прокатился по России эдаким гоголем. Вернее, гоголевским персонажем. Его, вооруженного неявной литературной славой и императорским фельдъегерем, принимали в провинции, Ярославле или Нижнем, как Хлестакова в городе N. И маркиз-то он, и путешественник, и с государем разговоривал, и с Шатобрианом на дружеской ноге. Кого увидел он в России, печальноглазый иностранец в коляске без одного колеса? Гостеприимных губернаторов и статных кучеров. Отставных гвардейцев и лукавых купцов. Вполне гоголевский реестр. Не его ли коля-

ску с экипажем в составе трех (маркиз, слуга, фельдъегерь) описал Николай Васильевич в «Мертвых душах» (Чичиков, Петрушка, Селифан)? Не Кюстин ли сидит в «птице-тройке», имя которой — «Русь»? И вот что интересно: автор первой русской антикюстиновой брошюры Ксаверий Лабенский признавал-таки наличие в отечестве кое-каких неполадок, замеченных маркизом, но с гордостью уверял европейскую публику в скорейшем их исправлении, залогом чего должна стать разрешенная государем постановка пьесы Гоголя «Ревизор».

А теперь вспомним: кто был прообразом Хлестакова? Кого в уездном городе N (Арзамасе) приняли за путешествующего инкогнито ревизора? Кто подсказал Гоголю весь этот сюжет? Пушкин. Тогда о ком же городничий: «У, щелкоперы, либералы проклятые! чертово семя!»? О Пушкине? О Кюстине?

Приложение I

Историко-литературные гадания по «России в 1839 году» могут стать весьма захватывающим занятием. Вот несколько примеров.

Вклад Кюстина в «петербургский текст» русской литературы: «...невозможно без восторга созерцать этот город, возникший из моря по приказу человека и живущий в постоянной борьбе со льдами и водой; возведение его — плод недюжинной воли; даже тот, кто не восхищается им, его боится — а от страха недалеко до уважения».

Кюстин набрасывает портрет лермонтовского Печорина: «Я видел в России нескольких человек... такие люди бывают свободны только перед лицом неприятеля, и они едут сражаться в теснинах Кавказа, ища там отдыха от ярма, которое приходится им влачить дома; от такой печальной жизни на челе их остается печать уныния, которая плохо вяжется с их воинскими манерами и беспечностью их возраста; юные морщины изобличают глубокую скорбь и внушают искреннюю жалость...; в несчастье своем они очень привлекательны; ни в одной стране нет на них похожих».

Кюстин клеймит Чернышевского с Добролюбовым: «Полуобразованные, соединяющие либерализм честолюбцев с деспотичностью рабов, напичканные дурно согласованными между собою философскими идеями, совершенно неприменимыми в стране, которую называют они своим отечеством (все свои чувства и свою полупросвещенность они взяли на стороне), — люди эти подталкивают Россию к цели, которой они, быть может, и сами не ведают...»

Кюстин солидарен с Достоевским: «...а искусства спасают мир».

Наконец, Кюстин об опасности экологической катастрофы в России: «Между тем уже начинает ощущаться обмеление рек, и это тревожное явление, угрожающее судоходству, может объясняться лишь тем, что очень много леса вырубается у истоков и вдоль берегов, откуда его легче сплавлять. Однако русские, благо портфель наполнен успокоительными донесениями, мало тревожатся разбазариванием единственного природного богатства своей земли. Из министерских кабинетов леса кажутся бескрайними... и русским и того довольно».

Желающие могут продолжать гадания по книге маркиза де Кюстина до бесконечности. Она, как любой гениальный образ, неисчерпаема. Воистину «наше всё».

Приложение II

Предшествующие отечественные издания «России в 1839 году» словно соревновались, чтобы наиболее соответствовать кюстиновому мнению о нашей неискоренимой привычке искажать историю в угоду очередному деспоту. К счастью, последний (полный наконец-то!) перевод, вышедший в 1996 г. в издательстве им. Сабашниковых под редакцией Веры Мильчиной, полностью противоречит суровому приговору маркиза. Элегантная и тщательнейшая работа. Все цитаты из «России в 1839 году» даются по этому изданию.



Павел БАСИНСКИЙ

Недостойный сам себя Моцарт

В минувшем году в московском издательстве «Наследие» вышла, на мой взгляд, замечательная книга, составленная известным пушкинистом Валентином Непомнящим. Называется она «**Моцарт и Сальери**», трагедия Пушкина. Движение во времени. Антология трактовок и концепций от Белинского до наших дней».

Выглядит это так: 10 страниц пушкинской «маленькой трагедии» плюс 900 с лишним страниц «трактовок и концепций» и соответствующих комментариев к ним. Конечно, велико искушение позубоскалить о несоразмерности (качественно-количественной) шедевра самого Пушкина и трудов пушкинистов около него. Конечно, книга одновременно является свидетельством несчастного «уродства» новейшего духа (подавляющая часть трактовок принадлежит XX в.), давно не способного рождать подлинно оригинальные творения и вынужденного «окормляться» возле пушкинского стола. Но даже и с этой точки зрения книга страшно любопытна и представительна.

Из нее понимаешь главное: Пушкин не равен сам себе. Его творчество лишь часть того, что мы сегодня понимаем под словом «Пушкин».

Перечитывая трагедию (в который уже раз — и не вспомнишь!), по-детски, по-дурацки изумляешься: Господи! Какая она и в самом деле «маленькая», короче робыньего носа...

Сегодня ее не взяли бы ни в одном «толстом» журнале. Скорей она появилась бы в каком-нибудь «Соло» или «Митином журнале», набранная прыгающим шрифтом и с опечатками. И, конечно, с тем самым пушкинским «с немецкого», которое в первом варианте делало трагедию забавной литературной мистификацией.

Но потом изумляешься еще больше! В самом тексте трагедии нет и тени, и намека на все те бесконечно умные и действительно глубокие, захватывающие интерпретации, которые широко представлены в книге Непомнящего — от Белинского до Сергея Булгакова и от Гершензона до Ю. Лотмана. В самой трагедии *ничего этого нет!* Это просто история убийства завистником своего соперника в искусстве — история донельзя банальная.

Если принять все как есть, то никаких вопросов не возникает. Недаром в первой редакции пьеса и называлась по-мольтеровски просто и исчерпывающе — «Зависть». Но зачем-то Пушкин усложнил тему и самим названием — «Моцарт и Сальери» — поместил читателя (актера, режиссера, зрителя) в ситуацию бесконечного «выяснения отношений» Сальери с Моцартом, в которой читатель оказывается заведомо в неприятной позиции.

В лучшем случае он об этом просто не догадывается. Забавно и несколько горько читать, с какой *важностью* Виссарион Белинский рассуждает о «гении» и «таланте». Моцарт — «гений», а Сальери — только «талант». «Талант» мучительно завидует «гению» и убивает его, не в силах смириться с несправедливостью небес (классическая трактовка). Белинский как читатель и мыслитель — тонок и прозорлив. В частности, он обращает внимание на национальность Сальери — итальянец. То есть натура нервная, страстная, решительная. Развивая эту мысль дальше, видишь нечто, что прежде ускользало от внимания: хорош «гуляка» Моцарт, который в кабаке с приятелем не может сходить, не доложив жеманке!

Я рад. Но дай схожу домой, сказать
Жене, чтобы меня она к обеду
Не дожидалась...

Другое дело Сальери — одинокий волк, «осьмнадцать лет» назад расставшийся с какой-то Изорой, знойной, по всей видимости, любовницей, раз оставила в качестве «последнего дара» — яд! Сколько в Сальери огня, мыслей, чувств! Наконец, он человек поступка. И вот Белинский не может удержаться, чтобы не возвысить Сальери: «Как ум, как сознание, Сальери гораздо выше Моцарта...» Но почему? Что именно в самой пушкинской пьесе свидетельствует о том?

Не что — а кто.

Свидетельствует Сальери.

Коварство пушкинского замысла в том и состоит, что вещь начинается ответом Сальери на вопрос: *зачем он убьет Моцарта?* «...нет правды на земле. Но правды нет — и выше» и проч., и проч. А ведь вопрос этот по меньшей мере странен! И его в пространстве самой пьесы *никто не задает*. В историческом же пространстве (то есть если принять версию о реальности злодейского поступка) ответ на него так ясен и прост. Зависть. Это такое же естественное чувство, как ревность. Духовно здоровые натуры справляются с этими чувствами усилием воли и даже способны подстегивать ими какие-то творческие импульсы. Смешно предполагать, как это делает часть авторов антологии, слишком увлеченных идеей «моцартианства» Моцарта, что Моцарт никогда не завидовал. Мол, он настолько гениален и, следовательно, «простодушен», что завидовать органически не способен.

Да чурбан он, что ли? Так-таки и не способен? Никогда даже мысли не допускал, что есть кто-то богаче, удачливей, счастливей в любви (той же Изоры), и все это могло бы принадлежать ему, если бы не отдавал столько времени музыке, — и прочее...

Если принять такую точку зрения, то Моцарт не Моцарт, но именно Сальери. Одноглазый, однонаправленный, патологически помешанный на своем «моцартианстве», до такой чудовищной степени, что ни приревновать, ни позавидовать уже не может: все это так мелко для его высот! Вся штука в том, что «моцартианство» Моцарта есть плод болезненного, «декадентского» воображения Сальери. Это фикция, симулякр, тем более страшный, что он завладел натурой страстной, «итальянской», готовой на поступок, не каким-то тщедушным, изолгавшимся и пропившим все на свете нынешним модернистом.

Разговор о «моцартианстве» Моцарта начинает Сальери. Для него очень важно придать своей постыдной, но по-человечески понятной страстишке (зависти) глубокий философский смысл. «Ты, Моцарт, недостойн сам себя...» «Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь; Я знаю, я...» Он — знает! Моцарт — конечно, нет! Моцарт настолько наивен и простодушен, что, идя к Сальери с шедевром, прихватил с собой фигляра-«скрыпача». И ведь на этой клоунаде Моцарта поскользнулось не одно поколение читателей, мудрейших филологов и культуроведов! А ситуация-то столь ясна и прозрачна: Моцарт, человек со вкусом, просто не знает, *как именно* преподнести Сальери свой шедевр. Не показать нельзя: они друзья и коллеги. Спрятать — только хуже: Сальери потом, чего доброго, решит, что Моцарт окончательно зазнался, а несчастная, болезненно развитая страстишка его приятеля ему хорошо известна. Нет, надо показать. но — как? Способ, который избирает Моцарт, не лучший, но единственный в этой почти безнадежной ситуации. Сальери, конечно, все равно надуется, но хотя бы скажет:

...Ты с этим шел ко мне

И мог остановиться у трактира

И слушать скрыпача слепого! — Боже!

Ты, Моцарт, недостойн сам себя.

И ситуация хотя бы как-то сбалансируется. Моцарт поступает элементарно *тактично*. Он дает Сальери шанс начать разговор на равных.

Строго говоря, все, что с подачи Сальери разыгрывается как трагедия, со стороны Моцарта выглядит банальной житейской драмой. Его приятель довольно талантливый композитор, но как человек слишком завистлив и... глуповат. С ним хорошо до тех пор, пока он не начинает «грузить» Моцарта своими творческими заморочками, связанными с жуткими амбициями и непробиваемой тупостью во всем, что касается не самого творчества, а творческого поведения. В этом смысле Сальери — как слон в посудной лавке. С ним неловко, стыдно находиться рядом. «Я знаю, я». Я, Я, Я... О, господи!

Моцарт бесконечно морщится и опускает глаза. Ему все время хочется бежать вон из этой клетки творческого допроса — «с пристрастием»:

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...

Ба! Право? может быть...

Но божество мое проголодалось...

Для Моцарта Муза — любовница, к которой он сбегает от законной супруги ночью:

...Намедни ночью

Бессонница моя меня томила,

И в голову пришли мне две, три мысли.

Это совсем не значит, что его отношения с любовницей легки и беспечны. Она лукава и капризна, изводит своей страстью и требует принесения всего себя на алтарь любви. Но она желанна. Сальери для Моцарта — вторая законная жена. Он требует творческого отчета и постоянного заверения в своей верности. «А как ты меня любишь... как?» Да — на тебе:

...Он же гений,

Как ты, да я. А гений и злодейство,

Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сколько до сих пор носятся с этой глупейшей сентенцией, как бы само собой подразумевающей, что кто-то может знать, «что такое гений?». Но ведь это единственная сентенция, которая произносится Моцартом на протяжении всей пьесы и которая всего лишь является механической подачей-поддавкой для Сальери. «Не правда ль?» То есть ну, брат Сальери, давай-ка порассуждай! Ты же без этого куска проглотить не можешь (сцена в трактире). А я пока выпью, покушаю и послушаю.

Задача Сальери — затащить Моцарта в онтологическую ловушку с названием «Моцарт и Сальери», «гений и злодейство», «моцартианство» и «сальеризм». Задача Моцарта — не только не попасть в нее, но и приятеля своего спасти — он слишком благороден, чтобы оставить друга в беде. Моцарт не простодушен, но *великодушен*, а это громадная разница. В его гибели (явно предчувствуемой) есть какая-то неслыханная щедрость. Да убивай же, черт с тобой, только не ной, не нуди!

Но нет — не остановится. Пьеса заканчивается, как и начинается, монологом Сальери. Как же — он должен еще и эпитафию на могилу приятеля сочинить и подписаться. Эдакая несносная вдовушка!

Но самое поразительное, что тень Сальери и только Сальери витает над всем последующим культурным пространством, порожденным этой великой пьесой. Пушкин и Моцарт в стороне. Мы же обречены вечно задавать вопрос об их «моцартианстве» — вопрос, который задает Сальери и который доводит его до убийства своего друга-гения, как и обречены постоянно убивать дух культуры, чтобы его понять и «взять» его себе.



Вячеслав КУРИЦЫН

Гагарина он не увидел

О ФЕДОРЕ ПАНФЕРОВЕ

«Мальчишка выдался удалой, не приведи бог», — вспоминает мемуарист маленького пастушка Федотку Панферова. Потомок видит идилическую картинку: пастушок, эффектно придав группе овец форму облачка, беседует с умудренным опытом пастухом. Они обсуждают нелегкую жизнь трудового крестьянства. Федотка мотает на ус.

(Как меняются времена! В советскую эпоху образ пастушка находился на перекрестке текущей мифологии трудового крестьянства и античной мифологии, в которой тоже высока роль хранителя стад тучных крав. Чего было больше в «Пастухе и пастушке» Виктора Астафьева, какой мифологии? — праздный вопрос... Позже советские крестьянские сюжеты подверглись бурному развенчанию — правда о коллективизации — и циничному осмеянию. Но теперь, как мы можем судить ну хотя бы по телеэкрану с его бесконечными старыми песнями о главном, идеология утекла из вопроса. Маленький пастушок — это прежде всего маленький пастушок, а не символ.)

Тинейджером Панферов поступает приказчиком к купцу с архетипической фамилией Крашенинников. Оплата — угол, харчи, наука, а через четыре года двадцать рублей и теплая одежда. Непредусмотренные контрактом удачи: супруга купца Екатерина Калистратовна дает Федотке читать книги. Тургенева и Гончарова, Писемского и Данилевского. Пытливый мозг внимает престелям художественного творчества.

(Как меняются понятия... Книги, которые Екатерина Калистратовна давала будущему писателю, были не только книги Тургенева и Писемского, это были и книги вообще. До этого мальчик просто не видел книг. Книги и художественная литература в этом рассуждении — синонимы. Теперь все иначе. Детское чтение — загляните в магазин — теперь больше справочно-познавательное. Роскошные альбомы о том, как устроены парусники или оружие. Энциклопедии бабочек или рептилий. Картинка важнее текста. Образование носит художественно-информационный характер. «Давать читать книги» сегодня значит разное: сначала малышам дают красочные книжки-пирожные, а уже потом, отдельно, дают или не дают Тургенева и Гончарова.)

По истечении срока контракта Крашенинников предложил будущему писателю и депутату новые условия: солидная взрослая работа с хорошим окладом — 18 рублей в месяц. Какая-то ушлая родственница вырабатывает план: Федотка должен перетряхнуть на сеновале купеческую дочку, после чего ему будет открыт путь в купеческую семью. Дикость нравов вызывает у Панферова приступ зубной боли, и он, подделав паспорт; бежит в учительскую семинарию.

(Купеческая эстетика — сеновал как путь в семью да 18 рублей на развод при условиях каторжной пластовни — могла оживиться в «новорусском» контексте. Кто-то заметил недавно, что рязановский «Жестоким романс» кажется сегодня предвестием новорусской эпохи с ее новыми сильными людьми. Но по мифологической матрице — по Островскому — купечество не только и не столько разгул, сколько консервативно-изолганный быт. Новые русские появляются в словесности — у Кенжеева, у Пелевина, в анекдотах, но интересно, породят ли они сами

дискурс о своей патриархальности или останоятся — уже остановились? — на эстрадном блажняке?)

Тяга к знанию плюс чувство социальной справедливости приводят Федора в ряды бойцов за освобождение рабочего класса. После того как бойцы победили, самые бедовые пареньки были призваны к перу: нести в массы духовные ценности. На гонорар от рассказа «Огневцы» Федор купил мебель и много водки. Погуляли на славу: в припадке обмывания друзья выбросили мебель в окно. В мемуарах Панферов рассказывает об этом как-то очень радостно, оставляя в тайне, какие именно причины побудили друзей к такому хэппенингу.

(А это и вовсе уже требует исторического комментария. Как так — мебель на гонорар? За один рассказ? Нынешних писательских гонораров на водку хватает, пожалуй, но чтобы еще и на мебель... Впрочем, я как-то купил на гонорар за статью, опубликованную в «Октябре» в конце 1995 года, именно мебель — диван. Но, во-первых, недорогой, во-вторых, в единственном числе, а в-третьих — на водку там уже точно не оставалось.)

Федор взролеет. Видит Ленина. «Легко накинув на плечи пальто, площадь пересекает Владимир Ильич Ленин. Он что-то говорит своему соседу, то и дело взмахивая рукой. Сосед слушает его, шагая в ногу, и через очки смотрит ему в лицо.

Ленин!

Какой он могучий!

Смотришь на него отсюда, из окна Колонного зала,— и кажется: больше Ильича ростом на земле человека нет».

(В Музее Ленина меня как-то подивил размер ленинской одежды: очень скромный. В Мавзолее общая атмосфера, стекло и невозможность непротиворечиво помыслить перспективу скрывает низкорослость вождя пролетариата. Какой знакомый эффект: значительный человек кажется значительным и по размеру. С Лениным меня связывает многое, начиная с того, что мы родились в один день: 10 апреля. Не верьте, что дата его рождения двадцать второго. Новый стиль — ерунда для книжек. В тот день, когда мама родила Володю, на календаре стояла цифра 10 и все знали, что апреля — десятое. В 1970 году мне было пять лет, а Ленину было бы сто, если бы он дожил до этого года. В честь столетнего юбилея я устроил дома, в углу, на тумбочке ленинскую выставку: значки положил, открытки, сам что-то нарисовал... Такие акции греют душу, но смущают мистической неопределенностью: а вдруг Ленин не почувствовал тогда моей любви, вдруг она была ему безразлична?)

Приходит пора покупать новую мебель. Панферов расширяет рассказ «Огневцы» до повести и несет в редакцию Фурманову. Фурманов говорит: мы можем напечатать повесть и дать вам денег, но не лучше ли из этой повести сделать целый роман? Панферов жалуется, что у него нет мебели и негде писать. Фурманов рассказывает, как он писал «Чапаева». Садился вечером в трамвай Б, что ходил по Садовому кольцу, освещение там яркое, ехал и писал. Панферов соглашается, что надо писать роман.

Первый том «Брусков» выходит в двадцать восьмом году. Тогда же выходит первый том «Тихого Дона». О «Брусках» пишет статью Луначарский. О «Тихом Доне» пишет статью Ярославский. Панферов идет в гости к Луначарскому.

(Литература появляется тогда, когда желание писателя выдать себя несколько тысяч букв соединяется с чьей-то заинтересованностью в этих буквах. Роману, хоть он и кажется бессловесной бумажной тварью, хочется, чтобы его ждали в редакции. Лирическому стиху нужно, чтобы его автор сгорал по какому-нибудь объекту желаний. Тот, кто пишет в глухую эпоху или изнутри эзотерической депрессии, вынужден думать о Боге. Буквам нельзя без адресата. Поэтому хочется мыслить буквы отдельными объектами, вылепленными из глины, выпеченными из теста, просто летающими в ночном эфире без всякой материальной оболочки...)

При случае Федор дарит книжку Горькому. Тот читает, пишет из Сорренто: все хорошо, только не надо писать «што», а надо писать «что». Пока Панферов показывает всем письмо, Горький печатает статью, где ругает «Бруски» уже как следует, особо подчеркивая недопустимость употребления слов «скукожился» и «трюжилый». Панферов обижается, идет к Горькому в гости. Поговорили вроде бы хорошо, по-товарищески. А через несколько дней Горький снова печатает ругательную статью про «Бруски».

Во втором томе романа Федор описывает «воздействие крупной молотилкой на крестьян». Критика довольна: «Молотьба артельной машины хлеба единоличников дала толчок к тому бурному, что вскоре разразилось во всех селах и деревнях

страны». Отец писателя, осмеявший первый том, одобрительно отзывается о втором. Третий и четвертый получают еще лучше.

(Легче нет, чем ругать ушедшие поколения за то, что они жили по своим законам, а не по нашим и писали по своему разумению, а не по моему. Уж на что я люблю критиковать, например, шестидесятников, но даже и мне приходится защищать их от наездов своих радикальных товарищей: ну, писал Вознесенский о Ленине восторженные строки, но если я буду его за это презирать... То что? Займу тем самым принципиальную надисторическую позицию? Нет, прежде всего предам себя пятилетнего, который инсталлировал аккуратный уголок про столетие Ильича...)

Сочиняя этот выпуск «Записок литературного человека», я вычитывал верстку собственной книги, которая выходит в питерском издательстве Ивана Лимбаха, называется «Журналистика. 1993—1997» и содержит мои заметки, опубликованные в разных газетах-журналах, в том числе и в «Октябре». И вот, вычитывая статьи, которые я печатал в газете «Сегодня», я ужасался напору, с каким в каждом тексте по разу — по два появляется слово «постмодернизм». Можно было бы вычеркнуть, подправить собственную историю, но я не стал. И не из принципиальных соображений, а скорее из лени. Как-то вообще не кажется важным напрягаться по поводу репутации...)

С 1931-го по 1960-й Федор редактирует журнал «Октябрь». Авторы наперебой вспоминают, каким он был демократичным, старательным, человечным редактором. Лично принимал молодых поэтов, каждому рассказывал притчи, к которым как раз тогда особенно пристрастился. Видя на столах сотрудников рукописи, присланные две недели назад, сильно ругался: человек прислал самое ценное, рукопись, а мы ему не отвечаем. Если рукопись оказывалась талантливой, вызывал автора в Москву, селил на своей даче, давал денег. Но щелкоперов не любил: прямо сообщал им, что занялись не своим делом.

«Журнал «Октябрь» он любил до беспамьятства», — указывает мемуарист. Привлекает к сотрудничеству Бубеннова и Бабаевского, Первенцева и Коновалова, Паустовского и Казакевича, Панову и Николаеву. В журнале проходят оживленные дискуссии «Здоровье и красота», «Эстетика и современность», «Что такое коммунизм?»

(В «Знамени» появились мемуарные заметки Г. Бакланова: о том, как он был главным редактором. Есть преуморительный эпизод. На какой-то встрече с читателями в Останкине Бакланов сообщил: жду, дескать, что откроется дверь и войдет новый Лев Толстой. Бывает. Через пару лет в редакции открылась дверь, вошел парень, говорит: «Толстого вызывали? Я есть новый Лев Толстой». Бакланов комментирует: «К сожалению, это был да-алеко не Лев Толстой». Уж не знаю, что это был за парень, но нетрудно заметить, что его фраза «Я новый Лев Толстой» куда более остроумна и художественно состоятельна, чем заявление Бакланова в Останкине...)

Работа давалась непросто. «Воробей на проезжей дороге. Конь везет по дороге тяжелую кладь, этой кладу цены нет и коню цены нет. А ему, воробью, наплевать на это. Он ждет, когда конь навоз вывалит, тут-то он взъерошится, откуда только удаль берется, — и прямо на навоз. И знай себе чирикает. Отдохнет немного — и опять за конем, да еще и на коня сядет, ждет навозинки», — говаривал Федор Иванович. Коня он сравнивал с собой, а воробья — с теми писателями, что талант не на благо народа несут, а все думают, как бы его запродать.

Заболел. Просил в больницу пластинки Чайковского, Бетховена, Шопена.

В январе 1959-го был полон творческих планов, замышлял большой роман о коммунистах, написал об этом заметку. Она заканчивалась словами: «Америку-то мы все-таки перегоним».

(Я думаю, обязательно когда-нибудь перегоним.)

Через год он умер. В сущности, ему было еще немного лет.

Мемуарист написал: «Он видел спутники. Но Юрия Гагарина он не увидел».



Правнуки Сытина

Чтобы издавать сейчас «тонкий журнал, читающим по-русски», особой догадливости не надо: книжная полка намертво занята журналами толстыми, и выбора нет, следует быть очень тонким, пролезая в любую щель. Тем не менее я обрадовался, едва взглянув на яркие обложки нового журнала **пушкин**, украшенные аляповатыми изображениями. Так все знакомо и сразу ясно, что к чему.

И, разглядывая картинки, расположенные на каждой странице, прочитывая вслух там и сям разбросанный текст, все больше убеждался в правильности догадки. Давненько я не видел лубок, эти раскрашенные листы, на которых рисованная сценка снабжена соответственными строчками. Какой-нибудь цыган с медведем и подписью: «Пляши, Михаил!» — или развратная барыня, предающаяся телесным вольностям, с рядом запечатленной моралью: «Спеши, спеши, муж с палкою грядет!» — а то и вовсе нечто рогатое, страшное, с пояснением: «Чудо лесное, пойманно весною».

Лубок — явление особое. Дабы он раскупался, темы должны быть знакомы, подписи надлежит подгадывать так, чтобы те как бы припоминались. В дело идет отработанное «высокой» культурой — переложения, пересказы, реминисценции.

Надо отдать должное: авторы **пушкина** — известные мастера лубочного жанра. Будь то Игорь Яркевич, сочинивший на свой лад трилогию «Детство», «Отрочество», «Юность», или Виктор Топоров, автор переводов, рассчитанных на малограмотную аудиторию. Или Елена Петровская, культуролог, сотрудница лаборатории постклассических исследований в философии Института философии РАН (в самом названии лаборатории сформулирована зависимость и одновременно удаленность от классической культуры, то бишь традиционно считавшейся «высокой»).

И стилистика текстов свидетельствует о той же приверженности авторов журнала поэтике лубка. Тут и тяга к словесным клише: «Хороший классик — классик мертвый», «Русский юбилей, бессмысленный и беспощадный». Тут и велеречивые рассуждения о том, чего авторы досконально не ведают, а потому ошибаются в показательных мелочах. Так, Всеволод Некрасов считает, будто слово «самсебяиздат» появилось в 1944 году, а не до войны. Так, Александра Белкина, обозревающая новую русскую классику, поминает как действующее давно не существующее издательство «Северо-Запад».

Чтобы стать доступными читателю, авторы манипулируют образами фольклорными, предлагают отпраздновать двухсотлетие со дня смерти барона Мюнхгаузена и двухсотлетие Кота в сапогах.

Показательна и парадоксальность, которой стараются блеснуть выступающие на малочисленных страницах **пушкина**. Лубок ведь изначально парадоксален. В нем не только утверждается различие изображения и слова, их несводимость, но и в самом изображении наличествует некий зазор — живописное переходит границы графического. Когда-то такое заметил Гоголь: «На одном (листочке.— **Ф. И.**) была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах».

Ориентация на известное также принципиальна. О том, что недавние выборы выиграли не кандидаты, а те, кто создал для них рекламные ролики, уже писали киноведы. Тем не менее **пушкин** посвящает этому вопросу обширный материал.

«Сказать, что визуальная образность вытеснила словесную культуру,— это сейчас самый шик»,— заявил в свое время умный Борис Парамонов. В **пушкине** Максим Мошков сочиняет статью «Интернет убьет кино, вино и домино».

Опять-таки Парамонов обратился в свое время к мемуарам Альберта Шпеера, «гитлеровского придворного архитектора» (кавычки мои.— **Ф. И.**). Спустя не-

сколько лет в **пушкине** мемуары Шпеера старательно анализирует Михаил Рыклин и даже кавычки у слов «придворного архитектора» проставлены там же.

В лубке важно не зрелище, а узнавание, не новое, а хорошо знакомое. Попробуйте разглядеть фотомонтажи, данные в качестве иллюстраций к статье «Компромат как литературный жанр» соредактора **пушкина** Марата Гельмана.

Вот, кажется, А. Лебедь («кажется», ибо полиграфисты излишне старательно впрыснули цветной фон), засунувший руку так глубоко в недра голой дамы, что локоть едва торчит. (Если это все-таки Лебедь, то фотомонтаж трактует известный сюжет о Леде и дикой птице.) Вот А. Коржаков, забавляющийся с голой же дамой, расположившись повдоль на поперек полосатом диване.

И там и тут техника одинакова. Лица главных героев вмонтированы в готовое изображение. Но таковы ухищрения фотомастеров, выставляющих в пляжных местах холсты с дыркой для головы,— просунь голову и вмиг окажешься джигитом на вольном коне или смелым летчиком в кабине аэроплана, или в бойкой тройке на месте ямщика, а рядом такая красавица, что едва может выйти из-под кисти художника.

Как испытывают страсть к тиражированию лубочные изображения, так тянутся к тиражированию и тексты лубка. Тот же Виктор Топоров уже в качестве критика рецензирует книгу Евгения Рейна. И не может удержаться, чтобы не сымитировать (удачно, нет ли) манеру рейновского письма. Лубок живет умножением.

Так везде в мире лубка, так на каждой пролистанной мной странице **пушкина**, идет ли речь об интерпретации классики либо о современной культурной ситуации.

Да и этот опус я бы мог, по сути, не писать, возьми вовремя с полки соответствующий том литературной энциклопедии и открой на странице, посвященной И. Д. Сытину: «Самостоятельная издат. деятельность С. начинается с 1876, с момента приобретения литографии для печатания гл. обр. лубочных картинок, широко распространявшихся особенно в крест. среде. Лубочные картинки включали сюжеты на религ. темы, портреты царей, иллюстрации к сказкам, песням, в т. ч. известным произв. А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова. Во время русско-тур. войны (1877—1878) С. стал издавать также дешевые книжки, рассчитанные гл. обр. на деревенского читателя». Все верно.

Не знаю, будут ли в свое время издатели **пушкина**, как их духовный прадед, издавать собрания сочинений классиков и энциклопедии, но то, что их журнал имеет просветительское значение, несомненно.

Остается гадать: может быть, наступит время и появится **толстой** (журнал, построенный целиком на остранении), **достоевский** (журнал, составленный из скверных анекдотов) или **розанов** (журнал «последнего уловимого»).

Но наверняка известно: недостатка в картинках, повествующих о славном витезе Еруслане Лазаревиче и прекрасной его супруге Анастасии Вахрамеевне, а также о приключениях английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики-Луизы, ей-ей, не предвидится.

Феликс ИКШИН



П. МИТУРИЧ. ЗАПИСКИ СУРОВОГО РЕАЛИСТА ЭПОХИ АВАНГАР-ДА. М., Литературно-художественное агентство «РА», 1997. Тир. 1000 экз.

Защитник памяти своего друга В. Хлебникова, человек донельзя принципиальный, он послал в 1939 году письмо Сталину, где написал: «...обращаюсь к Вам с вопросами искусства потому, что основные указания в политике искусства, выдвинутые ЦК, не содержат задач, преследуемых современным искусством, как непременным участником развитых цивилизаций». И уточнил: «Выдвинутые же задачи политической и популярно-просветительской пропаганды могут лишь частично осуществляться искусством и то при условии допущения условности в трактовке форм, абсолютно необходимой для выражения нового чувства мира». Воспоминания, статьи и дневники этого необычного художника дополнены фотографиями и репродукциями его работ.

Сергей Михайлович ЭЙЗЕНШТЕЙН. МЕМУАРЫ. М., Редакция газеты «Труд», Музей кино. Тир. 5000 экз.

Проза Эйзенштейна, будь то статьи или воспоминания — без разницы, читается, как стихи. Вот зарисовка барса из алма-атинского зоопарка времен войны: «Поразительный барс.

Страшный хвост реагирует на малейшее наше движение. <...>

Все тело лениво неподвижно.

Глаза — то закрыты...

то внезапно раскрыты во всю ширину своей зеленовато-серой бездонности.

В ней — еле заметная секундная стрелка вертикально суженного зрачка». И дальше сравнение зверя с японским атташе на Красной площади, который с неподвижным лицом наблюдает за парадом новой военной техники, только руки, сложенные за спиной, порхают, и вновь возвращение к барсу — так же звериный хвост. И снова движение мысли: надо послать артиста изучать глаза барса для роли в «Иване Грозном». И снова движение, на этот раз вдоль клеток, и острое замечание, что от льва пахнет псиной, а от тигра мышами. И даже движение прозы — строка за строкой, прилегающие к левому полю, — ближе стиху. Не важно, что мемуары остались в отрывках, набросках. Каждая единица повествования демонстрирует общий принцип, показывает, как понимал Эйзенштейн монтаж и пафос, феномен которого изучал. Отточие между строк — разрыв непрерывного ряда, но и переход в новое качество, извержение, выход энергии.

Глеб ГЛИНКА. СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ. М., Дом-музей Марины Цветаевой, 1997. Тир. 1000 экз.

Жить вне родной культуры и языка литератору не просто горько — опасно, он тратит силы, ничего не получая взамен. Тому лишнее подтверждение — судьба поэта Г. Глинки. Ему пришлось выбирать между эмиграцией и возвращением в Россию из немецкого плена. Выбор оказался лишь отсрочкой смерти при жизни, строки, должны быть афоризмом:

Гадкий утенок стал уткой приличной,

Голый король в сумасшедшем дому,—

превратились в отрывок несостоявшихся стихов. Кто-то возразит, что любая жизнь кончается смертью и не из чего выбирать. Но у литератора есть возможность если и не заслужить бессмертие, то хотя бы существовать во времени дольше других людей. Перефразируя сказанное Державиным: поэт живет эхом. А эхо, как известно из школьной физики, не звучит в безвоздушном пространстве.

Морис БЛАНШО. ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК. СПб., «Азбука» — «Терра», 1997. Тир. 5000 экз.

Часто прозаики-интеллектуалы, добиваясь сверхэффекта, на малом пространстве в несколько страниц используют возможные законы и установления языка, всячески затрудняя процесс чтения, нагнетают периоды, сталкивают слова, выстраивают смысловые антитезы. Сие затруднение и должно стать знаком интеллектуала-

лизма автора. В результате произведение становится знаком произведения. лишь свидетельством о том, что оно существует. И чтение его также знаково: достаточно тех же нескольких страниц, чтобы твердо сказать: «Все, Бланшо я читал», — и закрыть книгу.

К. В. ДУШЕНКО. СЛОВАРЬ СОВРЕМЕННЫХ ЦИТАТ. М., «Аграф», 1997. Тир. 10 000 экз.

Отлично составленный, снабженный многочисленными пространными указаниями словарь дает возможность узнать не только, кто автор той или иной ходячей фразы (анонимные цитаты вроде «Сегодня он играет джаз / А завтра родину продаст» отнесены в соответствующий раздел), но и канонический ее образ. Трудно предположить, сколько сил и времени ушло на эту работу. Но, как сказано в фильме «Подвиг разведчика» (и эта цитата отсутствует в словаре): «Терпение, терпение, и ваша щетина превратится в золото». Впрочем, фраза куда-то пропала и из фильма, недавно показанного сразу по двум телевизионным программам одновременно.

Стюард ХУД, Грэм КРОУЛИ. МАРКИЗ ДЕ САД. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1997. Тир. 10 000 экз.

Эти книжечки очень популярны сейчас на Западе — посредством чтения. а в основном рассматривания картинок, сделанных (чаще всего превосходно) в стиле комикса (половина на половину), читатель за короткое время узнает биографию исторического лица или историю какого-нибудь явления. Книжечка, вышедшая в серии «Экспресс-эрудит», рассказывает все, что нужно знать нормальному человеку о маркизе де Саде. Книга невелика, картинки занимательны, а текст едва ли не заменяет исследования Р. Барта или Ж. П. Сартра на ту же тему (попутная мысль: коли заменяет, не есть ли эти исследования такая же научно-популярная литература, но хуже иллюстрированная и написанная?).

Корнелия СТАРОДУБ. ЛИТЕРАТУРНАЯ МОСКВА. Историко-краеведческая энциклопедия для школьников. М., «Просвещение», 1997. Тир. 20 000 экз.

Автор в доступной форме рассказывает, где жили те или иные писатели, включенные в школьную программу, где установлены памятники и мемориальные доски, какие дома описаны в художественной литературе. О выбранной стилистике говорит хотя бы такая фраза из статьи об С. Т. Аксакове: «Под влиянием матери перечитал все, что было в доме». К книге приложена туристическая схема, и читатели с картой в руках могут увидеть, как распределялись по территории города любимые сочинители, где они предпочитали селиться, а где существовали и особые «культурные гнезда». Характерно: на сегодняшний день не освоены русскими сочинителями районы Бибирево, Медведково, Тропарево. Тут имеет значение и развитие транспортных коммуникаций. Стоит верить: едва там проведут трамвайные пути, какая-нибудь Аннушка вмиг разольет подсолнечное масло и тем самым даст толчок для написания романа...

«ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГАШИША». М., «Аграф», 1997. Тир. 7 000 экз.

Книга, сколь забавная, столь и скучная, включает произведения Теофиля Готье и Шарля Бодлера об опиуме, вине и гашише. Поражает не тема, а декоративность восприятия авторами окружающего мира, что наиболее отразилось в сравнениях: упоминания об эбеновом дереве и яшме пестрят страницы, живое сравнивается с неживым. Эта выморочность заразительна, исподволь затягивая, она вдруг проявляется во вступительной статье или комментариях, где о Раймонде Луллии, например, сказано: «Логик, знаменитый изобретением непогрешимого искусства вынуждать других, путем доказательств и оснований, к усмотрению истины. <...> Совершил три путешествия в Африку, но каждый раз встречал там дурной прием и претерпевал там мучения, от последствий которых и умер». Многословие действует наркотически, тексты рождают тексты, они множатся, причудливые, словно темницы Пиранези. И выхода из них нет.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Читайте в ближайших номерах:

ИГОРЬ ВОЛГИН

ПРОПАВШИЙ ЗАГОВОР

ДОСТОЕВСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 1849 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

«...Никто из петрашевцев (может быть, за одним-двумя исключениями) не готовил себя на гибель. Никто из них не оставлял надежды рано или поздно убедить противную сторону в своей правоте. Ради этого они способны были претерпеть. Но никому из них не приходило в голову, что государство, всегда вольное обрушить на них свою карающую длань, обрушит ее в полную силу и со всего размаха. Такая реакция, если бы они могли ее предвидеть, показалась бы им неоправданной и чрезмерной.

Случаются времена, когда человеку — желает он того или нет — приходится подвергать себя виселице».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 1998 году «Октябрь» предполагает опубликовать новые произведения известных авторов. Среди них:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**

Владимир КАНТОР. **Соседи.** Повесть.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.

Юнна МОРИЦ. **Рассказы. Стихи.**

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Анатолий НАЙМАН. **Проза, стихи.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.

Олег ПАВЛОВ. **Повесть.**

Цикл очерков «Из нелитературной коллекции».

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Борис ХАЗАНОВ. **Далекое зрелище лесов.** Роман.

Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.

Геннадий ШПАЛИКОВ. **Дневники. Стихи.**

Переписка Вадима СИДУРА и Карла АЙМЕРМАХЕРА. 60—70-е гг.

Военный дневник великого князя Андрея Владимировича РОМАНОВА.

А также **новые произведения** Юрия БУЙДЫ, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Евгения ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Натальи СУХАНОВОЙ, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Следите за нашей рекламой!